

Ханна Арендт

ЭЙХМАН В ИЕРУСАЛИМЕ

История обыденных злодеяний



Эйхман в Иерусалиме

Ханна Арендт

Ханна Арендт

*Эйхман в Иерусалиме
История обыденных злодеяний*



HANNAH ARENDT

Eichmann
in Jerusalem

A REPORT ON THE
BANALITY OF EVIL

REVISED AND ENLARGED EDITION



PENGUIN BOOKS

ХАННА АРЕНДТ

**Эйхман
в Иерусалиме**

**История
обыденных злодеяний**



ДААТ / Знание
ИЕРУСАЛИМ – МОСКВА
2008

Перевод с английского
В. Гопмана

Ханна Арендт

Эйхман в Иерусалиме. История обывденных злодеяний / Пер.
с англ. В. Гопмана. — Иерусалим — Москва: ДААТ / Знание,
2008. — 328 с.

ISBN

Книга Ханны Арендт, одного из самых значительных философов XX века, написана на основе ее репортажей для американского журнала «Нью-Йоркер», в которых освещался иерусалимский процесс нацистского преступника Адольфа Эйхмана (1961 г.). Книга — не просто рассказ об этом процессе, но глубокое и тонкое исследование природы зла и злодеяний, творимых в современном обществе. Арендт рассматривает богатый фактический материал под неожиданным углом зрения, а выводы и заключения, к которым она приводит читателя, заставляют нас по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные события мировой истории.

Настоящее издание — первая публикация книги на русском языке.

ISBN

© PENGUIN BOOKS, 1964
© Перевод ДААТ/ЗНАНИЕ, 2008

Предисловие

Трудно писать о книге, освещающей и анализирующей суд над одним из главных нацистских преступников, чье имя неоднократно звучало на заседаниях Нюрнбергского процесса в 1946 г. Этот человек 15 лет скрывался от правосудия, и, наконец, в 1960 г. израильские спецслужбы разыскали его в Аргентине и доставили в Израиль. Этим человеком был Адольф Эйхман, основная вина которого состояла в практической подготовке, организации и реализации уничтожения евреев Европы.

Автор книги Ханна Арендт (1906–1975) родилась в Ганновере в Германии. Училась в университете Марбурга, у Мартина Хайдеггера, в Гейдельберге у Карла Ясперса.

После прихода Гитлера к власти переехала в Париж, а после оккупации Франции нацистами бежала в США. В статусе профессора работала в различных университетах. Х. Арендт в числе самых интересных, оригинальных философов, изучавших природу тоталитаризма в 20 веке. До сего дня исследование Арендт по этой теме, одно из самых глубоких и актуальных, вызывает постоянный интерес читателей. Она одна из культовых фигур современной философии.

В 1961 г. в качестве обозревателя американского еженедельника «Нью-Йоркер» Арендт следила за процессом над А. Эйхманом в Иерусалиме. Итог этой работы – книга «Эйхман в Иерусалиме». Автор не только отслеживает процесс и информирует читателей еженедельника, она глубоко анализирует заседания суда, личность подсудимого, саму Катастрофу.

Ханна Арендт имеет особый взгляд на процесс и на все, связанное с ним, что вызывает особый интерес читателей. Автор, будучи еврейкой, своими глазами видела приход нацистов к власти и их политику в отношении евреев. Она неоднократно полемизирует с израильским правосудием, и ее позиция и сегодня, через десятилетия после процесса и много лет после ее смерти, вызывает интерес большинства, возмущение, непонимание или несогласие многих.

В данном предисловии я кратко говорю об основных этапах трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. Трагедии, известной в мире под английским названием — Холокост, однако и широко употребляемым, привычным в среде русскоязычных историков и читателей, интересующихся событиями Второй мировой войны, словом — Катастрофа.

Часто евреям, еврейским историкам задают вопрос: «Почему Вы говорите об уникальности уничтожения евреев в годы Второй Мировой войны? Погибли миллионы людей других национальностей. Только Советский Союз потерял около 30 млн. человек».

Действительно, почему говорят об уникальности Катастрофы?

Только в отношении евреев существовал конкретный план, в соответствии с которым должны были быть уничтожены все евреи Европы, независимо от возраста — от младенца до древнего старца, независимо от религиозных воззрений (уничтожались и евреи, исповедовавшие христианство), политических взглядов, социального происхождения и положения. Особенность Катастрофы в том, что нацистский подход не оставлял евреям, в отличие от других народов, ни малейшего шанса на выживание. Исчезло то, что было объектом и субъектом христианского антисемитизма, никогда не ставившего целью истребление евреев: переход евреев в христианство в предшествующей истории спасал. Теперь исчез и этот фактор. И еще один важный момент. Некоторые современные историки, политики, публицисты — отнюдь не единицы — отрицают факт уникальности Холокоста, мотивируя это тем, что, по их мнению, нацисты собирались уничтожить и уничтожали другие народы. Это нежелание видеть объективное. А именно:

— у всех других народов оккупированных европейских стран был выбор: принятие оккупации, сотрудничество экономическое, политическое, административное, вплоть до военного. В таком случае жизни этих народов ничего не угрожало, существовала возможность занятия административных должностей, некоего самоуправления и т. п. На оккупированной территории СССР также все народы имели возможность существовать, пусть и оставаясь гражданами второго сорта, подчас в качестве рабов, однако, при условиях сотрудничества с оккупантами, пользовались некоторыми привилегиями, правами и их жизнь была вне опасности. Можно привести множество фактов, которые опро-

вергают миф о стремлении нацистов уничтожить целые народы. Среди этих фактов, такие:

— на оккупированной территории повсюду действуют медицинские учреждения, в которых оказывается необходимая врачебная помощь;

— на всей оккупированной территории, действуют школы различных ступеней (в России на селе 4-летки, в городе 7-летки, причем образование бесплатное), а университеты и институты вновь принимают студентов, и обучение также проходит на родном языке;

— на оккупированной территории открыты тысячи православных приходов и храмов;

— на оккупированной территории оккупанты и коллаборационисты выпускают сотни различных газет, книг, организуют и поддерживают культурную жизнь этого народа, сохраняя или создавая новые театры или театральные труппы, поддерживая деятельность народных художественных коллективов и промыслов;

— на оккупированной территории представители населения входят в состав административных органов местного управления — от сельского старосты до бургомистра, начальника полиции, начальника управы городского, районного и окружного уровней;

— представители этого народа служат в армии оккупантов или в специально созданных национальных формированиях — от вермахта до СС, в различных чинах — от рядовых до генералов;

— представители этого народа служат во вспомогательной полиции, карательных подразделениях, руками которых осуществляется политика геноцида евреев и противников нацистского режима из числа собственного народа;

— всего в нацистских формированиях служило не менее 1,5 млн. советских граждан разных национальностей.

Только у евреев не было ни одной из выше перечисленных возможностей.

Тысячи деревень на оккупированной территории СССР были сожжены и их жители расстреляны, отправлены в концлагеря потому, что жители этих деревень помогали партизанам, либо военнопленным. Причем эти преступления совершены были, как правило, коллаборационистами. Правда об этом в советские времена сознательно скрывалась. Например, наиболее известная история, ставшая символом уничтожения, трагедия белорусской деревни Хатынь, многие факты об уничтожении кото-

рой тоже умалчивались. Неподалеку от деревни было совершено нападение на немецкую машину. Ответную карательную операцию провел 118-й полицейский батальон, сформированный из бывших советских военнопленных, в основном украинцев. Начальником штаба этого батальона был бывший старший лейтенант РККА Григорий Васюра. Каратели этого подразделения сожгли Хатынь вместе с ее 149-ю жителями, из которых 75 — дети. Советские историки писали, что Хатынь сжег батальон немецких карателей, скрывая, национальность убийц-украинцев, дабы не разжигать национальные страсти.

У военнопленных солдат Красной Армии всех национальностей тоже был выбор: коллаборация с нацистами вплоть до участия в воинских формированиях вермахта и СС, позднее — в составе восточных батальонов и армии Власова, т. е. всегда был выбор между жизнью и смертью. У евреев такого выбора не было, даже в случае готовности сотрудничать добровольно или вынужденно с нацистами, а такие были, конечный результат был один — смерть.

В результате каких событий еврейство Европы оказалось на краю гибели? 30 января 1933 г. Адольф Гитлер становится канцлером Германии. И это стало началом конца евреев Германии, а затем и всей Европы. На протяжении почти 60 лет, предшествовавших приходу нацистов к власти, евреи Германии ощущали себя полноправными гражданами страны. Они были интегрированы в немецкую культуру и политику, в экономику. Их родным языком был язык Шиллера и Гете, они ощущали себя частью немецкого народа и называли себя «немцами Моисеева закона». Теперь же все изменилось.

Антисемитизм, до этого бывший основной составляющей партийной пропаганды нацистов, стал официальной основой внутренней государственной политики гитлеровской Германии. Первая государственная антиеврейская акция была проведена 1 апреля 1933 г. «Хороший немец не покупает у евреев!» Именно под таким девизом проводился бойкот еврейских магазинов. Однако это было только начало. В апреле 1933 г. евреи были изгнаны из всех государственных учреждений, армии, судов, университетов, больниц. Евреям-врачам было запрещено оказывать помощь немцам, евреям-юристам — оказывать услуги немецким клиентам. Евреям запретили работать в кино, были изгнаны с работы евреи журналисты, актеры, музыканты и художники.

В сентябре 1935 г. были приняты новые расистские антиеврейские меры, известные как «Нюрнбергские законы», так как они были приняты в Нюрнберге. Законы «О гражданах Рейха» и «О защите крови и чести» лишили евреев гражданских и политических прав, поставили их в условия сегрегации.

14 ноября 1935 г. выходит дополнение к «Закоу о гражданах рейха». Эти дополнения ответили на вопрос: Кто является евреем? «... Евреем считается всякий, имеющий три четверти еврейской крови или две четверти, если он исповедует иудаизм или состоит в браке с евреем или еврейкой». Дети, рожденные в смешанном браке, считались не евреями, но и не арийцами и подвергались дискриминации. Однако если на территории Германии и Западной Европы дети от смешанных браков не подвергались уничтожению нацистами, то все дети, рожденные в смешанном браке, на оккупированных территориях СССР подлежали уничтожению. Но это произойдет позднее, а пока нацисты делают все, чтобы заставить евреев Германии покинуть страну. Для осуществления этой цели годится все: евреев учащихся и студентов изгоняют из учебных заведений, в июле 1938 г. в паспортах немецких евреев появляется особая отметка «J» — «Jude» — еврей. Особым распоряжением в августе того же года в документах евреев, рядом с их именами появляются дополнительные имена: у мужчин — «Израиль», а у женщин — «Сара». И теперь, даже если еврей носит имя Адольф или Зигфрид, рядом будет записано — «Израиль», а к имени еврейки Лорелеи или Гретхен добавлено — «Сара». Евреям запрещают жить в домах вместе с немцами и заставляют жить в отдельных домах, населенных только евреями. В 1938 г. в результате политики «ариизации» евреи вынуждены были передать свои фирмы, предприятия в руки немцев и таким образом были полностью изгнаны из экономической жизни Германии. Однако принять решение об изгнании немецких евреев из Германии нацисты пока не решаются и поэтому обращают внимание на «чужаков» — иностранных евреев, проживающих в Германии. Такими оказываются евреи — граждане Польши, проживающие в Германии. 28 октября 1938 г. нацисты арестовали около 17 тысяч польских евреев и выслали их в Польшу. Однако польские власти отказались принять своих сограждан и несколько месяцев несчастные находились под открытым небом, пока, в конце концов, польское правительство дало согласие на въезд собственных граждан. Эти события привели к

трагедии и немецких евреев. Среди высланных находилась семья 17-летнего Гершеля Гриншпана, проживавшего в Париже. Узнав о случившемся, желая отомстить за унижения близких, пытаясь обратить внимание мира на происходящее с евреями, Гриншпан совершает террористический акт. 7 ноября 1938 г. он входит в здание немецкого посольства в Париже, требует встречи с послом, однако на встречу с ним выходит третий секретарь посольства Эрнст фон Рат. Гриншпан стреляет и смертельно ранит его. На допросе Гриншпан заявил: «Быть евреем — это не преступление. Я не собака. Я имею право на жизнь, а еврейский народ имеет право на существование в этом мире. Меня всюду преследуют как зверя». Нацисты использовали это покушение для мести всем евреям Германии. Повод для погрома был найден: евреи пролили немецкую кровь, значит, должна пролиться и еврейская. В ночь с 9 на 10 ноября по всей Германии прокатился погром, вошедший в историю под названием «Кристалнахт» — «Хрустальная ночь». Такое название погром получил потому, что в эту ночь улицы большинства немецких городов были усыпаны стеклами от окон еврейских квартир и витрин еврейских магазинов. В ходе погрома было сожжено или разрушено более 1000 синагог и более 800 магазинов и предприятий, разграблены сотни еврейских квартир. Несколько десятков евреев были убиты, несколько сотен ранены. Более 20 тысяч евреев-мужчин, в основном, люди свободных профессий, были арестованы и отправлены в концлагеря. Особенность этого погрома в том, что он не был спонтанным, под влиянием «страстей и фанатизма». Это был погром, организованный государством и проведенный штурмовиками нацистской партии. После погрома на еврейскую общину Германии был наложен штраф в один миллиард марок. Эта страшная ночь освободила евреев Германии от последних иллюзий на возможность сосуществования с нацистской властью. Эмиграция евреев из Германии быстро растет, ширится, и нацисты всячески поощряют этот процесс.

24 января 1939 г. Геринг издал указ, в котором говорилось: «Должны быть приняты меры для ускорения эмиграции евреев из Германии». С этой целью было создано Центральное имперское бюро по вопросам еврейской эмиграции из рейха. Его руководителем по совместительству стал начальник службы безопасности СД Рейнхард Гейдрих. Одним из чиновников этого бюро был назначен Адольф Эйхман, начавший службу в СД еще в

1934 г. и через несколько месяцев работы переведенный в созданный специальный отдел по еврейским делам, где он четыре года спустя сделался общепризнанным «экспертом».

Так как Арендт подробно рассказывает о вехах его жизни, я добавлю лишь несколько вводных штрихов к его биографии. Эйхман родился в 1906 г. в немецком городе Золингене в многодетной семье бухгалтера трамвайной и электрической компании. Учился в школе, затем в техническом училище по специальности механика, но ни в одном из учебных заведений не получил диплома об их окончании. Около 5 лет проработал в австрийской нефтяной компании. В 1932 г. вступил в национал-социалистическую партию. В 1934-м перебрался в Германию, где стал сотрудником СД на скромной должности в архивном отделе. Через некоторое время перешел в гестапо. После создания в сентябре 1939 г. Главного управления имперской безопасности (РСХА) возглавил отдел IV-B гестапо, отвечавший (под руководством своего шефа группенфюрера Генриха Мюллера) за «окончательное решение еврейского вопроса».

После аншлюса (присоединения) Австрии к рейху, в марте 1938 г., он был командирован в Вену для организации там эмиграции евреев. Деятельность Эйхмана была чрезвычайно результативной: за восемь месяцев Австрию покинуло 45 000 евреев, тогда как за тот же период Германию покинуло не более 19 000 евреев. За полтора года из Австрии выехало почти 150 000 человек, то есть 60 % ее еврейского населения, причем все они покинули страну «легально».

С началом Второй мировой войны нацисты переходят от политики изгнания евреев к политике их концентрации и подготовки к последующему уничтожению. Адольф Гитлер официально заявил о своих планах. Выступая в рейхстаге 30 января 1939 г., он сказал: «Сегодня я вновь буду пророком. Если еврейские финансисты в Европе и за ее пределами сумеют еще раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе»¹.

1 сентября 1939 г. нацистская Германия вторглась в Польшу и началась Вторая мировая война. 2 млн. польских евреев оказа-

¹ Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-1944). Сборник документов и материалов. Яд Вашем. Иерусалим, 1991, с. 34.

лось под властью нацистов. 21 сентября 1939 г. Гейдрих издает секретное распоряжение о создании гетто. Рекомендуются сконцентрировать евреев в гетто больших городов неподалеку от крупных железнодорожных узлов. Тем самым уже речь идет о возможной дальнейшей отправке евреев в пока еще не определенные пункты назначения. «Создание гетто, конечно же, является только промежуточным этапом... Конечная цель — в любом случае — сжечь дотла этот рассадник чумы» — говорилось в приказе о создании гетто в Лодзи ¹.

Евреи должны были носить на груди и спине желтую шестиконечную звезду, им запрещалось пользоваться общественным транспортом, ходить по тротуару, посещать общественные и культурные заведения. На территории Польши наряду с небольшими гетто были созданы крупнейшие: в Лодзи — более 160-и тысяч евреев, Варшавское гетто — более 450-и тысяч человек. Создание гетто было лишь переходным этапом к окончательному решению еврейского вопроса.

После оккупации в 1940 г. большинства европейских государств Германией или ее союзниками судьба европейских евреев была решена. На всех оккупированных территориях были введены Нюрнбергские законы, проведена конфискация еврейской собственности. Однако никто из евреев не предполагал, что их ждет в ближайшем будущем.

Нападение на Советский Союз открыло перед нацистами новые перспективы решения еврейского вопроса. 22 июня 1941 г. стало поворотным пунктом в трагедии евреев. **Подготовка к уничтожению советских евреев была составной частью приготовлений нападения на СССР.** 13 марта 1941 г. издана директива об особых условиях войны на Востоке, а затем появился приказ от 13 мая 1941 г. «Об особой подсудности в районе осуществления плана “Барбаросса”», который освобождал немецких военнслужащих от уголовной ответственности за совершенные преступления.

6 мая 1941 г. был разработан, а 6 июня утвержден и разослан командующим войсками приказ, вошедший в историю как «Приказ о комиссарах».

¹ Чтобы знали и помнили. Память о Катастрофе в Яд Вашем. Иерусалим 2007, с. 84.

Если штабные документы носили директивный характер, то разработанные на их основе пропагандистские материалы, адресованные немецким солдатам, рисовали страшный облик врага. Причем сознательно происходит стирание граней между понятиями «комиссар» и «еврей».

В преддверии войны с Советским Союзом в специальном распоряжении № 1 начальника верховного командования вермахта к директиве № 21 от 19 мая 1941 г. говорится о том, что борьба против большевизма «требует строгих решительных мер против большевистских агитаторов, партизан, саботажников и евреев...»¹

Таким образом впервые враг был точно определен, и тем самым решена судьба советских евреев.

2 июля 1941 г. принимается специальная директива Главного управления безопасности рейха, подписанная Гейдрихом, адресованная начальникам СС и полиции на оккупированных территориях СССР. В четвертом разделе, который называется «Экзекуции», подчеркивается, что экзекуции подлежат:

- «сотрудники Коминтерна, как и все профессиональные коммунистические деятели;
- сотрудники высшего и среднего ранга, а также наиболее активные сотрудники низшего ранга в партии, Центральном комитете, областных и районных комитетах;
- народные комиссары;
- евреи – члены партии и занятые на государственной службе, а также прочие радикальные элементы (диверсанты, саботажники, пропагандисты, снайперы, убийцы, поджигатели и т.п.)...»

Обращает на себя внимание то, что подобными распоряжениями только евреи – рядовые члены партии и государственные служащие – были обречены на смерть. К рядовым коммунистам и государственным служащим других национальностей смертная казнь в обязательном порядке не предусматривалась.

Задача по ликвидации «нежелательных элементов, каковыми являются евреи и коммунисты», была возложена на специальные подразделения – эйнзацгруппы.

Впервые эти группы были созданы по приказу Рейнхарда Гейдриха в 1938 г. перед началом вторжения в Чехословакию. В

¹ Уничтожение евреев СССР, с. 37.

их задачу входили захват важнейших государственных учреждений и подавление всякого возможного сопротивления со стороны гражданского населения. Эти группы действовали и во время нападения на Польшу. Первые расправы над мирным населением Польши, включая евреев, — дело эйнзацгрупп. Перед войной с СССР они были переформированы заново.

В эйнзацгруппе насчитывалось от 600 до 1000 человек. Офицеры в группы направлялись из СД, СС, Крипо (криминальной полиции), гестапо (тайной полиции). Рядовой персонал набирался из Ваффен СС, гестапо, а также из числа местной полиции на местах, как в Литве, на Украине и в Латвии; включались и добровольцы из числа военнопленных. Во время войны в эйнзацгруппах насчитывалось 1500 человек из Ваффен СС. Эти группы занимались уничтожением евреев на оккупированных территориях и непосредственно *чисткой* лагерей военнопленных от евреев и комиссаров.

Именно на оккупированных советских территориях начинается массовое, тотальное уничтожение евреев, причем убийства проводятся с первых дней оккупации как руками эйнзацкоманд, так и местными жителями из состава многочисленных добровольческих полицейско-карательных формирований. Особенно быстро и жестоко эти убийства происходили на территории Прибалтики и Украины.

Массовые убийства происходят на глазах местного населения и с его участием. Достаточно вспомнить погромы во Львове и Каунасе, в ходе которых тысячи евреев были зверски убиты местными убийцами. Колонны уходящих на смерть евреев проходят по улицам городов: Киев (Бабий Яр), Рига (Румбуле), Даугавпилс, Минск, Каунас... В десятках маленьких городов происходит то же самое. Расстрелы происходят в самих населенных пунктах, на их окраинах либо неподалеку от них. Звуки выстрелов не оставляют сомнения в происходящем, и все местное население знает о судьбе евреев. У жителей Киева не было сомнений в том, что произошло с евреями в Бабьем Яре.

В Европе все происходит по-другому, западноевропейское еврейство, подвергаясь ограничениям и репрессиям, питало надежды на будущее. Однако 20 января 1942 г. в Берлине на улице Гроссен Ванзее № 56 состоялось совещание, на котором было принято решение о судьбе западноевропейского еврейства. Докладчиком выступал руководитель СД Рейнхард Гейдрих. Речь

шла об 11 млн. евреев, проживавших в Европе, включая не оккупированные страны, а также страны союзников нацистской Германии. Однако еще в преддверии работы Ванзейской конференции немцы начали массовое уничтожение польского еврейства. Первый лагерь уничтожения, лагерь смерти — Хелмно, начал *работать* 8 декабря 1941 г. и *работал* с небольшими перерывами до января 1945 г. В Хелмно уничтожено около 300 тыс. евреев.

В марте 1942 г. началось строительство еще трех специальных лагерей, предназначенных только для уничтожения евреев без всякой селекции. Белжец начал *работать* в марте 1942 г., и убивал по декабрь 1942 г. Собибор «трудился» с мая 1942 г. по октябрь 1943 г. Трешлинка, в которой было уничтожено более 800 тыс. евреев, *работала* с июля 1942 г. по август 1943 г. Началось осуществление операции по уничтожению евреев Европы. После убийства Гейдриха в Праге в мае 1942 г. операция получила название «Рейнхард», по имени основного докладчика Ванзейской конференции. Эшелон за эшелонам с евреями из стран Европы отправлялся в лагерь смерти. В этих лагерях основной персонал убийц состоял из 20-30 немецких офицеров и 100-120 украинцев-добровольцев, бывших советских военнослужащих, прошедших после пленения трехмесячные курсы в специальном тренировочном лагере СС «Травники» в Польше. Два ранее существовавших лагеря: концлагерь Аушвиц-Освенцим (действует с 1940 г.) и лагерь для советских военнопленных Майданек (действует с октября 1941 г.) с лета 1942 г. превращаются в лагерь уничтожения. Центром уничтожения становится Польша, на территории которой расположены все 6 лагерей смерти.

В Европе местное население может лишь догадываться об убийствах евреев. Ведь евреев не убивают в Берлине, Париже, Праге, Брюсселе, Амстердаме, других городах. Их куда-то увозят. Говорят, на Восток, говорят, даже — в Палестину. На глазах местного населения центральной Европы не расстреливают, не вешают, не сжигают. Мы можем назвать две деревни, уничтоженные вместе с жителями: в Чехословакии — Лидице в 1942 г., во Франции — Орадур Сюр-Глан в 1944 г. Во всей центральной Европе есть специально отведенные места для расстрелов: тюрьмы, форты, где расстреливают участников движения Сопротивления. Европа — это единое социально-культурологическое с немцами пространство. Поэтому нацисты ведут себя более сдержано, желая сохранить лицо «культурной нации». А вот в Польше, Югославии, СССР все

наоборот. Убивают на глазах местного населения. Почему? Это славянские страны. Здесь мощное движение сопротивления, а потому и жесточайшие формы подавления этого сопротивления. Но, кроме того, и это главное, по расовой теории нацистских «ученых» славяне — «унтерменши-недочеловеки», они всего лишь на одну ступень выше евреев. Поэтому часть из них можно уничтожить, остальных запугать, сравнить разные народы, проводя политику: разделяй и властвуй. Поэтому украинские полицейские батальоны действуют в России, Белоруссии, Польше; эстонские, латышские и литовские — в Белоруссии, России, Украине, Польше.

Уничтожение советских евреев носило примитивный варварский характер и потому не требовало от нацистов особых финансовых вложений и участия хозяйственных госструктур. Уничтожение евреев Западной и Центральной Европы было поставлено на промышленную основу, и в их уничтожении были задействованы целые государственные и хозяйственные службы и системы (министерства, ж. д. транспорт, химические предприятия (производство Циклона «б»), строительные фирмы, заводы по производству печей, другие предприятия). Участие конкретных государственных политических, хозяйственных структур Германии позволило нацистам в короткие сроки, от полутора до 2-х лет, уничтожить около 4 млн. европейских евреев, это без учета уничтоженных на территории СССР в границах 1941 г.

Одним из важнейших участников этой машины уничтожения и был Адольф Эйхман непосредственно курировавший депортацию в лагеря европейских евреев. Ни один эшелон не проходил мимо его внимания. Недаром его называли «бухгалтером смерти». Одним из свидетельств его «организаторских способностей» является депортация в течение полутора месяцев 400 тысяч евреев Венгрии в Освенцим летом 1944 г. Это была заключительная крупномасштабная операция по ликвидации крупнейшей сохранившейся к 1944 г. еврейской общины Европы. Только разгром фашизма спас остатки европейских евреев от уничтожения.

*Д-р. Арон Шнеер,
ин-т Яд Вашем, Иерусалим*

О Германия –
Слушая речи, доносящиеся из дома твоего,
люди смеются.
Однако при встрече с тобой они хватаются за нож.

Бертольт Брехт

I. СУД

Бет-мишпат на иврите означает «суд» (буквально: «дом правосудия»). Когда судебный пристав возглашает в полную мощь своего голоса эти слова, все присутствующие встают, приветствуя троих судей, которые, с непокрытыми головами, облаченные в черные мантии, входят через боковую дверь в зал суда и занимают свои места за столом на самом верхнем ярусе помоста. Этот длинный стол скоро будет завален бесчисленными книгами и более чем полутора тысячами документов. В торцах стола — места судебных стенографов. На следующем ярусе сидят переводчики, в задачу которых входит обеспечение непосредственного общения между подсудимым или его защитниками и судом.

Судебное заседание ведется на иврите; говорящий по-немецки подсудимый, как и большинство присутствующих, следит за его ходом благодаря звучащему в наушниках синхронному переводу, причем французские переводчики превосходны, английские — вполне сносно, а немецкие — зачастую невразумительны, а порой просто смехотворны. Если принять во внимание, что с технической стороны судебный процесс организован практически безукоризненно, то мы, похоже, имеем дело с одной из загадок молодого Государства Израиль — пусть даже и не из числа самых непостижимых: почему, при такой высокой доле выходцев из Германии в составе населения страны, нельзя было найти квалифицированных синхронщиков с тем языком, которым только и владеют как подсудимый, так и его защита. Вряд ли можно отнести это на счет давнего предубеждения относительно евреев немецкого происхождения, которое в свое время было столь заметно в Израиле, но сейчас в значительной степени ослабло. Остается довольствоваться другим объяснением, а именно, воздействием «витамина П» — так в Израиле принято называть протекционизм, — явление, весьма распространенное в правительственных и чиновничьих кругах.

Ниже переводчиков расположены застекленная кабина обвиняемого и место для дачи свидетельских показаний. Подсудимый и свидетели сидят лицом к лицу и, таким образом, вполоборота к залу. И, наконец, на самом нижнем ярусе, спиной к залу, сидят главный обвинитель и четыре поддерживающих обвинение прокурора, а также защитник, который на протяжении нескольких первых недель процесса появлялся в суде со своим помощником.

Нельзя усмотреть ничего показного в манерах и поведении судей. Естественно то сдержанное и вместе с тем напряженное внимание, с которым они выслушивают горестные показания, порой камня от скорби. Понятна и уместна их негативная реакция на попытки обвинения затянуть слушания до бесконечности. Их отношение к защите, быть может, чуть излишне вежливо, как если бы они ни на секунду не позволяют себе забыть, что «доктор Серватиус ведет, практически в одиночку, эту нелегкую битву в недружественном окружении». Их поведение по отношению к подсудимому безукоризненно. Все трое судей, несомненно, добросовестны и безупречны, и не вызывает ни малейшего удивления то обстоятельство, что никто из них не поддается искушению разыграть маленький спектакль и сделать вид, будто они — родившиеся и получившие образование в Германии — должны всякий раз ждать окончания ивритского перевода. Председательствующий, Моше Ландау, зачастую реагирует на слова подсудимого или защиты еще до того, как прозвучала их ивритская версия. Судья Ландау к тому же нередко поправляет переводчика или уточняет перевод, причем видно, что он готов использовать любую возможность такого рода, чтобы хоть как-то отстраниться от ужасных и трагических подробностей. Несколько месяцев спустя он даже выступит с инициативой вести перекрестный допрос Эйхмана по-немецки, на их общем родном языке, — лишнее доказательство его безусловной независимости от диктата общественного мнения, если, впрочем, кому-либо еще нужны были подобного рода доказательства.

С самого начала процесса было очевидно, что именно судья Ландау задает тон ходу судебного разбирательства, что он прилагает все усилия, и немалые усилия, дабы заседания суда трудами обвинителя не превратились в публичное зрелище, поскольку государственный обвинитель известен своей любовью к такого рода зрелищам. Не всегда усилия судьи Ландау

увенчиваются успехом, чему есть несколько причин, начиная с того обстоятельства, что судебное заседание происходит на сцене, перед аудиторией, и громогласный клич судебного пристава, открывающий каждое заседание, производит впечатление поднятия занавеса перед спектаклем. Этот зал в Бет-ха-Ам изначально предназначался для театральных постановок, и потому в зале имеется оркестровая яма и балкон, авансцена и сцена, а также боковые двери, через которые входят исполнители. Недавно построенный Бет-ха-Ам (Народный дом) сейчас обнесен высоким забором, охраняется, от крыши до подвала, вооруженными до зубов полицейскими, а во внутреннем дворике сооружено несколько деревянных строений, в которых всех посетителей тщательно обыскивают.

Несомненно, такой зал суда — подходящее место для публичного процесса, который задумал Давид Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, отдавший распоряжение похитить Эйхмана в Аргентине и доставить его в Иерусалим, чтобы там, в окружном суде, начать процесс по делу этого военного преступника, ответственного за реализацию «окончательного решения еврейского вопроса». Бен-Гурион, по праву именуемый «архитектором еврейского государства», был скрытым от посторонних глаз постановщиком процесса на всем его протяжении. Он неоднократно бывал на судебных заседаниях, а в зале суда его слова озвучивал Гидеон Хаузнер, генеральный прокурор, который, представляя правительство, делал все возможное, чтобы выполнить волю своего руководства. По счастью, не все его усилия увенчивались безусловным успехом — благодаря тому, что председателем суда был человек, который служил правосудию столь же ревностно, как и Гидеон Хаузнер служил Государству Израиль.

Правосудие требует, чтобы против обвиняемого были выдвинуты обвинения, чтобы он получил право на защиту и был подвергнут суду; при этом не обязательно рассмотрение других, возможно, представляющихся более значимыми, вопросов — «Как это могло случиться?» и «Почему это случилось?», «Почему это случилось с евреями?» и «Почему это делали немцы?», а также «Какова была роль других народов?», «Какова мера ответственности государств-членов антифашистской коалиции за произошедшее?», «Как могли евреи, а точнее, их руководители, сотрудничать с убийцами?» и «Почему евреи шли на смерть как овцы на заклание?».

Правосудие настаивает на том, чтобы суд был посвящен рассмотрению роли Адольфа Эйхмана, сына Карла Адольфа Эйхмана. Подсудимый, помещенный, ради его же безопасности, в специально сооруженную застекленную кабину — человек среднего роста, хрупкого телосложения, среднего возраста, лысеющий, близорукий, с плохо подогнанными зубными протезами, на протяжении всего процесса сидел, скривив свою длинную жилистую шею и ни разу не взглянув на аудиторию. Он с отчаянием старался демонстрировать самообладание, что ему по большей части удавалось — несмотря на передергивавший его рот нервный тик, которым он начал страдать, по-видимому, еще до начала процесса. Суд рассматривает действия Эйхмана, а не трагедию еврейского народа, не деяния немецкого народа и человечества в целом, и даже не антисемитизм и расизм.

И Правосудие, будучи, возможно, «абстрактным понятием» для людей, похожих складом ума на Бен-Гуриона, оказывается значительно более суровым и непреклонным, чем сам премьер-министр и вся его власть. Последняя, о чем свидетельствует поведение Гидеона Хаузнера, демонстрирует вседозволенность. Прокурор позволяет себе проводить пресс-конференции и давать телеинтервью в ходе процесса (американская программа, спонсором которой является фирма Гликман, постоянно прерывается рекламными вставками — бизнес прежде всего!) и даже «спонтанно» выплескивать свое негодование перед репортерами в зале суда: «он устал от перекрестных допросов Эйхмана, чьи ответы неизменно лживы». Прокурор Хаузнер регулярно одаривает присутствующих многозначительными взглядами и делает театральные жесты, свидетельствующие как минимум о его тщеславии, которое достигнет кульминации во время приема в Белом доме, где президент США поздравит его «с хорошо сделанным делом». Судьи не позволяют себе ничего подобного, предпочитая уходить от ненужных контактов; они демонстрирует скорбь, а не гнев, и далеки от соблазна оказаться в центре всеобщего внимания. О поездке судьи Ландау в США вскоре после окончания процесса знали только в еврейских организациях, поскольку их посещение и было целью его визита.

И все же, как бы ни старались судьи избегать огней рампы, тем не менее они сидят на самом видном месте, глядя в зал как бы со сцены. Зрители, заполнившие зал, по замыслу организаторов процесса, должны представлять весь мир — и на протяжении первых

нескольких недель процесса аудитория действительно состояла в основном из журналистов, слетевшихся в Иерусалим со всех концов света. Они прибыли для освещения события столь же сенсационного, как и Нюрнбергский процесс, только на этот раз «основное внимание должно уделяться трагедии всего еврейского народа». Поскольку, «если мы будем обвинять [Эйхмана] также и в совершении преступлений против представителей других народов», то не потому, что он совершил их, а — как ни поразительно это звучит — *«потому, что мы не намерены проводить никаких этнических различий»*. Несомненно, эта фраза достойна удивления — если учесть, что ее произносит обвинитель в самом начале своей вступительной речи. И эта фраза стала ключевой для позиции обвинения. Обвинитель говорит о страданиях евреев, а не о преступлениях Эйхмана. Согласно Гидеону Хаузнеру, такого рода различие является не столь существенным, поскольку «был лишь один человек, который занимался практически исключительно евреями, в чьи обязанности входило их уничтожение, чье участие в деяниях этого чудовищного режима было сосредоточено на них. Этот человек был Адольф Эйхман». Разве не было логичным представить вниманию суда все факты, свидетельствующие о страданиях евреев (что, разумеется, никогда не подвергалось сомнению), а затем рассмотреть свидетельства, которые тем или иным образом связывали личность Эйхмана со всем происшедшим? Нюрнбергский процесс, в ходе которого подсудимые «обвинялись в совершении преступлений против представителей всех народов», не рассматривал особо трагедию еврейского народа по той простой причине, что там не было Эйхмана.

Неужели Гидеон Хаузнер в самом деле полагал, что Нюрнбергский процесс уделит бы больше внимания еврейским судьбам, если бы Эйхман сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге? Наверяд ли. Как и почти все в Израиле, Хаузнер считал, что правым судом для евреев может быть только еврейский суд, и что судить своих врагов могут только сами евреи. Отсюда и почти единодушное резко негативное отношение израильтян к самой идее международного суда, который вынес бы Эйхману приговор не за преступления «против еврейского народа», а за преступления против человечества, совершенные им по отношению к еврейскому народу. Отсюда и это странное заявление относительно того, что «мы не намерены делать никаких этнических различий» — и это в Израиле, где раввинские суды обладают юрис-

дикцией относительно личного статуса граждан-евреев, причем браки с неевреями не разрешены; браки, заключенные за рубежом, признаются законными, но дети от смешанных браков юридически считаются незаконнорожденными (дети, рожденные родителями-евреями вне брака, признаются законнорожденными), а ребенок, рожденный нееврейкой, не может ни вступить в брак, ни быть похороненным в Израиле. Несправедливость в этой сфере стала еще более вопиющей после 1953 г., когда значительная категория дел, связанных с вопросами семьи и брака, была передана в юрисдикцию гражданского суда. Женщины получили право наследования и равный с мужчинами статус. Таким образом, вряд ли можно утверждать, что уважение к религии или влияние фанатически настроенного религиозного меньшинства не позволяет правительству Израиля заменить религиозный закон светским во всем, что касается браков и разводов. Граждане Израиля, как религиозные, так и нерелигиозные, по всей видимости согласны с тем, что представляется желательным иметь закон, запрещающий смешанные браки, и это едва ли не основная причина (как готовы признать израильские официальные лица в неофициальной обстановке), по которой представляется нежелательным наличие в стране письменной конституции, в которой такой закон пришлось бы, ко всеобщему смущению, обозначить в явном виде. Филип Гиллон в книге «Еврейская граница» утверждает, что «аргументация против светских браков сводится к тому, что институт светского брака способен расколоть Дом Израиля и вбить клин между евреями Израиля и евреями диаспоры». Безусловно поразительной была та наивность (каковы бы ни были ее мотивы), с которой обвинитель осуждал Нюрнбергские законы 1935 г., согласно которым были запрещены брак и внебрачное сожительство между евреями и «гражданами германской или родственной ей крови». Журналисты из числа более осведомленных осознавали эту горькую иронию, но никто из них даже не обмолвился об этом в своих материалах. Они полагали, что сейчас не время указывать евреям на неадекватность законодательства в их стране.

Итак, зрители, заполнившие зал, должны были представлять весь мир, а на сцене, должна была разворачиваться широкая панорама страданий еврейского народа. В действительности, однако, организаторы процесса не смогли добиться такого эффекта. Журналисты, прибывшие в Иерусалим со всех концов света,

оставались там не многим более двух недель, после чего состав аудитории изменился коренным образом. Теперь, по замыслу организаторов, зал суда должны были заполнить израильтяне — как молодежь, не знакомая с историей военных лет, так и представители восточных евреев, которых с этой историей никогда не знакомили. Процесс должен был продемонстрировать этим категориям населения, каково было жить среди неевреев, и лишний раз убедить их в том, что только в Израиле евреи могут жить в безопасности и достойно.

Специально для журналистов эти идеи были изложены в небольшой брошюре, посвященной израильской юридической системе, которую вручали всем аккредитованным корреспондентам. Ее автор, Дорис Ланкин, останавливается, в частности, на решении Верховного суда страны, согласно которому двоим отцам, «похитившим своих детей и привезших их в Израиль», было велено отправить их обратно, к живущим за рубежом матерям, на чьем попечении они находились. Такое решение, добавляет автор брошюры, было принято «несмотря на то, что возвращение детей под материнскую опеку могло обречь их на неравную борьбу с враждебными элементами в диаспоре». Похоже, автор гордится такой юридической принципиальностью не менее, чем Гидеон Хаузнер своей готовностью преследовать убийцу, даже если в числе его жертв были и неевреи.

В действительности среди присутствующих в зале суда практически не было ни молодежи, ни тех, кто называет себя «израильтянами, а не евреями». Здесь сидели люди, пережившие Катастрофу, люди средних лет и пожилые, иммигранты из Европы, вроде меня, знавшие обо всем не понаслышке и пришедшие сюда не для того, чтобы получить урок истории. Люди, которые были в состоянии сделать свои собственные выводы и без этого процесса. По мере того, как свидетель сменял свидетеля, и ужасающие свидетельства следовали одно за другим, они сидели в обществе таких же жертв Катастрофы и слушали то, что были бы не в состоянии выслушать в узком кругу. И по мере того, как разворачивалось повествование «о бедствиях, постигших еврейский народ в этом поколении», как все более высокопарной становилась риторика Хаузнера, фигура в застекленной кабине становилась все более бледной, все более похожей на призрак, и к жизни его не могли вернуть даже слова обвинителя: «Вот сидит то чудовище, которое несет ответственность за все происшедшее!»

И театральный, постановочный элемент процесса рухнул, не выдержав тяжести этих леденящих душу свидетельств. Процесс походит на пьесу тем, что в основе его — всегда злодей, а не его жертва. Для публичного процесса, в еще большей степени, чем для обычного суда, необходимо по возможности краткое и строго сформулированное описание того, что именно было содеяно и каким образом это было содеяно. В центре процесса может быть лишь тот, кто все это содеял — в известном смысле он подобен герою пьесы, и если он страдает, то должен страдать за содеянное им, а не за те страдания, которые он причинил другим. Лучше всех это понимал председатель суда, на глазах которого процесс начал оборачиваться спектаклем по пьесе с кровавым сюжетом, и «судно, лишившись руля, стало игрушкой волн». Но если усилия председательствующего предотвратить такое положение дел зачастую оказывались тщетными, то в известной степени это объяснялось, как не странно, просчетами защиты, поскольку защитник практически не подвергал сомнению свидетельские показания, сколь бы неуместными и не относящимися к делу они ни были. Доктор Серватиус — все присутствующие неизменно обращались к защитнику именно так: «Доктор Серватиус» — стал действовать более решительно, когда настал черед рассмотрения документальных свидетельств. Одна из наиболее впечатляющих из числа немногочисленных его реплик последовала, когда обвинитель предъявил в качестве документального свидетельства дневники Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши, одного из главных военных преступников, приговоренного Нюрнбергским трибуналом к смертной казни. «У меня имеется только один вопрос. Упоминается ли имя обвиняемого, Адольфа Эйхмана, хотя бы в одном из этих 29 томов? [Фактически дневники составляли 38 томов.] ... Имя Адольфа Эйхмана не упоминается ни в одном из этих томов. ... Благодарю вас. Больше вопросов не имею».

Можно сказать, что процесс так и не превратился в театральную постановку, хотя все же сохранил элементы публичного действия, рассчитанного на внешний эффект, на что рассчитывал Бен-Гурион перед началом суда. Речь, впрочем, скорее шла о тех «уроках», которые он намеревался преподать евреям и неевреям, израильтянам и арабам, короче говоря, всему миру. Эти уроки должны были быть различными, в зависимости от того, кому они предназначались. Бен-Гурион изложил их суть до начала процес-

са, в ряде публикаций, объясняющих, зачем Израиль похитил обвиняемого. Это был урок нееврейскому миру: «Мы хотим показать всем народам мира, как нацисты убили миллионы людей за то, что они были евреями, и миллион детей потому только, что они были еврейскими детьми». Или, как писала газета «Давар», орган руководимой Бен-Гурионом партии Мапай: «Пусть мировое общественное мнение знает, что не только нацистская Германия несет ответственность за убийство шести миллионов евреев Европы». Или, цитируя Бен-Гуриона: «Мы хотим, чтобы народы мира знали правду ... и они должны устыдиться». Евреям стран диаспоры напоминалось, как иудаизм, «с его четырехтысячелетней историей, творческой духовностью, этическими устремлениями и мессианскими чаяниями», постоянно противостоял «враждебно настроенному миру», как евреи были доведены до такого упадка, что шли на смерть, словно овцы на заклание, и как создание еврейского государства вдохнуло в еврейский народ новые силы, позволившие нанести врагам ответные удары — во время Войны за независимость, Синайской кампании, а также в ходе едва ли не ежедневных столкновений на беспокойной границе. Надо было продемонстрировать евреям за пределами Израиля разницу между израильским героизмом и еврейской смиренной покорностью. Но вместе с тем это был и урок живущим в Израиле: для «поколения израильтян, выросших за годы после Катастрофы», существовала опасность утратить связи с еврейским народом и, тем самым, с еврейской историей. «Необходимо, чтобы молодежь помнила все, что случилось с еврейским народом. Мы хотим, чтобы они знали о самых трагических страницах нашей истории». И, наконец, еще одна из причин, по которым необходимо устроить суд над Эйхманом: «чтобы вывести на чистую воду связи нацистов с рядом арабских лидеров».

Однако если бы сказанным ограничивалась совокупность обвинений, на основании которых Адольф Эйхман предстал перед окружным судом Иерусалима, то процесс потерпел бы неудачу практически по всем позициям. В известном смысле постулаты этих «уроков» были чрезмерными для данного конкретного процесса, а принятие части из них, безусловно, могло привести к неправильным выводам. Антисемитизм как таковой был, усилиями Гитлера, дискредитирован — если не навсегда, то, несомненно, в обозримом будущем, причем вовсе не потому, что отношение к евреям неожиданно изменилось в лучшую сторону, но

потому, что, как сказал Бен-Гурион, большинство людей осознало: «В наши дни антисемитизм напрямую приводит к газовым камерам и фабрикам по производству мыла». Столь же излишним был урок для евреев диаспоры, которые и без того понимали, что не обязательно пережить величайшую катастрофу, в которой погибла треть народа, дабы лишний раз убедиться в наличии враждебного отношения к ним со стороны окружающих. Осознание извечной и вездесущей природы антисемитизма стало самым убедительным идеологическим фактором, который способствовал развитию сионистского движения еще со времен дела Дрейфуса.

Понимание сути антисемитизма было также основой никак иначе не объяснимой готовности еврейской общины Германии вести переговоры с властями на начальной стадии нацистского режима. Вряд ли необходимо добавлять, что целая пропасть отделяла эти переговоры от последующего сотрудничества в рамках *юденратов*. На ранней стадии еще не возникали вопросы морального характера, речь шла только о политическом решении, «реализм» которого был достаточно спорным: утверждалось, что «конкретная» помощь лучше, чем «абстрактное» осуждение. Это была «реальная политика», без малейшей примеси макиавеллизма; ее отрицательные стороны выявились несколькими годами позже, после начала войны, когда повседневные контакты еврейских организаций и нацистской бюрократической машины значительно способствовали тому, что еврейские функционеры перешли опасную грань между оказанием помощи евреям, желающим уехать из страны, и оказанием содействия нацистам, организуя депортацию евреев.

Именно подход, основанный на убеждении во враждебности со стороны окружающих, привел к опасной неспособности евреев проводить различие между друзьями и недругами, и немецкие евреи не были одиноки в своем неумении реалистично оценивать своих врагов, поскольку они полагали, что все неевреи — одинаковы. Если премьер-министр Бен-Гурион, будучи главой еврейского государства, намеревался усилить этот вид «еврейского самосознания», то он поступал неблагоразумно, поскольку изменения подобного рода ментальности являются одной из необходимых предпосылок для израильской государственности, идея которой по определению делает евреев народом среди народов, нацией среди наций, государством среди госу-

дарств, и которая базируется на принципах плюрализма, требующих отказа от уходящей в глубь веков и, к сожалению, основанной на религиозных верованиях дихотомии «евреи — неевреи».

Разительное различие между израильским героизмом и смиренной покорностью, с которой евреи шли на смерть, — это серьезный и болезненный вопрос. В самом деле, почему евреи безропотно прибывали вовремя на сборные пункты, сами шли к месту расстрела, сами копали себе могилу, раздевались и складывали одежду аккуратными кучками и ложились в могилу, ожидая выстрела? Обвинитель старался в максимально возможной степени развить эту тему, задавая свидетелям, одному за другим, все те же вопросы: «Почему вы не протестовали?», «Почему вы сели в эшелон?», «Вас там было полторы тысячи человек, а охранников всего несколько сотен — почему вы не взбунтовались, не атаковали охранников, не набросились на них?» Но печальная истина заключается в том, что в сходных ситуациях аналогичным образом вели себя и представители других национальностей и народов. Бывший узник Бухенвальда Давид Руссе [Rousset] в своей книге «Дни нашей смерти», вышедшей вскоре после войны, следующим образом описывал ситуацию в концлагере: «Эсэсовцы стремятся добиться того, чтобы измученный узник сам шел к месту казни, не протестуя, чтобы он отрекся от своего «я» и перестал считать себя личностью. Эсэсовцам необходимо, чтобы человек признал свое поражение, но они добиваются этого не просто так, не из чистого садизма. Они знают, что создание такой системы, которая уничтожает человека еще до его физической смерти — это лучший способ держать целые народы в рабстве и покорности. Нет ничего более страшного, чем видеть толпу человеческих существ, покорно, как манекены, бредущих навстречу своей смерти».

Суд не получил ответа на эти жестокие и неумные вопросы обвинителя, хотя такой ответ можно представить, если задуматься о судьбе тех голландских евреев, которые в 1941 г., в старом еврейском квартале Амстердама, отважились напасть на подразделение немецких полицейских. В отместку немцы арестовали 430 евреев, которые были буквально замучены до смерти, сначала в Бухенвальде, а затем в австрийском лагере Маутхаузен. Их пытали на протяжении нескольких месяцев, изо дня в день они умирали страшной смертью, завидуя участи своих собратьев в

Освенциме, в гетто Риги и Минска. На свете существуют вещи пострашнее смерти, и эсэсовцы делали все, чтобы их жертвы испытали нечеловеческие муки. В таких ситуациях сознательные попытки представить на суде историю исключительно с еврейской точки зрения искажали истину, и даже еврейскую истину. Величие восставших в Варшавском гетто и героизм всех тех, кто пытался сопротивляться нацистам — именно в том, что они отказались принять более легкую смерть, в газовой камере или от пуль расстрельной команды. А рассказы свидетелей на иерусалимском процессе о сопротивлении и неповиновении в годы Катастрофы лишний раз служили подтверждением того, что только очень молодые люди были в состоянии принять решение не идти на смерть «как овцы на заклание».

Ожидания Бен-Гуриона сбылись в том плане, что процесс Эйхмана способствовал обнаружению нацистов — но только не в арабских странах, где сотням военных преступников в открытую было предоставлено убежище. В годы Второй мировой войны ни для кого не были секретом связи великого муфтия с нацистами, от которых он ожидал помощи с целью осуществления «окончательного решения» на Ближнем Востоке. Не удивительно, что газеты в Дамаске и Бейруте, Каире и Аммане не скрывали ни своих симпатий к Эйхману, ни сожалений относительно того, что он «не довел до конца свое дело». В первый день процесса Каирское радио даже позволило себе антинемецкий намек, отметив с упреком, что «за все годы Второй мировой войны ни один самолет немецких ВВС ни разу не пролетел над территорией еврейского поселения и не сбросил там ни единой бомбы». Симпатии арабских националистов по отношению к нацизму общеизвестны, причины этого более чем очевидны, и потому не было никакой нужды устраивать процесс Эйхмана с целью «вывести их на чистую воду» — они никогда и не скрывали своих чувств. На суде выяснилось только, что все слухи относительно контактов Эйхмана с Амином ал-Хусейни, бывшим муфтием Иерусалима, оказались необоснованными (Эйхман был лишь представлен муфтию во время официального приема в Берлине, наряду с другими главами отделов гестапо). Муфтий действительно поддерживал тесные контакты с министерством иностранных дел Германии и лично с Гиммлером, но как раз эта информация была общеизвестной.

Таким образом, замечание Бен-Гуриона относительно «связей между нацистами и арабскими лидерами» оказалось неактуальным. Однако, достоин удивления тот факт, что израильский премьер-министр, говоря о задачах процесса, не упомянул о возможности выявить нацистское прошлое ряда современных западногерманских политических деятелей. Разумеется, было приятно слышать, что «Аденауэр не несет ответственности за то, что сделал Гитлер» и что «для нас порядочный немец является порядочным человеком, хотя его соотечественники и ответственны за убийство миллионов евреев двадцать лет тому назад». (О порядочных арабах речи никогда и не шло.) Федеративная Республика Германия, хотя к тому времени и не признавшая Государство Израиль (возможно, из опасения, что арабские страны тогда могут признать Германскую Демократическую Республику), тем не менее выплатила Израилю на протяжении последних 10 лет репарации на общую сумму 37 млн. долларов. Таким образом, отношения между двумя странами, и особенно личные отношения между Бен-Гурионом и Аденауэром, были довольно хорошими. Правда, по следам процесса несколько депутатов израильского парламента, Кнессета, выступили с инициативой наложить ограничения на программу культурного обмена с ФРГ, но это, несомненно, не входило в планы Бен-Гуриона, и он даже не мог предвидеть такую реакцию своих законодателей. Более знаменательно, однако, что он не предвидел реакцию ФРГ на поимку Эйхмана: в стране начали предприниматься серьезные усилия по привлечению к судебной ответственности тех, кто в годы войны был непосредственно замешан в убийствах. Центральное агентство по расследованию нацистских преступлений, созданное в ФРГ в 1958 г., то есть, с заметным опозданием, испытывало в своей деятельности ряд трудностей, связанных отчасти с нежеланием немецких граждан выступать в качестве свидетелей и отчасти с нежеланием местных судов принимать к производству дела, основанные на материалах расследований Центрального агентства. Нельзя сказать, что на иерусалимском процессе выявились некие важные новые свидетельства, на основе которых можно было начать преследование сотрудников Эйхмана; однако сам факт сенсационного ареста Эйхмана и информация о предстоящем суде над ним оказали существенное влияние на деятельность местных судебных инстанций. Удалось преодолеть нежелание заниматься розыском «убийц среди нас», и правосудие прибегло к проверен-

ному временем методу: по стране стали вывешиваться плакаты с объявлением о денежном вознаграждении за помощь в деле обнаружения опасных преступников.

Результаты превзошли все ожидания. Семь месяцев спустя после доставки Эйхмана в Иерусалим (и, соответственно, за четыре месяца до начала процесса) был арестован Рихард Бэр, сменивший Рудольфа Гесса на посту коменданта Освенцима. Затем, буквально один за другим, были арестованы почти все члены так называемой «Специальной оперативной группы Эйхмана», в том числе Франц Новак, живший в Австрии и работавший печатником; д-р Отто Хунше, имевший юридическую практику в ФРГ; Герман Круми, ставший аптекарем; Густав Рихтер, бывший «советник по еврейским вопросам» в Румынии; Вилли Цёпф, занимавший аналогичный пост в Амстердаме. Хотя сведения относительно их деятельности были неоднократно опубликованы в ФРГ, в книгах и периодике, ни один из них даже не считал нужным принять вымышленное имя. Впервые со времен окончания войны немецкие газеты начали печатать многочисленные материалы о судах над нацистскими преступниками, причем все они обвинялись в массовых убийствах. Следует подчеркнуть, что, начиная с мая 1960 г., судебные разбирательства велись только по обвинениям в преднамеренном убийстве, а остальные дела были прекращены за давностью лет (срок давности для убийства составлял 20 лет). Нежелание местных судов рассматривать такие преступления нашло свое отражение в неправдоподобно мягких приговорах. Так, д-р Отто Брандфлиш, офицер *эйнзацгруппе* — специального подразделения СС, осуществлявшего массовые убийства евреев, цыган и военнопленных на оккупированных территориях — был приговорен к десяти годам каторжных работ за убийство 15 000 евреев; д-р Отто Хунше, юридический эксперт группы Эйхмана, лично ответственный за депортацию 1 200 евреев, из которых не менее половины погибло, был приговорен к пяти годам каторжных работ; Йозеф Лехтхалер, принимавший непосредственное участие в «ликвидации» евреев в городах Луцк (Украина) и Смоленичи (Белоруссия), был приговорен к трем с половиной годам каторжных работ.

Некоторые из арестованных занимали высокие посты при нацистском режиме и уже были денацифицированы решением немецких судов. Один из них, генерал СС Карл Вольф, бывший начальник личной канцелярии Гиммлера, «с особой радостью» отреагировал на полученное во время войны служебное сообщение отно-

сительно того, что «вот уже на протяжении двух недель, ежедневно, эшелон доставляет пять тысяч представителей «избранного народа» из Варшавы в Трешлинку», один из нацистских лагерей уничтожения — о чем существуют документальные свидетельства, представленные в 1946 г. на Нюрнбергском процессе. Другой, Вильгельм Коппе, был видной фигурой в лагере уничтожения Хелмно (где нацисты впервые стали применять для истребления узников выхлопные газы в специально оборудованных автомашинах — «душегубках»); затем он стал преемником Фридриха-Вильгельма Крюгера в Польше, одним из тех высокопоставленных эсэсовцев, в чью задачу входило сделать Польшу «юденрайн», то есть превратить страну в «зону, свободную от евреев». В послевоенной Германии Коппе стал директором шоколадной фабрики. Иногда суды выносили суровые приговоры, которые, впрочем, не всегда воспринимались однозначно — как в случае с генералом СС Эрихом фон дем Бах-Зелевски. Его судили в 1961 г., за участие в путче Рёма (1934 г.), и приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения; затем, в 1962 г., он предстал перед судом в Нюрнберге по обвинению в убийстве шестерых немецких коммунистов в 1933 г., и на этот раз был приговорен к пожизненному заключению. Ни в одном из обвинительных заключений даже не упоминается то обстоятельство, что Бах-Зелевски руководил антипартизанскими операциями на Восточном фронте, а также участвовал в массовых убийствах евреев в Минске и Могилеве (Белоруссия). Возможно, немецкие суды, исходя из того, что военные преступления не являются обычными преступлениями, все-таки делали определенные «этнические различия»? Но, возможно, такой исключительно суровый (по крайней мере, для немецких судов послевоенного периода) приговор объясняется тем, что Бах-Зелевски был одним из тех немногих старших эсэсовских офицеров, у кого случился нервный срыв после участия в массовых убийствах, кто пытался защитить евреев от действий *эйнзацgruppen*, а также выступал свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе? Он был также единственным из офицеров своего ранга, кто (в 1952 г.) выступил с осуждением своего участия в акциях массовых убийств, хотя и не преследовался в судебном порядке по такому обвинению.

Вряд ли можно ожидать, что положение дел изменится в настоящее время, хотя администрация Аденауэра и была вынуждена убрать с занимаемых постов более 140 судей, сотрудников прокуратуры и полиции с более чем сомнительным прошлым, а

также уволить Вольфганга Иммервара Френкеля, генерального прокурора Федерального верховного суда, потому что, несмотря на свое второе имя (*Immerwahr* по-немецки означает «всегда правдивый»), он отнюдь не был откровенным, давая показания о своем нацистском прошлом. Согласно оценке, из общего числа 11 500 судей ФРГ не менее пятисот заседали в судах при нацистском режиме. В ноябре 1962 г., вскоре после того, как завершилась чистка судебного аппарата ФРГ, а имя Эйхмана (после его казни в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 г.) пропало с газетных страниц, во Фленсбурге состоялся давно ожидавшийся суд над Мартином Фелленцем, проходивший в практически пустом зале суда. Фелленц, в прошлом старший офицер СС, а теперь видный член Свободной демократической партии Германии, входившей в правительственную коалицию Аденауэра, был арестован в июне 1960 г., через несколько недель после поимки Эйхмана. Он был признан ответственным за массовые убийства 40 000 польских евреев, и после более чем полутора месяцев судебного разбирательства прокурор потребовал для него максимального наказания — пожизненных каторжных работ. Суд же приговорил Фелленца к четырем годам, причем ему были зачтены два с половиной года предварительного заключения.

Во всяком случае, нет никакого сомнения, что процесс Эйхмана имел далеко идущие последствия в самой Германии. Отношение немецкого народа к своему прошлому (которое не может не удивлять всех специалистов по немецкому вопросу) было продемонстрировано с максимально возможной ясностью: самих немцев не очень беспокоит присутствие убийц в их среде и в их стране, поскольку вряд ли кто-либо из них собирается убивать людей по своему собственному намерению и произволу; однако, если мировое общественное мнение — или, точнее говоря, *das Ausland* («внешний мир», понятие, охватывающее все страны вне Германии) — проявляет настойчивость и требует наказания этих людей, то немцы, несомненно, готовы пойти им навстречу, во всяком случае, до известной степени.

Канцлер Аденауэр предвидел замешательство в обществе и высказал опасение, что процесс «вновь пробудит все бывшие ужасы» и вызовет новую волну антинемецких настроений во всем мире — что, в сущности, и произошло. На протяжении тех десяти месяцев, что потребовались Израилю для подготовки к процессу, в Германии делалось все возможное, чтобы продемонстрировать беспре-

цедентные усилия по розыску и судебному преследованию нацистских преступников в стране. Однако ни власти Германии, ни сколь-либо влиятельная группа населения страны не требовали экстрадиции Эйхмана, хотя такого рода требование представлялось бы вполне очевидным, поскольку всякое суверенное государство полагает себя вправе самостоятельно судить своих граждан. Официальное мнение, высказанное правительственными чиновниками Германии относительно того, что экстрадиция была невозможна ввиду отсутствия соответствующего соглашения между Израилем и ФРГ, не выдерживает критики: отсутствие такого соглашения означает лишь только, что Эйхмана нельзя было выдать по принуждению. Фриц Бауэр, генеральный прокурор земли Гессен, указал на это обстоятельство и обратился к федеральному правительству в Бонне с официальным запросом относительно экстрадиции. Однако Бауэр был немецким евреем, и его мнение не соответствовало общественному мнению — потому его запрос не просто был отвергнут официальным Бонном, но и остался практически незамеченным в стране. Немецкая сторона довела до сведения израильских властей еще один аргумент не в пользу экстрадиции: в ФРГ не существует смертной казни, и, таким образом, нет возможности вынести Эйхману приговор, которого он заслуживает. Учитывая мягкость приговоров, вынесенных немецкими судами нацистам, повинным в массовых убийствах, нельзя не усомниться в добросовестности такой аргументации. Несомненно, процесс Эйхмана в Германии мог завершиться грандиозным политическим скандалом: его могли оправдать ввиду отсутствия *mens rea* (намерение обвиняемого, его умысел — *лат.*), как на это указывал И. Янсен в *Rheinischer Merkur* от 11 августа 1961 г.

Существует еще один, более деликатный и более значимый с политической точки зрения аспект этого дела. Одно дело разыскать скрывающегося преступника и убийцу и совсем другое дело обнаружить, что он живет и процветает у всех на виду — как это было с целым рядом государственных чиновников, которые успешно продолжали в ФРГ свои карьеры, начатые еще при Гитлере. Следует, однако, признать, что если бы администрация Аденауэра проявляла чрезмерную щепетильность при найме чиновников с внушающим подозрение нацистским прошлым, то страна могла остаться вовсе без государственного аппарата. Вряд ли можно считать истинным и справедливым утверждение Аденауэра, что лишь «сравнительно небольшая доля» немецкого народа была связана с нацистами и что

«значительное большинство немцев стремились, по возможности, оказывать помощь своим еврейским согражданам». Во всяком случае, влиятельная немецкая газета *Frankfurter Rundschau* задалась вопросом, который давно уже следовало поднять со всей серьезностью: почему же столь многие, зная, например, о прошлом генерального прокурора Федерального верховного суда, хранили молчание? И тут же был дан в высшей степени очевидный ответ: «Потому что они и сами чувствовали себя не без греха». Логика процесса Эйхмана, как ее видел Бен-Гурион, когда основное внимание уделялось вопросам общего характера, в ущерб юридическим тонкостям и деталям, могла бы привести к раскрытию соучастия всех немецких учреждений и организаций в осуществлении «окончательного решения», включая всех государственных служащих в министерствах Третьего рейха, вооруженные силы с генеральным штабом во главе, юридическую систему и деловой мир.

Хотя обвинение, представленное Гидеоном Хаузнером, постоянно отклонялось от основного направления процесса, вызывая свидетеля за свидетелем, которые давали показания о делах страшных, чудовищных, но связанных лишь в незначительной степени с деяниями обвиняемого, вместе с тем Хаузнер искусно избегал упоминания вещей, поистине взрывоопасных, и не поднимал вопрос о тотальном соучастии немцев, далеко выходящем за пределы, определяемые членством в нацистской партии. Перед началом процесса циркулировали слухи о том, что Эйхман в ходе следствия назвал «несколько сот видных деятелей ФРГ» в качестве своих соучастников — но эти слухи не подтвердились. В своей вступительной речи Хаузнер говорил о «соучастниках Эйхмана, которые не принадлежали к преступному миру и не являлись ни гангстерами, ни бандитами», и пообещал назвать их всех — «врачей и юристов, ученых, банкиров и экономистов, которые заседали в организациях и советах, где принимались решения об уничтожении евреев». Это обещание не было выполнено, да и не могло быть выполнено — поскольку не существовало «организаций и советов, где принимались решения», и «облаченные в мантии важные сановники с академическими степенями» не принимали решений относительно уничтожения евреев — они лишь собирались для планирования соответствующих шагов и мероприятий, необходимых, чтобы выполнять приказ, отданный Гитлером. Впрочем, одна фамилия была названа в ходе судебного разбирательства — д-р Ганс Глобке, один из ближайших советников Аде-

науэра, который четверть века тому назад был соавтором позорно известных комментариев к Нюрнбергским законам, а несколькими годами позже выступил с идеей заставить всех немецких евреев взять в качестве второго имени «Израиль» или «Сара». Однако имя Ганса Глобке — только его имя, и ничье больше — было включено в протоколы судебных заседаний по требованию защиты; возможно, это было сделано в надежде «убедить» правительство Аденауэра поднять вопрос об экстрадиции Эйхмана. Во всяком случае, бывший советник министерства внутренних дел Германии и нынешний статс-секретарь канцелярии Аденауэра имеет больше оснований быть отнесенным к числу тех, кто принес страдания еврейскому народу, нежели бывший муфтий Иерусалима.

Согласно позиции обвинения, центральным объектом процесса Эйхмана была история. «На этом историческом процессе мы судим не конкретных людей, и даже не нацистский режим в целом, а антисемитизм во всех его проявлениях на протяжении всей истории человечества». Такой тон задал сам Бен-Гурион, и ему усердно следовал Гидеон Хаузнер, начавший свою вступительную речь (длившуюся на протяжении трех заседаний суда) с египетского фараона и указа Амана «убить, погубить и истребить всех евреев» (Есфирь 3:13). Затем он процитировал из Иезекииля (16:6): «И Я [Господь] проходил мимо тебя, и увидел тебя в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи!», объясняя, что эти слова следует понимать как «императив, обращенный к еврейскому народу со времен его появления на арене истории». Это был неудачный исторический пример и дурная риторика; более того, это противоречило самой идее суда над Эйхманом — позволяя сделать вывод, что, быть может, в действиях Эйхмана не было злого умысла, и он был всего лишь исполнителем неких непостижимых предначертаний. При подобном подходе и антисемитизм можно считать необходимым для того, чтобы проложить «залитую кровью дорогу, по которой идет этот народ», повинувшись своей судьбе. Через несколько дней, когда перед судом выступал профессор Колумбийского университета Сало У. Барон, приглашенный для изложения новой истории восточноевропейского еврейства, д-р Серватиус не мог не задать ему несколько самоочевидных вопросов: «Почему же все эти несчастья приходится на долю еврейского народа?», «Не думаете ли вы, что судьба этого народа основана на мотивах, иррациональных по своей сути? На таких, которые находятся за пределами понимания человеческих

сущств?»), «Не существует ли нечто вроде духа истории, который движет исторический процесс без влияния человека?» Он спросил также, не согласен ли г-н Хаузнер в принципе с идеей «исторической обусловленности» (аллюзия на Гегеля) и не продемонстрировал ли он, что «лидеры не всегда ведут в том направлении и к той цели, достигнуть которую они намереваются? ... В данном случае имелось намерение уничтожить еврейский народ, но цели не удалось достигнуть, и — напротив — было создано новое, процветающее государство». Аргументация защиты опасным образом сблизилась с новейшей версией «Протоколов сионских мудрецов», высказанной буквально несколько недель тому назад в Народном собрании Египта заместителем министра иностранных дел страны Хусейном Зульфикаром Сабри: Гитлер не может нести ответственности за убийства евреев, поскольку он стал жертвой сионистов, которые «вынудили его совершить все эти преступления, дабы в конечном итоге добиться своей цели — создания Государства Израиль». Разве что д-р Серватиус, следуя историческим принципам, развитым обвинителем, поставил Историю на место, обычно отводимое «сионским мудрецам».

Несмотря на все намерения Бен-Гуриона и все усилия обвинения, на скамье подсудимых все же находился конкретный человек, из плоти и крови; и хотя Бен-Гурион сказал, что ему «не важно, какой приговор вынесет суд Эйхману», вынесение приговора являлось, несомненно, единственной задачей Иерусалимского суда.

II. ПОДСУДИМЫЙ

Отто Адольф, сын Карла Адольфа Эйхмана и Марии, в девичестве Шефферлинг, был схвачен в пригороде Буэнос-Айреса вечером 11 мая 1960 г. и через девять дней доставлен самолетом в Израиль; 11 апреля 1961 г. в окружном суде Иерусалима начался процесс по его делу. Обвинительное заключение состояло из 15 пунктов: Эйхман обвинялся в преступлениях против еврейского

народа, преступлениях против человечности и в военных преступлениях на протяжении всего периода нацистского правления и особенно в годы Второй мировой войны. Согласно Закону от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников, на котором основано обвинительное заключение по делу Эйхмана, «лицо, совершившее одно из этих ... преступлений ... может быть приговорено к смертной казни». На каждый пункт своего обвинительного заключения Эйхман ответил: «Не виновен по сути предъявленного обвинения».

Тогда в каком же смысле он полагал себя виновным? В ходе длительного перекрестного допроса обвиняемого ни защита, ни обвинение, ни один из троих судей не потрудились задать подсудимому этот очевидный вопрос. Отвечая на такой вопрос в ходе одной из пресс-конференций, его адвокат сказал: «Эйхман признает свою вину перед Богом, но не перед законом». Адвокат, Роберт Серватиус из Кельна, был выбран самим Эйхманом, а его услуги были оплачены правительством Израиля (согласно прецеденту, установленному на Нюрнбергском процессе, где услуги всех адвокатов были отнесены на счет расходов по организации Международного военного трибунала). Защита, очевидно, предпочла бы, чтобы обвиняемый заявил о своей невинности на том основании, что он не совершал никаких противоправных действий, которые были бы предусмотрены кодексом нацистского государства, что все, в чем он обвиняется, не было преступлениями, а лишь «государственными действиями», на которые не распространяется юрисдикция другого государства (согласно принципу *par in parem non habet imperium* — «равный над равным не имеет власти» — лат.), что подчиняться приказам входило в его обязанности и что за такого рода деяния «награждают победителей и отправляют на виселицу побежденных» (слова Серватиуса). Еще в 1943 г. Геббельс сказал в этой связи: «Мы войдем в историю либо как величайшие государственные деятели всех времен, либо как величайшие преступники». Находясь за пределами Израиля, на семинаре, устроенном Католической академией Баварии и посвященном «щекотливой проблеме», связанной с определением «возможностей и границ преодоления чувства исторической и политической вины в рамках судебных разбирательств», Серватиус пошел еще дальше и заявил, что «единственная обоснованная проблема уголовного характера, связанная с процессом Эйхмана, это осуждение захвативших его израильтян — чего до сих

пор так и не было сделано». Надо заметить, что это заявление плохо согласуется с неоднократными высказываниями Серватиуса, сделанными в Израиле, в которых он называет процесс Эйхмана «значительным моральным достижением» и сопоставляет его с Нюрнбергским процессом, причем не в пользу последнего.

Что касается отношения самого Эйхмана к процессу, то оно было иным. Прежде всего, он считает обвинения в убийстве необоснованными: «Я не имею ничего общего с убийством евреев. Я никогда не убивал ни одного еврея, равно как и ни одного нееврея — я вообще никогда не убивал людей. Я никогда не отдавал приказов убивать евреев или неевреев, я просто-напросто никогда не делал ничего подобного». Позже он уточнил это свое заявление: «Так сложилось, что мне ни разу не приходилось этого делать», — поскольку он дал внятно понять, что убил бы родного отца, получи он такой приказ. Еще в 1955 г. в Аргентине голландский журналист Вильгельм Сассен (также бывший эсэсовец, скрывавшийся от правосудия) взял у Эйхмана интервью, и после его ареста опубликовал текст этого интервью, получившего название «Документ Сассена», в американском журнале «Лайф» и немецком журнале «Штерн». В этом интервью Эйхман сказал то же, что он затем неоднократно повторял в ходе процесса: его можно обвинить только в «содействии» убийству евреев, что являлось, также по его собственным словам, «одним из величайших преступлений в истории человечества». Д-р Серватиус не воспользовался такой линией защиты своего клиента, тогда как обвинитель попусту потратил массу времени и усилий, дабы доказать, что Эйхман убил своими руками еврейского мальчика в Венгрии. Еще больше времени было потрачено, хотя на этот раз и не впустую, для представления суду записки, наспех набросанной Францем Радмахером, советником министерства иностранных дел Германии (очевидно, в ходе его телефонного разговора с Эйхманом) на полях рабочего документа, посвященного положению дел в Югославии: «Эйхман предлагает расстреливать». Эта записка оказалась единственным «приказом об убийстве» — если ее можно считать достоверным доказательством.

Доказательство было весьма сомнительным, хотя судьи и приняли версию обвинения, отвергнув категорическое отрицание Эйхмана — отрицание совершенно неубедительное, поскольку он просто заявил, что «запомнил этот малозначимый эпизод» [восемь тысяч человек!], и такие провалы памяти, по сло-

вам Серватиуса, не были для подсудимого «ничем удивительным». Этот эпизод произошел осенью 1941 г., полгода спустя после того, как Германия оккупировала районы Югославии с сербским населением. Немецкая армия несла потери от действий партизанских отрядов, и армейское командование приняло решение расстреливать сто заложников, евреев или цыган, за каждого убитого немецкого солдата. Следует подчеркнуть, что ни евреи, ни цыгане не были партизанами, однако, по словам высокопоставленного гражданского чиновника в военном правительстве, некоего государственного советника Харальда Тернера, «у нас в лагерях достаточно евреев, они тоже граждане Сербии, да к тому же они все равно подлежат уничтожению». Концлагеря были в ведении генерала Франца Бёме, военного губернатора региона, и там находились только евреи мужского пола. Ни генерал Бёме, ни государственный советник Тернер не намеревались ждать разрешения Эйхмана, чтобы начать расстрел евреев и цыган. Проблемы начались, когда Бёме, не обсудив ситуацию с командованием полиции и СС, принял решение *депортировать* всех евреев — возможно, желая доказать, что он и без чьего бы то ни было содействия может сделать Сербию «*юденрайн*». Поскольку речь шла о депортации, Эйхман был информирован о генеральском решении и отказался его одобрить, так как эта депортация не вписывалась в его более масштабные планы. Впрочем, не Эйхман, а Мартин Лютер из министерства иностранных дел сказал генералу Бёме, что «в других местах [имелся в виду СССР] другие армейские офицеры разбирались с гораздо более значительным числом евреев, вообще не ставя никого в известность». Во всяком случае, если Эйхман и в самом деле «предлагал расстреливать», он имел в виду, что армейское командование может продолжать делать то, что оно уже начало делать, и что вопросы заложников находятся всецело в их компетенции. Поскольку в лагерях содержались только мужчины, это действительно была компетенция армии, а не СС. Реализация «окончательного решения» в Сербии началась через полгода, когда женщин и детей начали сосредотачивать в одном месте и использовать автомашины-«душегубки» для массовых убийств. В ходе перекрестного допроса Эйхман, по своему обыкновению, предпочел дать запутанное и малоправдоподобное объяснение: Радмахеру была необходима поддержка Главного управления имперской безопасности, сотрудником которого был Эйхман, для того, чтобы упрочить свое положение в

министерстве иностранных дел, и потому он сфальсифицировал документ. (Объяснение Радмахера, данное им в ходе его процесса в 1952 г., звучало более обоснованным: «Армия несла ответственность за соблюдение порядка в Сербии, и потому расстреливала оказывающих сопротивление евреев». Несмотря на внешнее правдоподобие, это объяснение было ложью — нам известно, из нацистских источников, что евреи «не оказывали сопротивления».) Таким образом, вряд ли следует интерпретировать реплику в телефонном разговоре как приказ; к тому же, трудно поверить, что Эйхман имел право отдавать приказы армейским генералам.

Согласился ли Эйхман признать себя виновным, если бы он был обвинен в пособничестве убийству? Возможно, но при этом он сделал бы существенную оговорку: его действия были преступными только в ретроспективе, а он сам всегда являлся законопослушным гражданином, поскольку приказы Гитлера, которые он выполнял наилучшим возможным образом, имели в Третьем рейхе силу закона. Защита могла бы, в поддержку утверждения Эйхмана, процитировать высказывание одного из самых известных экспертов по вопросам конституционного права в Третьем рейхе Теодора Маунца, в настоящее время занимающего пост министра образования и культуры Баварии, который сказал в 1943 г.: «Указания фюрера — это, вне всякого сомнения, основа существующего юридического порядка». Те, кто утверждает сегодня, что Эйхман мог бы действовать иначе, просто не представляют себе тогдашнее положение вещей, или забыли, как все было в те дни. Эйхман не хотел быть одним из тех, кто сейчас делают вид, будто «всегда были против всего этого», тогда как в действительности ревностно подчинялись всем приказам. Времена, однако, меняются, и он, подобно профессору Маунцу, «теперь понимает все по-иному». Все, что было им сделано, было им сделано, и он не намерен этого отрицать. Он сказал, что готов «повеситься публично, дабы это послужило предостережением всем антисемитам на свете», но он не хочет сказать, что сожалеет о содеянном: «Раскаяние — это для малых детей». (Так!)

Даже под нажимом своего защитника он не изменил своей позиции. Когда суд обсуждал отданный в 1944 г. приказ Гиммлера относительно обмена миллиона евреев на десять тысяч грузовиков и роль Эйхмана в этой сделке, ему был задан вопрос: «В ходе бесед со своими руководителями проявили ли вы какое-либо

сострадание к евреям и сказали ли вы, что есть возможность помочь им?» На это Эйхман ответил: «Я нахожусь под присягой и обязан говорить правду. Я предложил эту сделку не из соображений милосердия». Это звучит искренне, даже если учесть, что инициатива этой сделки принадлежит не Эйхману. Затем он продолжил, столь же искренне: «Свои причины я изложил на утреннем заседании суда», и причины эти выглядели следующим образом. Гиммлер направил в Будапешт своего доверенного человека, чтобы рассмотреть возможности эмиграции евреев. (Что, кстати, обернулось весьма выгодным делом — евреи готовы были купить свою свободу, заплатив за это огромную сумму денег. Эйхман, однако, не упомянул этого обстоятельства.) Однако, «вопросами эмиграции в данной ситуации занимался человек, не принадлежащий к службе безопасности», и это возмутило Эйхмана, «поскольку я отвечал за осуществления депортации, а задачи эмиграции — несмотря на то, что я был также экспертом и в этой области — были возложены на человека, бывшего новичком в нашей системе... Я не стал с этим мириться... Я решил, что мне необходимо предпринять некие шаги, дабы взять решение задач эмиграции в свои руки».

На протяжении всего процесс Эйхман пытался разъяснить, и по большей части безуспешно, смысл своего заявления: «Не виновен по сути предъявленного обвинения». В обвинительном заключении указывалось, что он действовал не только предумышленно (этого-то он не отрицал), но также из низменных побуждений и полностью осознавая преступный характер своих деяний. Что касается «низменных побуждений», то Эйхман был безусловно уверен: его никак нельзя назвать, по собственному его определению, *innerer Schweinehund* («грязным ублюдком в глубине души» — нем.); что же касается его моральной ответственности за содеянное, то он не сомневался, что совесть мучила бы его лишь в случае, если бы он не выполнял отдаваемых ему приказов — то есть, не отправлял бы миллионы мужчин, женщин и детей на смерть, действуя с величайшим рвением и педантичным тщанием. Нелегко осознавать такую позицию. Несколько психиатров освидетельствовали его — и признали нормальным. «Во всяком случае, более нормальным, чем я стал после того, как обследовал его», — как воскликнул один из врачей. Другой врач отметил, что вся совокупность его психологических характеристик, его отношение к жене, детям, матери и отцу, братьям, сестрам и друзьям

«не просто нормальны, но представляются идеальными». Наконец, священник, регулярно навещавший его в тюрьме после того, как Верховный суд закончил рассмотрение его апелляции, утверждал, что Эйхман — это человек «с положительными идеями». Никакие психиатрические и психологические обследования и экспертизы не в состоянии скрыть того факта, что Эйхман не имел моральных отклонений и тем более не был безумным в юридическом смысле этого слова. (Недавние откровения Гидеона Хаузнера в *Saturday Evening Post* относительно того, что он «не мог сказать всего во время процесса» противоречат его заявлениям, сделанным неформальным образом в Иерусалиме. Сейчас нам пытаются внушить, что Эйхман был якобы «человеком, одержимым опасной и неуправляемой страстью к убийству» и обладал «извращенным, садистским складом ума». Но в таком случае его место — в сумасшедшем доме.) Однако, страшнее всего то, что Эйхман, по всей видимости, не испытывал безумной ненависти к евреям, он не был фанатичным антисемитом или патологическим ксенофобом. Он «в личном плане» не имел ничего против евреев; напротив, у него имелись «причины личного характера» не быть юдофобом. Собственно говоря, в числе его ближайших друзей имелись фанатичные юдофобы, вроде Ласло Эндере, государственного секретаря по политическим делам Венгрии, занимавшегося делами евреев и повешенного в Будапеште в 1946 г., но Эйхман и не скрывает, что «среди моих близких друзей встречались и антисемиты».

Как ни прискорбно, но никто не верил Эйхману. Обвинитель не верил ему, потому что это не входило в его обязанности. Защитник не обращал внимания на слова Эйхмана, потому что, в отличие от своего подзащитного, он сам не уделял особого внимания вопросам морали и совести. И судьи не верили ему, потому что они были слишком хорошими судьями, возможно, чрезмерно совестливыми для людей своей профессии, и не в силах были допустить, что «средний», психически нормальный человек, не слабоумный, не одержимый, не циничный, не в состоянии отличать добро от зла. Они предпочитали, ловя подсудимого время от времени на лжи, считать его лжецом, и упустили из виду основную моральную, а возможно и юридическую составляющую процесса в целом. Процесс основывался на исходном положении, что подсудимый, как и любой другой «нормальный человек», должен осознавать криминальный характер своих действий.

вий — а Эйхман был и в самом деле нормальным, в том смысле, что он «не являлся исключением в рамках нацистского режима». Однако в условиях Третьего рейха лишь от «ненормальных», «исключительных» можно было ожидать «нормального» поведения. Простая очевидность этой истины создала для судей дилемму, которую они были не в состоянии разрешить и от которой они не могли отрешиться.

Он родился 19 марта 1906 г. в Золингене, немецком городке, славным производством ножей, ножниц и хирургических инструментов. Пятьдесят четыре года спустя, приступив к своим мемуарам, он описывал это достопамятное событие следующим образом: «Сегодня, пятнадцать лет и один день после 8 мая 1945 г., я возвращаюсь в мыслях к девятнадцатому дню месяца мая 1906 г., когда в пять часов утра я появился на свет на этой земле, в образе человеческого существа». Согласно его религиозным убеждениям, не претерпевшим изменений со времен Третьего рейха, это событие свершилось благодаря Высшему Носителю Смысла, которому подвластна человеческая жизнь, сама по себе лишенная высшего смысла. В иерусалимском суде Эйхман назвал себя *Gottgläubiger* — нацистский термин, означающий, что человек порвал с христианской религией, — и потому отказался клясться на Библии. Что касается всей этой религиозной терминологии, то она сама по себе наводит на размышления. Определить Божество как *Höheren Sinnesträger* («Высший Носитель Смысла») означало, в лингвистическом смысле, ввести его в некую воинскую иерархическую систему, поскольку нацисты, обозначая понятие «исполнитель приказов», стали использовать вместо военного термина *Befehlsempfänger* («получатель приказов») термин *Befehlsträger* («носитель приказов»), что символизирует, подобно древнему «носителю дурных вестей», груз ответственности, которая ложится на тех, кому поручено исполнять приказы. Кроме того, Эйхман, как и все нацисты, связанные с планами «окончательного решения», формально считался «носителем секретов» (*Geheimnisträger*), пусть даже значимость этих секретов была невелика. Однако Эйхман не очень интересовался метафизикой, и потому он не рассматривает сверхчувственные связи между Носителем Смысла и носителями приказов, а сразу переходит к рассмотрению другого источника своего появления на свет: «Мои родители вряд ли испытали бы радость при появлении их

первороденного сына, если бы они были в состоянии наблюдать, как в час рождения их первенца норны [низшие божества в скандинавской мифологии, определяющие судьбу человека при рождении] уже вплетали нити горестей и печали в ткань моей судьбы. К счастью, непроницаемая для взгляда завеса не позволяла родителям заглянуть в мое будущее».

Невзгоды не заставили себя ждать — собственно говоря, они начались уже в школе. У отца Эйхмана, работавшего бухгалтером в Трамвайной и электрической компании Золингена, а после 1913 г. занявшего более высокий пост в этой же компании в Линце (Австрия), было пятеро детей — четыре сына и дочь. Адольф, старший ребенок, учился сначала в средней школе, но не получил аттестата, затем в техническом училище по специальности механика, но тоже не получил диплома. На протяжении всей жизни Эйхман любил рассказывать о своих детских и юношеских «горестях», уделяя при этом особое внимание «более достойно выглядевшим» финансовым проблемам своего отца. В Израиле, в ходе первых допросов, которые вел полицейский следователь капитан Авнер Лесс (это заняло 35 дней, и результаты были записаны на 76 бобинах магнитной пленки, а после расшифровки составили 3 564 машинописных страницы) Эйхман пребывал в возбужденном состоянии и был исполнен энтузиазма в связи с представившейся ему «уникальной возможностью выложить всю правду» и тем самым заслужить право называться самым склонным к сотрудничеству со следствием обвиняемым. Его энтузиазм, однако, вскоре поостыл, хотя и не иссяк полностью, после того, как ему стали задавать конкретные вопросы, основанные на непроверяемых документах. Наилучшим доказательством его первоначально безграничного стремления рассказать все без утайки может служить тот факт, что впервые в жизни он говорил о своих «горестях», превосходно осознавая, что тем самым он кое в чем противоречит положениям своей официальной биографии нацистского чиновника.

Что касается «горестей», то они были вполне обычными: поскольку он не был «самым прилежным учеником в классе» (добавим: и не самым одаренным), отец забрал его сначала из общеобразовательной школы, а затем и из технического училища — задолго до окончания этих учебных заведений. Таким образом, профессия, записанная во всех его официальных документах — «инженер-строитель» — имеет такое же отношение к действи-

тельности, как и его заявление, что он родился в Палестине и свободно владеет как ивритом, так и идишем — еще одна беспардонная ложь, которую он любил преподносить и своим эсэсовским коллегам, и свои еврейским жертвам. Столь же правдоподобным было и его утверждение, что он лишился места разъездного агента в австрийской нефтяной компании из-за членства в Национал-социалистической партии. Версия, которую он представил капитану Лессу, была менее драматической, хотя и не обязательно более правдивой: его уволили потому, что в период экономического спада в первую очередь увольняли работников, не состоящих в браке. Впрочем, и это объяснение, хотя звучащее на первый взгляд правдоподобно, вряд ли можно назвать удовлетворительным, поскольку он лишился работы весной 1933 г., а к этому времени он уже на протяжении двух лет был помолвлен с Вероникой, или Верой, Либл, ставшей впоследствии его женой. Почему же он не женился на ней раньше, когда у него еще была хорошая работа? Он вступил в брак в марте 1935 г. — возможно, потому, что в СС, равно как и в нефтяной компании, холостяки не могли быть уверены в стабильности своего положения и тем более не могли рассчитывать на продвижение по службе. Как бы то ни было, стремление похвастаться всегда относилось к числу его основных грехов.

Пока юный Эйхман учился в школе, и учился плохо, его отец, оставив Трамвайную и электрическую компанию, занялся частным бизнесом. Он основал небольшое горнодобывающее предприятие и заставил своего бесперспективного сыночка трудиться там в качестве простого рабочего. Вскоре, впрочем, он нашел ему место в отделе сбыта австрийской компании по производству электрооборудования, где Эйхман проработал два года. Достигнув возраста 22 лет, он научился только одному: продаже оборудования. Тут ему предоставилась благоприятная возможность, о которой, впрочем, мы имеем две противоречивые версии. В 1939 г., намереваясь продвинуться по служебной лестнице в СС, он написал в своей автобиографии: «В 1925—1927 гг. я работал разъездным агентом в австрийской компании по производству электрооборудования. Я уволился по собственному желанию, поскольку в австрийской нефтяной компании мне было предложено место представителя в Верхней Австрии». Ключевые слова здесь «мне было предложено» — поскольку, как рассказал Эйхман в Иерусалиме капитану Лессу, никто ничего ему не предла-

гал. Мать Эйхмана умерла, когда ему было 10 лет, и отец вступил во второй брак. Двоюродный брат его мачехи, которого он называл «дядюшка», был президентом Австрийского автомобильного клуба, а его жена была дочерью еврейского бизнесмена из Чехословакии; дядюшка воспользовался своим знакомством с генеральным директором австрийской нефтяной компании, евреем по фамилии Вейс, чтобы получить для своего непутового родственника место разъездного агента. Эйхман был очень доволен таким развитием событий; кстати, он не испытывал ненависти к евреям именно потому, что евреи были в числе его родственников. Даже в 1943–1944 гг., когда реализация планов «окончательного решения» была в самом разгаре, он не забыл былые времена: «Дочь «дядюшки», еврейка наполовину согласно Нюрнбергским законам, пришла ко мне, чтобы получить разрешение на эмиграцию в Швейцарию. Разумеется, я дал такое разрешение. Ко мне приходил также и сам «дядюшка», с просьбой посодействовать еврейской супружеской паре из Вены. Я рассказываю это с тем, чтобы показать: лично я, будучи воспитанным в строго христианском духе, не испытывал никакой ненависти к евреям. Взгляды моей мачехи, имевшей еврейских родственников, отличались от тех, что были распространены в эсэсовских кругах».

Эйхман неоднократно возвращался к этой теме: он никогда не испытывал личной ненависти к своим жертвам; более того, он никогда не скрывал этого. «Я объяснил это д-ру Лёвенгерцу [главе еврейской общины Вены], а также д-ру Кастнеру [вице-президенту сионистской организации Будапешта]. Я говорил это всем и всегда. Все мои подчиненные знали об этом, поскольку каждый из них слышал это от меня. В школе у меня был приятель, с которым мы проводили все свободное время, и он часто бывал у нас дома; это была еврейская семья из Линца, по фамилии Себба. Когда мы с ним виделись последний раз и гуляли по Линцу, я уже был членом Национал-социалистической партии, и у меня в петлице был партийный значок, но он не обратил на это никакого внимания». Будь Эйхман чуть менее сдержанным на язык, на суде могла бы всплыть еще одна история, свидетельствующая о его «отсутствии предрассудков». Судя по некоторым сведениям, в Вене, где он столь активно организовывал «принудительную эмиграцию» евреев, у него была любовница-еврейка, «бьялая страсть» из Линца. Внебрачное сожительство с еврейкой было, пожалуй, одним из самых серьезных преступлений, кото-

рые только мог совершить эсэсовец. Хотя во время войны, и особенно на оккупированных территориях, немецкие солдаты постоянно насиловали еврейских девушек, но «роман» с еврейкой был абсолютно недопустим для старшего офицера СС. Таким образом, постоянные и ожесточенные нападки Эйхмана на Юлиуса Штрейхера, психически неуравновешенного и непристойного главного редактора еженедельника «Штюрмер», и на его редакционную политику порнографического антисемитизма, похоже, имели личную мотивацию, и за всем этим стояло нечто большее, чем обычное брезгливое презрение «просвещенного» эсэсовца к вульгарным партийцам ниже себя по рангу.

Пять с половиной лет в австрийской нефтяной компании стали, возможно, лучшими годами в жизни Эйхмана. В стране был высокий уровень безработицы, а он хорошо зарабатывал, продолжая при этом жить в родительском доме. Но настал Троицын день 1933 года, и идиллия кончилась. Собственно говоря, ситуация изменилась к худшему уже в конце 1932 г., когда его неожиданно перевели из Линца в Зальцбург — против его желания. «Я утратил интерес к моей работе, мне больше не хотелось общаться с клиентами и продавать продукцию фирмы». Всю последующую жизнь Эйхмана будет преследовать это чувство — утрата интереса к работе. Болезненнее всего он реагировал, когда до его сведения был доведен приказ фюрера о «физическом уничтожении евреев», в выполнении которого ему предстояло сыграть основную роль. Это также случилось неожиданно; он сам «никогда и подумать не мог о таком жестоком решении», и следующим образом описал свою реакцию: «Я утратил все, всю радость от выполняемой работы, всю свою инициативу, весь интерес; не только мои планы, но и вся моя жизнь была разрушена и расстроена». Аналогичное расстройство планов случилось в 1932 г. в Зальцбурге, и, по его собственным словам, он не очень удивился, когда его уволили — хотя, разумеется, не следует верить его словам, будто он «был счастлив», узнав об увольнении.

Как бы то ни было, а 1932 год стал поворотным в его жизни. В апреле этого года он вступил в Национал-социалистическую партию и затем — по рекомендации Эрнста Кальтенбруннера, молодого адвоката из Линца, ставшего впоследствии главой Главного управления безопасности Третьего рейха (РСХА) — был принят в структуру СС, в одно из шести основных подразделений, Отдел IV, под начало Генриха Мюллера; в конечном итоге,

годы спустя, Эйхман станет главой подотдела IV-B-4. В суде Эйхман производил впечатление типичного представителя низшей категории среднего класса, подкрепляя это каждой сказанной или написанной им фразой. Но такое впечатление было ошибочным – Эйхман был скорее деклассированным сыном семейства, уверенно принадлежащего к среднему классу, то есть он потерял свой социальный статус. Если его отец был в дружеских отношениях с Кальтенбруннером-старшим, видным городским адвокатом, то отношения между их сыновьями были прохладными, и Эрнст Кальтенбруннер относился к своему сверстнику свысока. До того, как Эйхман вступил в Национал-социалистическую партию и СС, он был типичным «активным активистом», и потому день 8 мая 1945 г., официальная дата военного поражения Германии, стал для него значимым главным образом потому, что до его сознания дошло: с этого момента он вынужден будет существовать, не состоя членом какой бы то ни было организации или ассоциации. «Я понял, что мне придется жить без лидера и без руководителя, решая все самостоятельно, что я не буду получать ни от кого никаких указаний, приказов или директив, не будет никаких предписаний или распоряжений, которыми определялись бы мои действия – короче говоря, мне предстояло вести прежде неизвестный образ жизни». Когда Эйхман был ребенком, его родители, люди, не интересующиеся политикой, записали его в Христианский союз молодых людей; затем он автоматически стал членом юношеского движения Германии «Перелетные птицы». Во время учебы в старших классах он вступил в молодежную секцию Немецко-австрийской организации ветеранов войны, к которой, несмотря на ее ревностный протемецкий настрой, австрийское правительство, тем не менее, относилось достаточно терпимо. Когда Кальтенбруннер предложил ему вступить в СС, он как раз обдумывал возможность стать членом совершенно иной организации, а именно, масонской ложи «Шларафия», «ассоциации деловых людей, врачей, актеров, государственных служащих и т. д., собирающихся для веселья и развлечений. ... Предполагалось, что каждый член ложи время от времени выступает с лекцией, основой которой должен быть утонченный юмор». Кальтенбруннер объяснил Эйхману всю неприемлемость такого общества, поскольку нацисты не могут быть масонами – слово это было тогда еще неизвестно Эйхману. Нелегко было ему сделать выбор между СС и ложей «Шларафия» (название кото-

рой происходило от *Schlaraffenland*, сказочной Страны изобилия и праздности в средневековых легендах), но случилось так, что его «с позором выставили» из ложи, потому что он совершил проступок, о котором даже годы спустя, на допросе в израильской тюрьме, он не мог вспоминать без краски стыда: «Я, будучи самым младшим в компании, попытался пригласить моих товарищей на стакан вина...»

Словно лист, сорванный вихрем времени, Эйхман был унесен из Шларафии, страны, где сбываются мечтания и жареные куры сами попадают в рот, — а точнее говоря, из компании добпорядочных обывателей с университетскими дипломами, гарантированной карьерой и «утонченным юмором», для которых пределом греховности являлся грубоватый розыгрыш ближнего, и принесло его в марширующие колонны «тысячелетнего рейха», срок которого составил ровно двенадцать лет и три месяца. Во всяком случае, Эйхман не вступил в Национал-социалистическую партию по убеждению, да и впоследствии никаких особых убеждений у него не возникло, а на вопросы о причине своих действий он отвечал, как и все, вымученными клише относительно Версальского договора и безработицы. На суде он сказал: «Партия просто-напросто вобрала меня в свои ряды; я сам того не ожидал и не имел никаких особых намерений. Все случилось быстро и неожиданно». У него не было ни времени, ни тем более желания получить необходимую информацию, он не читал ни партийную программу, ни «Майн кампф». Кальтенбруннер просто сказал ему: а почему бы тебе не вступить в нашу партию, и он столь же просто ответил: в самом деле, а почему бы и нет. Так все это случилось, и что тут еще можно сказать.

В действительности все было не так просто, и сказать тут можно многое. Эйхман ни словом не обмолвился на суде ни о своем неудовлетворенном честолюбии, ни о том, что ему опротивела нефтяная компания еще до того, как он опротивел ей. Вихрь времени вырвал его из бессмысленной рутины повседневной жизни и перенес в центр Истории (в его понимании этого слова). Он стал членом Движения, в рамках которого любой вроде него — неудачник в глазах окружающих, в глазах семьи и, следовательно, в своих собственных глазах — мог начать жизнь заново и рассчитывать на успех. И если ему не всегда нравились его обязанности (например, необходимость отправлять людей на смерть целыми эшелонами, вместо того, чтобы просто вынуждать их

эмигрировать), если он осознал, причем довольно рано, что все кончится очень плохо и Германия проиграет войну, если оказались невыполнимыми наиболее дорогие его сердцу планы (эвакуация европейских евреев на Мадагаскар, создание еврейской резервации в Польше, рядом с городом Ниско, подготовка его канцелярии в Берлине для отражения танковых атак Красной Армии), если, к своей величайшей «горести и печали», он так и не получил звания выше оберштурмбанфюрера СС (что соответствовало общевойсковому званию подполковника) — короче говоря, если не считать тех немногих венских лет, вся его остальная жизнь была полна разочарований, он все же никогда не забывал, какой она могла быть. Не только в Аргентине, ведя безрадостное существование беженца, но и в зале суда в Иерусалиме, ожидая смертной казни, он все же предпочел бы — спроси его кто-нибудь об этом — быть повешенным как оберштурмбанфюрер СС в отставке, нежели прожить свои годы тихо и мирно, разъездным агентом австрийской нефтяной компании.

Начало новой карьеры Эйхмана не было многообещающим. Весной 1933 г., когда он остался безработным, нацистская партия и все ее филиалы в Австрии были запрещены, потому что Гитлер в Германии пришел к власти. Но и не будь партия запрещена, партийная карьера в Австрии была бы вряд ли возможной. Даже члены СС продолжали работать на своих прежних, гражданских, должностях — так, Кальтенбруннер оставался младшим партнером в юридической конторе своего отца. И Эйхман решил перебраться в Германию, что было вполне естественным ходом, поскольку члены его семьи никогда не отказывались от немецкого гражданства. Это обстоятельство также нашло отражение в ходе процесса. Д-р Серватиус обратился к западногерманскому правительству, чтобы ФРГ потребовала экстрадиции Эйхмана или хотя бы взяла на себя расходы на его защиту, но Бонн отказался, мотивируя это тем, что Эйхман не является немецким гражданином — что было очевидной неправдой. В Пассау, на немецкой границе, он чуть было снова не стал разъездным агентом — когда он явился к местному эсэсовскому начальству, его спросили, нет ли у него случайно контактов в Баварской нефтяной компании. В самом деле, это был один из нередких, типичных для его биографии, возвратов к прошлому, и он по обыкновению сказал сам себе: «Ну, что ж, опять за старое...» Впрочем, ему тут же предложили пройти курс военной подготовки («Я

лично не против, в солдаты так в солдаты...»), и направили его в баварские эсэсовские лагеря — сначала в Лехфелд, а затем в Дахау (ничего общего не имевший с одноименным концлагерем); в этих лагерях проходил воинскую подготовку «Австрийский легион в изгнании». Таким образом, несмотря на свой немецкий паспорт, Эйхман стал австрийцем. Он пробыл в этих военных лагерях с августа 1933 г. по сентябрь 1934 г., дослужился до чина шарфюрера (капрала) и имел все основания критически пересмотреть свое решение относительно выбора военной карьеры. По его собственному признанию, за эти 14 месяцев если он в чем-то и преуспел, так это в дополнительной строевой подготовке, назначаемой в качестве дисциплинарного взыскания. Он выполнял все команды с упрямством и злостью, по извечной солдатской присказке: «Так и надо моему отцу, что у меня руки мерзнут — мог бы купить мне рукавицы!» Его упорство способствовало получению первого воинского звания, но служба в целом, с ее унылой рутинной, наскучила ему до безумия. И поэтому, как только он услышал об открывающихся вакансиях в службе безопасности СД, он немедленно подал рапорт с просьбой о зачислении.

III. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ

Когда Эйхман в 1934 г. подал рапорт о зачислении в службу безопасности имперского вождя (*Sicherheitsdienst des Reichsführer S.S.*), которую в дальнейшем будем называть СД, это была сравнительно новая структура в системе СС, созданная Гиммлером в 1931 г., во главе которой в данное время стоял Рейнхард Гейдрих, в прошлом офицер морской разведки, бывший, по определению Джеральда Рейтлингера [Gerald Reitlinger], «истинным архитектором плана «окончательного решения»». Первоначально в задачи СД входило слежение за чистотой партийных рядов, что сразу поставило СД в господствующее положение по отношению к рядовым аппаратчикам Национал-социалистической партии. По-

степенно к этим обязанностям стали добавляться другие, и СД превратилась в информационно-исследовательский центр гестапо (*Geheime Staatspolizei*), тайной государственной полиции Третьего рейха. Это были первые шаги на пути объединения СС и полиции, хотя окончательно такое объединение произошло лишь в сентябре 1939 г. — впрочем, Гиммлер занимал пост руководителя СС с 1929 г. и наряду с этим, с 1936 г., был шефом гестапо. Разумеется, Эйхман не мог знать о таком развитии событий, но, судя по всему, он не очень представлял себе и суть деятельности СД на момент своего вхождения в эту структуру — что и не удивительно, потому что операции СД всегда относились к категории «совершенно секретно». Похоже, что его вступление в систему СД первоначально было основано на недоразумении и даже «привело к разочарованию — потому что я читал в газетах, как агенты безопасности охраняют высших партийных руководителей и эффектно едут на подножках их автомобилей... Короче говоря, я решил, что СД, служба безопасности имперского вождя, в действительности является имперской службой безопасности — и никто меня не поправил, никто не указал мне на мое заблуждение». Степень правдивости этого заявления могла оказать существенное воздействие на ход процесса — поскольку надо было определить, добровольно ли Эйхман пошел в СД или оказался там отчасти случайно. Впрочем, такое заблуждение — если речь действительно шла о заблуждении — было вполне объяснимым: СС (*Schutzstaffeln* — «охранные отряды») в самом деле изначально создавались как специальные подразделения для охраны партийных лидеров.

Разочарование Эйхмана было связано, главным образом, с тем, что ему пришлось начинать все сначала, с самого нижнего уровня, и единственным утешением было только то, что не он один совершил такую ошибку. Его определили в Информационный отдел, и первым его заданием стал сбор материалов о масонстве (это движение в нацистской идеологической мешанине каким-то образом связывалось с иудаизмом, католицизмом и коммунизмом), а также участие в создании музея масонства. Теперь он получил возможность узнать значение того странного слова, которое Кальтенбруннер бросил ему в ходе обсуждения планов Эйхмана относительно ложи «Шларафия». (Кстати будет сказано, для нацистов было весьма характерно стремление создавать музеи, посвященные своим врагам. В годы войны несколько органи-

заций жестко конкурировали за право создания еврейских музеев и библиотек. Благодаря этой странной прихоти сохранились в целости многие культурные сокровища европейского еврейства.) Проблема Эйхмана, однако, оставалась все той же: скука, и потому он с облегчением воспринял новость о переводе его, после четырех-пяти месяцев масонства, во вновь созданный специальный отдел по еврейским делам. Так началась его служебная карьера, закончившаяся в Иерусалимском суде.

На дворе был 1935 год, и Германия, вопреки положениям Версальского мирного договора, ввела всеобщую воинскую повинность и официально объявила о своих планах перевооружения, включая создание военно-воздушных и военно-морских сил. В этом же году Германия, вышедшая из Лиги Наций еще в 1933 г., готовилась, причем не скрывая своих намерений, к оккупации демилитаризованной зоны Рейнской области. Это было также время «мирных речей» Гитлера: «Германия желает мира, и он ей необходим», «Мы признаем Польшу как дом великого народа, чье национальное самосознание неоспоримо», «Германия не намеревается и не желает вмешиваться во внутренние дела Австрии, не говоря уж об аннексии или *аншлюсе* (присоединении)». Именно в этом году нацистский режим получил всеобщее и, что печальнее всего, подлинное признание в Германии и за рубежом, а Гитлер был повсеместно назван великим национальным государственным деятелем. Сама Германия в это время переживала переходный период. Масштабная программа перевооружения способствовала ликвидации безработицы, оппозиция рабочего класса на начальном этапе была сломлена, а что касается репрессивных действий режима, они были ориентированы в первую очередь на «антифашистов» — то есть, коммунистов, социалистов, левых, интеллектуалов и евреев, занимающих видное положение в обществе; речь еще не шла о преследовании евреев только за то, что они евреи.

Одним из первых антиеврейских шагов правительства Германии после прихода нацистов к власти 30 января 1933 г. стало удаление евреев с государственных постов (что в Германии означало всю преподавательскую деятельность, от начальной до высшей школы, а также всю индустрию досуга, включая радио, драматические и оперные театры и концертную деятельность), равно как и запрет на работу во всех государственных учреждениях. Но частный бизнес оставался неприкосновенным вплоть до

1938 г., причем даже в сфере медицины и юриспруденции запреты были незначительны. При этом, однако, еврейские студенты были исключены из университетов и лишены права получения диплома. Эмиграция евреев в эти годы была вполне упорядоченной и не приняла значительных масштабов. Что касается ограничений, то вывезти из страны денежные средства, или, по крайней мере, их значительную часть, было непросто, хотя все еще возможно, причем эти ограничения определялись законами Веймарской республики и относились не только к евреям, но ко всем гражданам страны в равной мере. Были отдельные случаи, когда на евреев оказывалось давление с целью вынудить их продать свою собственность по смехотворно низким ценам, но это происходило, как правило, в небольших городках и по «частной» инициативе штурмовиков, членов СА (*Sturmabteilungen* — «штурмовых отрядов»), полувоенных соединений Национал-социалистической партии, которые в массе своей, за исключением офицерского состава, формировались из представителей социальных низов. Полиция, надо признать, предпочитала не вмешиваться в такие инциденты, но сама идея отнюдь не пользовалась поддержкой нацистских властей, поскольку они понимали, что такие случаи могут отрицательно сказаться на стоимости недвижимого имущества в масштабах страны. В число эмигрантов входили, наряду с политическими беженцами, по большей части молодые люди, осознававшие, что в Германии у них нет будущего. Однако некоторые, поняв, что у них не может быть будущего и в других европейских странах, вскоре возвращались домой. Когда Эйхмана спросили на суде, как ему удавалось примирять свое личное отношение к евреям с откровенным и воинственным антисемитизмом партии, в ряды которой он вступил, то он ответил известной немецкой поговоркой: «Когда готовят кушанье, оно всегда горячее, чем когда ты его ешь». Эта поговорка, собственно говоря, была весьма популярна и у евреев в те годы. Они жили иллюзиями — ведь даже Штрейхер, главный редактор «Штюрмера», на протяжении нескольких лет говорил о «юридическом решении» еврейского вопроса. Отрезвление наступило только после «Хрустальной ночи», первой массовой акции физического насилия по отношению к евреям на территории Третьего рейха, когда, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., были разбиты витрины семи с половиной тысяч магазинов, сожжены или разгромлены все синагоги и 20 000 евреев были брошены в концлагеря.

Нередко люди склонны забывать, что пресловутые Нюрнбергские законы, принятые осенью 1935 г., изначально не имели фатальных последствий. Показания троих свидетелей, бывших высокопоставленных сотрудников сионистских организаций, покинувших Германию буквально накануне начала войны, дают лишь некоторое представление относительно истинного положения дел в Германии на протяжении первых пяти лет нацистского режима. Нюрнбергские законы лишали евреев политических, но не гражданских прав; они уже не считались гражданами Германии (*Reichsbürger*), но по-прежнему сохраняли принадлежность к германскому государству (*Staatsgehörige*). В случае эмиграции они не становились автоматически людьми без гражданства. Браки и внебрачные сожителства между немцами и евреями были запрещены. Кроме того, евреи не могли нанимать в качестве домашних работниц немки младше 45 лет. Из всех этих законодательных положений только последний пункт имел практическую значимость — все остальные лишь придавали юридическую силу фактически существовавшему положению дел. Таким образом, Нюрнбергские законы воспринимались всеми как официально формулирующие новый статус евреев в Третьем рейхе. Начиная с 30 января 1933 г., дня прихода Гитлера к власти, евреи стали гражданами второго сорта; их практически полное отчуждение от остального населения было достигнуто в течение нескольких недель, максимум, месяцев — и не только путем террора, но также и благодаря молчаливому согласию окружающих. «Между неевреями и евреями была стена, — говорит свидетель, д-р Бенно Кон из Берлина. — Во время поездок по стране я не мог заговорить ни с кем из христиан». Теперь же, после принятия Нюрнбергских законов, евреи почувствовали, что они уже не живут вне закона и что у них имеются законы, принятые специально для них. И если они будут их соблюдать — а что им еще оставалось делать! — то их оставят в покое. В сентябре 1933 г., по инициативе берлинской общины и без какого бы то ни было участия нацистских властей, был создан *Reichsvertretung*, представительный орган евреев Германии, ассоциация всех еврейских общин и организаций, и его представитель отметил, что цель Нюрнбергских законов можно определить как «установление некоего уровня, на котором становится возможным сносное сосуществование немцев и евреев». Правда, по этому поводу один берлинский еврей и активный сионист заметил: «Жить можно при любом законодатель-

стве. Нельзя, однако, жить в ситуации, когда человек не имеет представления о том, что разрешено и что запрещено». Между тем Гитлер, санкционировав в 1934 г. расстрел Эрнста Рёма, начальника штаба штурмовых отрядов, сломил попытку штурмовиков захватить власть в армии. Штурмовики, «коричневые рубашки», несли основную долю ответственности за погромы и злодеяния в ранние годы нацистского режима, и потому евреи, в своем блаженном неведении относительно роста влияния эсэсовцев, «черных рубашек» (которые, как правило, отстранялись от того, что Эйхман с презрением назвал «манерой штурмовиков»), сочли, что удастся сохранить *модус вивенди*, временное урегулирование между нацистами и евреями. Евреи даже предложили свое сотрудничество в деле решения еврейского вопроса. Короче говоря, когда Эйхман начал свою карьеру в специальном отделе по еврейским делам (где он четыре года спустя сделался общепризнанным «экспертом») и когда он вступал в первые контакты с еврейскими функционерами, то как сионисты, так и ассимиляторы в один голос говорили о великом «еврейском возрождении», о «значительных конструктивных сдвигах в жизни немецкого еврейства», а также продолжали вести идеологические споры относительно того, насколько желательной и целесообразной представляется еврейская эмиграция — как будто это хоть в какой-то мере зависело от их воли.

Полученные в ходе допросов показания Эйхмана относительно его начального этапа работы в отделе по еврейским делам — искаженные, разумеется, но все-таки не полностью измышленные — в чем-то, как это не странно звучит, напоминают вышеназванные иллюзорные представления немецкого еврейства. Новый начальник Эйхмана, некий фон Мильденштейн (которого также вскоре перевели в другое место, а именно, в «Организацию Тодт» Альберта Шпеера, где назначили ответственным за дорожное строительство, поскольку он — в отличие от Эйхмана — и в самом деле был инженером по профессии), первым делом велел новичку прочитать «Еврейское государство» Теодора Герцля, и эта книга, сразу и навсегда, сделала Эйхмана сионистом. Судя по всему, это была первая серьезная книга из числа когда-либо прочитанных им в жизни, и произведенное ею впечатление было очень сильным. С тех пор — и он повторял это снова и снова, «я сделался сторонником политического решения еврейского вопроса» (как противоположного последовавшему

«физическому решению»: сначала депортация, затем уничтожение) и «задумался о том, как сохранить почву под ногами евреев». (Очевидно, стоит заметить, что еще в 1939 г. он высказал протест против осквернения могилы Герцля в Вене; рассказывают также, что он присутствовал, в штатской одежде, на мероприятиях, посвященных 35-летней годовщине со дня смерти Герцля. Странно, что он ни словом не упомянул об этом на суде, где он много говорил о своих хороших отношениях с еврейскими официальными лицами.) Чтобы содействовать «политическому решению еврейского вопроса», Эйхман начал распространять почерпнутые им знания среди своих коллег-эсэсовцев, читать лекции и писать докладные записки. Затем, получив элементарные представления об иврите, он начинает читать, сбивчиво и с запинками, газету на идиш — не такое уж выдающееся достижение, если учесть, что идиш в основе своей является старонемецким диалектом, с письменностью на основе ивритского алфавита, и любой владеющий немецким человек в состоянии понимать написанное, если он к тому же освоит несколько десятков ивритских слов. К тому же он прочел еще одну книгу, «Сионистское движение» Адольфа Бёма (во время процесса он постоянно путал ее с «Еврейским государством» Герцля), и это следует считать серьезным достижением для человека, который, по его собственному признанию, не любил читать ничего кроме газет, и — к глубокому огорчению отца — не интересовался семейной библиотекой. Основываясь на труде Бёма, он изучает организационную структуру сионистского движения, все его партии, молодежные группы, анализирует различные программы. Все это пока не делает его «экспертом», но он уже получает задание держать под наблюдением сионистские организации и проводимые ими мероприятия, и начальство не беспокоит то обстоятельство, что его познания в еврейских делах ограничены лишь сионизмом.

Его первые личные контакты с еврейскими функционерами, каждый из которых был известным сионистом с большим стажем, оказались весьма успешными. Причина, по которой он с таким энтузиазмом занялся «еврейским вопросом», это, по его собственным словам, «идеалистический склад характера»: в отличие от ассимиляторов, которых он всегда презирал, и ортодоксальных евреев, которые наводили на него скуку, эти евреи были такими же идеалистами, как и он сам. А «идеалист», по мнению Эйхмана, это не просто человек, который верит в некую «идею»,

да к тому же не крадет и не берет взятку, хотя эти качества также совершенно необходимы. «Идеалист» — это человек, который *живет* ради своей идеи (иными словами, он не может быть предпринимателем или дельцом), и при этом готов принести в жертву своей идее все, что потребуется и — самое главное — всех, кого потребуется. Когда Эйхман сказал на допросе, что мог бы послать на смерть родного отца, если бы это потребовалось, он не просто хотел подчеркнуть свою готовность выполнять приказы — он также хотел показать, что всегда был и оставался «идеалистом». Идеальный и безупречный «идеалист», как и любой человек, разумеется, не лишен эмоций и чувств, но он никогда не позволит, чтобы они воспрепятствовали ему выполнять свой долг, если они вступают в конфликт с его «идеями». Самым идеальным из всех «идеалистов»-евреев, по мнению Эйхмана, был д-р Рудольф Кастнер, с которым они вели переговоры в процессе депортации венгерских евреев и пришли к следующему соглашению: он, Эйхман, разрешает «нелегальный» отъезд нескольких тысяч евреев в Палестину (при этом, правда, предусматривалась охрана эшелонов силами немецкой полиции), а за это другая сторона гарантирует «порядок и спокойствие» в венгерских концлагерях, откуда сотни тысяч узников регулярно отправляются в Освенцим. Эти несколько тысяч, спасаемых благодаря соглашению, были важными деятелями общины и членами молодежных сионистских организаций, то есть представляли собой, по словам Эйхмана, «наилучший биологический материал». По мнению Эйхмана, д-р Кастнер приносил своих собратьев-евреев в жертву ради своей «идеи», и Эйхман полностью одобрял такое решение. Один из троих судей на процессе Эйхмана, Биньямин Халеви, был также судьей на процессе Кастнера в Израиле, в ходе которого подсудимый пытался объяснить, почему он сотрудничал с Эйхманом и другими высокопоставленными нацистами; тогда Халеви сказал, что Кастнер «продал свою душу дьяволу». А теперь, когда дьявол сам сел на скамью подсудимых, он оказался «идеалистом», и — хотя в это нелегко поверить — но, возможно, продавец своей души также считал себя «идеалистом».

За несколько лет до этой венгерской истории Эйхману была предоставлена возможность применить на практике идеи, сформулированные им на начальном этапе работы в отделе по еврейским делам. После *аншлюса* (присоединения) Австрии к рейху, в марте 1938 г., он был командирован в Вену, чтобы орга-

низовать там эмиграцию евреев — дело, вовсе неизвестное в Германии, где, вплоть до осени 1938 г., бытовало мнение, будто евреи, желающие эмигрировать, имеют возможность выехать из страны, хотя никто их к этому не принуждает. В числе причин, по которым немецкие евреи разделяли это мнение, следует назвать программу Национал-социалистической партии, принятую в 1920 г., которая, как и конституция Веймарской республики, никогда не была официально отменена; ее Двадцать пять пунктов специальным указом Гитлера даже были объявлены «не подлежащими изменениям». Если оценить ее положения в ретроспективе, то нельзя не признать, что ее антисемитские пункты были сравнительно мягкими: евреи не могли быть полноправными гражданами, они не имели права занимать государственные должности, не имели права заниматься журналистикой, и все, кто стали гражданами Германии после 2 августа 1914 г., то есть после начала Первой мировой войны, должны были быть лишены прав гражданства — иными словами, подлежали высылке. (Характерно, что лишение прав гражданства вступало в силу немедленно, а полномасштабная высылка, когда около 15 000 евреев было выдворено через польскую границу, после чего они оказались в концлагерях, была осуществлена лишь пять лет спустя, когда уже никто не думал, что это может произойти.) Высокопоставленные нацисты никогда не принимали партийную программу всерьез; они с гордостью говорили, что принадлежат не к партии, а к движению, а движение не может быть сковано никакими программами. Даже еще до того, как нацисты пришли к власти, эти Двадцать пять пунктов рассматривались не более, как уступка партийной системе и тем потенциальным сторонникам, которые были настолько старомодны, что спрашивали, какова же программа партии, в которую они собираются вступить. Эйхман, как мы уже говорили, не был замечен в достойной сожаления старомодности, и потому он, вполне вероятно, говорил правду в суде, утверждая, что не знаком с программой Гитлера: «Партийная программа не имела никакого значения, вы и без того знали, куда вы вступаете». Евреи же, напротив, были весьма старомодны, и потому они не только знали Двадцать пять пунктов наизусть, но и верили каждому их слову; все же, что противоречило либо не соответствовало программным положениям, расценивалось ими как временные «эксцессы» или объяснялось недисциплинированностью отдельных членов партии.

Однако происходившее в Вене в марте 1938 г. выглядело совершенно иначе. Задача Эйхмана была определена как «принудительная эмиграция», и эти слова надо было понимать буквально: все евреи, вне зависимости от их желания, равно как и от их гражданства, подлежали принудительной эмиграции – или, попросту говоря, высылке. Всякий раз, когда Эйхман вспоминал 12 лет своей нацистской карьеры, он особо выделял этот год в Вене, на посту главы Центра эмиграции австрийских евреев, считая его самым счастливым и удачным периодом своей жизни. Незадолго до этого ему было присвоено первое офицерское звание (унтерштурмфюрер – младший лейтенант), и он был удостоен благодарности командования за «обширные познания в области тактики и идеологии противника». Командировка в Вену стала его первым важным заданием, и от ее успеха зависела вся его дальнейшая карьера, которая пока что оставляла желать лучшего. Он прилагал все усилия, и результаты были весьма убедительными: за восемь месяцев Австрию покинуло 45 000 евреев – за тот же период времени Германию покинуло не более 19 000 евреев. Через полтора года из Австрии выехало почти 150 000 человек, то есть практически 60 % ее еврейского населения, причем все они покинули страну «легально». Как же ему удалось этого добиться? Главная идея принадлежала, по всей вероятности, не ему, а Гейдриху, который, собственно, и послал его в Вену. (Эйхман говорил о своем авторстве в неопределенных выражениях, скорее намеками; израильские источники, напротив, утверждали, что «Адольф Эйхман был наделен самыми широкими полномочиями» и что «весь план был разработан исключительно им одним»). На деле весь план, простой и вместе с тем эффективный, был изложен Гейдрихом на совещании с Герингом, утром после «Хрустальной ночи»: «Мы вынудили еврейскую общину, а точнее, богатых евреев, которые намеревались эмигрировать, выложить определенную сумму денег. Заплатив эти деньги, и еще некоторую сумму в иностранной валюте, они обеспечили возможность эмиграции для бедных евреев. Наша задача состояла не в том, чтобы вынудить богатых евреев покинуть страну, а в том, чтобы избавиться от еврейской швали». И эта задача была решена не Эйхманом. После окончания процесса стало известно (информация была представлена Нидерландским государственным институтом военной документации), что Эрих Раякович, «блестящий юрист», к помощи которого Эйхман, согласно его свидетельским показани-

ям, прибежал «для решения проблем юридического характера в центрах еврейской эмиграции Вены, Праги и Берлина», выдвинул идею «эмиграционных фондов». Позже, в апреле 1941 г., Раякович был направлен Гейдрихом в Нидерланды, чтобы «организовать там центр, который служил бы образцом для решения еврейского вопроса во всех оккупированных странах Европы».

Тем не менее, оставалось еще немало проблем, которые можно было решить в рабочем порядке, и, несомненно, Эйхман, впервые в жизни, открыл в себе необходимые для этого способности. Две вещи он мог делать не просто хорошо, а лучше многих: у него были организаторские способности и умение вести переговоры. Сразу же после прибытия в Вену он приступил к переговорам с представителями еврейской общины, которых надо было прежде выпустить из тюрем и концлагерей, поскольку «революционный энтузиазм» в Австрии по своему накалу значительно превосходил немецкий, и практически все значимые фигуры еврейской общины подверглись заключению. Пережитое ими значительно облегчало задачу Эйхмана, поскольку они и сами уже думали об эмиграции. Первым делом они проинформировали Эйхмана о значительных трудностях, связанных с этим решением. Помимо проблем финансового характера, вроде бы уже «решенных», каждый эмигрант должен был собрать огромное количество документов, необходимых для выезда из страны. Срок действия каждого из этих документов был ограниченным, и зачастую, когда дело доходило до получения последних документов, первые уже оказывались просроченными. Разобравшись в том, как работает — а точнее, как не работает — этот механизм, Эйхман «посоветовался сам с собою» и «выдвинул идею, которая, как казалось, в состоянии помочь обеим сторонам». Он представил себе «конвейер, на который попадают сначала исходные документы, обрастающие в ходе процесса последующими необходимыми бумагами, и на другом конце конвейера заявитель получает свой заграничный паспорт». Такая идея могла быть реализована, если только представители всех вовлеченных в процесс организаций — министерства финансов, налоговой инспекции, полиции, еврейской общины и т. д. — будут находиться под одной крышей и будут обязаны выполнять свои функции безотлагательно, прямо на месте, в присутствии заявителя, которому больше не придется бегать из одного учреждения в другое и который при этом будет избавлен как от издевательского крючко-

творства, так и от вымогательства взяток. Когда конвейер был создан и пущен в ход, Эйхман «пригласил» еврейских функционеров из Берлина для ознакомления с его работой. Они были потрясены увиденным: «Это похоже на автоматизированное производство — нечто вроде мельницы, сопряженной с пекарней. На одном конце вы запускаете еврея, имеющего какую-то собственность — завод, магазин, банковский счет, — и он движется по конвейеру, от чиновника к чиновнику, пока не получается готовый продукт: еврей без гроша, без прав, с одним только паспортом и указанием покинуть страну в двухнедельный срок — «в противном случае он будет отправлен в концлагерь».

Сказанное довольно точно и правдиво описывает процедуру в целом, хотя и не является полной правдой. Дело в том, что евреев нельзя было оставлять совсем «без гроша», по той простой причине, что ни одна страна не была готова принимать безденежных эмигрантов. Им нужна была некоторая сумма денег, которую они могли бы предъявить для получения визы, а также при прохождении таможенного контроля в стране назначения. Причем им нужна была иностранная валюта, а рейх не намеревался транжирить валютные запасы на евреев. И Эйхман направил еврейских функционеров за границу, чтобы они обратились к крупным еврейским организациям с просьбой о финансовой помощи. Затем еврейские общины продавали полученную таким образом валюту потенциальным эмигрантам, причем не без прибыли: например, обменный курс доллара составлял 4 марки 20 пфеннигов, а эмигранты вынуждены были покупать валюту из расчета от 10 до 20 марок за один доллар. Именно таким образом община не только получала деньги, необходимые для нужд немущих евреев, но и финансировала свою деятельность. В правительственных учреждениях и государственном банке Германии отношение к действиям Эйхмана было весьма негативным, поскольку такая практика не могла не вести к девальвации немецкой марки.

Хвастовство было тем грехом Эйхмана, который имел для него самые бедственные последствия. Из чистого бахвальства он говорил своим подчиненным в последние дни войны: «Я спрыгну в свою могилу, смеясь — мне радостно сознавать, что на моей совести смерть пяти миллионов евреев» [по его собственному утверждению, он обычно использовал в таком контексте выражение «враги рейха»]. Ни в какую могилу он не спрыгнул, и если он за

что-либо и чувствовал моральную ответственность, то не за смерть миллионов, а за то, что дал пощечину д-ру Иосифу Лёвенгерцу, главе еврейской общины Вены, который впоследствии стал одним из его любимых евреев. (Он еще тогда извинился перед ним в присутствии всех своих сотрудников, но постоянно вспоминал об этом инциденте с чувством вины.) Заявлять о своей исключительной ответственности за смерть пяти миллионов евреев — такова была приблизительная оценка всех погибших от рук нацистов — это противоречило здравому смыслу, и он превосходно знал об этом, но неизменно повторял эту изобличающую его фразу, всем, кто еще был готов его слушать, в том числе и 12 лет спустя, в Аргентине, поскольку сама мысль «уйти со сцены таким образом» давала ему «ощущение необыкновенного душевного подъема». (Бывший советник посольства Германии в Будапеште Хорст Грелл, свидетель защиты, знавший Эйхмана по Венгрии, сказал, что, по его мнению, Эйхман просто похвалялся — это было ясно каждому, кто слышал его абсурдные заявления.) Тем же хвастовством чистой воды были его заявления относительно того, что он «придумал» систему гетто или «высказал мысль» о переселении всех европейских евреев на Мадагаскар. Гетто в Терезиенштадте, идею создания которого Эйхман также приписывает себе, было создано через несколько лет после того, как нацисты начали реализовывать систему гетто на оккупированных территориях Восточной Европы, а идея особого гетто для привилегированных категорий еврейского населения, — как, впрочем, и идея гетто как системы, — принадлежала Гейдриху. План переселения евреев на Мадагаскар «родился» в системе министерства иностранных дел, а вклад Эйхмана состоял в том, что он попросил своего любимца, д-ра Лёвенгерца, «набросать несколько мыслей» относительно того, как можно будет вывезти четыре миллиона евреев из Европы в послевоенный период — «возможно, в Палестину»; слово «Мадагаскар» не употреблялось, поскольку план относился к категории «совершенно секретных». Когда на процессе стал рассматриваться «план Лёвенгерца», Эйхман сначала не отрицал своего авторства, а затем, когда ситуация выяснилась, смутился — причем искренне и едва ли не впервые за все время судебного заседания.

Хвастовство, в сущности, и способствовало его поимке: ему «опостылело быть безымянным скитальцем между мирами», а непреодолимая склонность к хвастовству становилась все более

невыносимой, — не только потому, что он не мог найти для себя достойного занятия, но также и потому, что послевоенная эра «даровала» ему неожиданную известность.

Однако хвастовство — это распространенный грех; у Эйхмана же имелся еще один, причем существенно более серьезный, моральный недостаток — его абсолютная неспособность посмотреть на мир глазами другого человека. В особой мере это нашло свое проявление, когда речь зашла о ситуации в Вене. Он и его коллеги «так хорошо сработались» с евреями, и всякий раз, когда возникали какие-либо трудности, еврейские функционеры приходили к нему, чтобы «облегчить свою душу», рассказать ему «обо всех своих горестях и печалях» и попросить его о помощи. Евреи «горели желанием» эмигрировать, а Эйхман был послан в Вену именно для того, чтобы помочь им — поскольку так сложилось, что именно в это время нацистские власти высказали пожелание сделать их Третий рейх «юденрайн», свободным от евреев. Эти два пожелания совпали, и он, Эйхман, мог «с радостью пойти навстречу обеим сторонам». В ходе процесса он ни на йоту не пожелал отказаться от такой версии событий, хотя и готов был признать, что «времена сейчас изменились» и что евреи, возможно, безо всякого удовольствия вспоминают о том, как «хорошо они сработались в те дни» и что «ему не хотелось бы сейчас задевать их чувства».

Немецкий текст протоколов допроса Эйхмана за период с 29 мая 1960 г. по 17 января 1961 г., каждая страница которого была прочитана, исправлена и подписана обвиняемым, представляет собой подлинную сокровищницу для психолога — при условии, разумеется, что тот в состоянии допустить: ужасное может быть не только нелепым и смехотворным, но и попросту смешным. Не все эти перлы возможно передать на английском языке, поскольку порой они связаны с героической борьбой, которую вел Эйхман — и всегда безуспешно — со своим родным немецким языком. Смешно, когда он, причем неоднократно, использует выражение «крылатые слова», имея в виду «лозунги» или «клише». Смешно, когда в ходе рассмотрения «Документа Сассена» (заседание велось на немецком языке, под председательством судьи Ландау) Эйхман, неодобрительно отзываясь о попытках Сассена «оживить интервью», говорит, что голландский журналист «пошел не в масть», причем судья просто не понимает этого карточного выражения, а Эйхман не в состоянии выразить свою мысль

нормальным языком. Смутно догадываясь, что страдает афазией (расстройством речи) в легкой форме (по-видимому, этот дефект преследовал его еще в школе), он, оправдываясь, поясняет: «Канцелярит — это мой разговорный язык». Но дело в том, что канцелярит — это единственный приемлемый для него язык, поскольку он не в состоянии сказать ни единой фразы, не прибегая к ходячим, избитым выражениям. (Может быть, благодаря склонности к общеизвестным и затасканным фразам психиатры признали его «нормальным». Аналогичным образом, возможно, священник обнаружил у него «положительные идеи». Не исключено, что положительные черты его характера проявились в следующем эпизоде: молодой полицейский офицер, в чьи задачи входило следить за психологическим состоянием Эйхмана в тюрьме, дал ему почитать — для развлечения — «Лолиту» Набокова. Через пару дней Эйхман вернул книгу и сказал с возмущением: «*Das ist aber ein sehr unerfreuliches Buch!*» — «В высшей степени омерзительная книжка!») По всей видимости, судьи были правы, заявив обвиняемому в конечном итоге, что все сказанное им — «пустые разговоры»; правда, они полагали, что эта пустота была деланной, и что обвиняемый намеревался таким образом скрыть другие мысли, которые, при всей своей отвратительности, вовсе не были пустопорожными. Несостоятельность этого предположения доказывается тем поразительным постоянством, с которым он, едва начав говорить о важном для себя событии или ситуации, повторяет, слово в слово, все свои дежурные фразы и придуманные им клише (создав самостоятельно свое собственное высказывание, он принимается повторять его без конца, пока оно не превращается в клише) — и это несмотря на свою довольно неважную память. Пишет ли он свои воспоминания в Аргентине или Иерусалиме, отвечает ли он на вопросы следователей или судей — он всегда говорит одно и то же, в одних и тех же выражениях. Чем больше его слушаешь, тем явственнее понимаешь, что его неспособность говорить связана напрямую с его неспособностью *мыслить*, то есть, мыслить с точки зрения другого человека. Общаться с ним невозможно — и не потому, что он лжет, а потому, что он воздвиг вокруг себя надежную защитную стену, отгораживающую его от чужих слов, от присутствия других людей и, следовательно, от действительности как таковой.

Так, имея в течение восьми месяцев дело с действительностью в лице ведущего допрос израильского следователя, Эйхман

без тени сомнения принялся рассказывать ему, во всех деталях и неоднократно повторяясь, почему он так и не смог получить звание выше оберштурмбанфюрера СС (подполковника) и что это была не его вина. Он лично сделал все от него зависящее, и даже подавал рапорт о направлении его в действующую армию («Я сказал себе: на фронт, и вот ты уже штандартенфюрер, полковник!»). В ходе судебного заседания он, однако, заявил, что подавал рапорт о переводе на фронт потому, что не мог больше выполнять свои страшные обязанности. Он, впрочем, не настаивал на этой версии; как ни странно, ему не был задан вопрос: почему в ходе допроса он сказал капитану Лессу, что намеревался получить назначение в *зынзацгруппе* (специальное подразделение СС, осуществлявшее массовые убийства евреев, цыган и военнопленных на оккупированных территориях), и при этом пояснил, что тогда, в марте 1942 г., эти подразделения только формировались, а его отдел уже был «конченным» — эмиграция уже закончилась, а депортация еще не началась. У Эйхмана был еще один честолюбивый замысел: получить место начальника полиции в небольшом немецком городке — вот и тут у него ничего не вышло. Эти страницы протоколов по-своему смешны — в известном, разумеется, смысле: когда принимаешь во внимание, что все это Эйхман излагает следователю таким тоном, будто бы он, наконец, нашел человека, которому можно пожаловаться на превратности судьбы и который может ему посочувствовать. «Я терпел неудачу во всех своих планах и замыслах — как в личных, так и в тех, что были связаны с поисками земли для евреев. Такое ощущение, что меня преследовали злые духи; все, что я хотел или намеревался сделать — все терпело неудачу. Я был разочарован во всем и больше не верил в свои силы». Когда капитан Лесс спросил его относительно изобличающего и, по всей видимости, лживого свидетельства, данного неким штандартенфюрером, Эйхман прямо-таки зашелся от ярости: «Я просто поражен: как такой человек смог получить звание полковника! Просто потрясающе. И вовсе немислимо. Я даже не знаю, что сказать». Он никогда не говорил о подобном рода вещах пренебрежительно, как бы желая даже теперь соблюдать некие нравственные нормы. Такие слова, как «СС», или «карьера», или «Гиммлер» (которого он всегда называл его полным официальным титулом — рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции, — хотя и вовсе не восхищался им) — все эти слова он произносил с подлинным чувством.

Порой рассказы Эйхмана, при всей их достоверности, переходили в категорию сюрреальных, за грань черного юмора. Взять хотя бы историю Шторфера, коммерции советника, члена еврейской общины Вены. Эйхман получил телеграмму от Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима, с извещением, что Шторфер доставлен туда и просит разрешения увидеться с Эйхманом. «Я сказал себе: ну, что ж, этот человек всегда отличался примерным поведением, надо выяснить, что с ним случилось. Я пошел к Эбнеру, шефу венского гестапо, и Эбнер сказал мне — ну, что-то в таком духе: «Умнее надо быть... Зачем же он надумал скрываться и планировал побег?» Разумеется, его арестовали и направили в концлагерь, и теперь, согласно распоряжению рейхсфюрера (Гимmlера), никто в праве выпустить его оттуда. Никто ничего не может сделать — ни Эбнер, ни я, ни кто-либо иной. Я все-таки поехал в Освенцим и попросил у Гесса разрешения увидеть Шторфера. «Да, да, разумеется», — ответил тот. Его привели, и у нас состоялся нормальный, человеческий разговор. Он рассказал мне о своих горестях и печалях. Я сказал ему: «Что ж, мой дорогой Шторфер, это и в самом деле очень печально. Как же вам не повезло». И еще я сказал: «Увы, я ничем не могу вам помочь. Согласно распоряжению рейхсфюрера, никто в праве выпустить вас отсюда. Я не могу этого сделать. Эбнер не может этого сделать. Я слышал, что вы допустили ошибку, надумали скрываться и планировали побег. Зачем же? Ведь вам ничего не грозило!» [Эйхман имел в виду, что Шторфер, будучи еврейским функционером, не подлежал депортации.] Я не помню, что именно он мне ответил. Затем я спросил его, как ему здесь живется. И он сказал, что ему приходится работать, что это очень тяжелая работа, и не мог бы я помочь ему. И я сказал Гессу: «Может, Шторфера удастся освободить от работы?» Но Гесс сказал мне: «У нас здесь все должны работать». — «Ладно, — сказал я. — А если я напишу служебную записку, насчет того, что Шторфер будет подметать дорожки? Дайте ему метлу, и пусть подметает дорожки. И он сможет время от времени присаживаться на скамейку и отдыхать...» И я сказал Шторферу: «Вы теперь будете подметать дорожки. Вас это устраивает?» И он был просто счастлив, и мы пожали друг другу руки. И я был очень рад, что смог помочь человеку, с которым мы проработали вместе несколько долгих лет. Что мы смогли вот так, по-человечески поговорить друг с другом». Че-

рез полтора месяца после этого нормального, человеческого разговора Шторфер был мертв. Нет, его не отправили в газовую камеру — просто застрелили.

Что же представляет собой Эйхман — хрестоматийный пример вероломства или самообмана, в сочетании с непроходимой тупостью? Или мы имеем дело с извечным типом неспособного к раскаянию злодея, который не в состоянии посмотреть в глаза действительности, потому что его преступления стали неотъемлемой частью этой действительности? (Достоевский в «Дневнике писателя» отмечает, что на каторге, среди убийц, насильников, грабителей, он ни разу не встречал преступника, который признал бы свое преступление.) Или случай Эйхмана отличается от случая рядового преступника, который успешно отгораживается от действительности нормального мира, пребывая в тесных границах мира криминального? Эйхману достаточно только вспомнить свое прошлое, чтобы убедиться: он не лгал и не обманывал себя — поскольку мир, в котором он жил, пребывал тогда в идеальной гармонии. И этот немецкий мир, с 80-миллионным населением, отгораживался от реальности и действительности точно таким же образом, благодаря тому же самообману, лжи и тупости, что столь глубоко ввелись в психику Эйхмана. Из года в год одна ложь сменяла другую, и зачастую они противоречили одна другой. Более того, ложь могла быть различной для разных уровней партийной иерархии и уж тем более для простого народа. Но практика самообмана, ставшая едва ли ни обязательным моральным условием для выживания, получила столь широкое распространение, что даже сейчас, через 18 лет после падения нацистского режима, когда сама суть этой лжи уже практически забыта, трудно порой поверить, что обман и неискренность не сделались составной частью немецкого национального характера. Так, во время войны, наиболее действенной для упрочения самообмана в общественном сознании была фраза «битва высших сил за немецкий народ» (авторство ее принадлежало не то Гитлеру, не то Геббельсу). Сила воздействия этой фразы базировалась на трех постулатах: во-первых, война именовалась не войной, во-вторых, она велась не Германией, но самим провидением, и, в-третьих, это был вопрос жизни и смерти для всех немцев, которые должны были либо уничтожить своих врагов, либо подвергнуться уничтожению.

Поразительная готовность Эйхмана, сначала в Аргентине, а затем в Иерусалиме, признать свои деяния определялась не столько его собственной криминальной способностью к самообману, сколько той аурой систематической лжи, которая обуславливала общую и всеми принятую атмосферу Третьего рейха. Он не отрицает, что принимал участие в уничтожении евреев, он не отрицает, что, «если бы он не занимался их транспортировкой, они бы не попали в руки палачей». «Что же еще я должен признать?» — спрашивает Эйхман. А теперь, продолжает он, «я бы хотел примириться со своими бывшими врагами». О «примирении» говорил еще и Гиммлер (на протяжении последнего года войны), и лидер Рабочего фронта Роберт Лей, который накануне своего самоубийства в Нюрнберге выступил с предложением о создании «комитета примирения» в составе нацистов, ответственных за массовые убийства евреев, и евреев, переживших Катастрофу, а также — пусть в это трудно поверить — и многие простые немцы, главным образом в 1945 г. Эта оскорбительная идея не была навязана им пропагандистской машиной, они сами пришли к этой мысли — столь же далекой от реальности, как и все те ходячие, избитые выражения, которыми они, не задумываясь, пользовались на протяжении предыдущих двенадцати лет. И можно было видеть, как, произнося подобную фразу, говорящий буквально преисполнялся гордости и испытывал душевный подъем.

Голова Эйхмана была буквально под завязку набита такого рода выражениями. Его память оказалась совершенно ненадежной, особенно если приходилось вспоминать реальные события. Когда выяснилось, что он плохо помнит подробности Ванзейской конференции, в ходе которой были одобрены практические пути осуществления «окончательного решения», судья Ландау, не будучи в силах совладать со своим гневом, спросил его не без резкости: «Так что же вы все-таки можете вспомнить?» Из ответа стало ясно, что Эйхман превосходно помнит поворотные моменты своей карьеры, но далеко не всегда соотносит их с поворотными моментами в истории уничтожения еврейского народа, да и вообще с событиями всеобщей истории. В частности, он неотчетливо помнил дату начала Второй мировой войны и дату вторжения Германии в СССР. Но — главное — он не забыл ни одну из тех своих фраз, которые в тот или иной момент дали ему возможность испытать

«гордость и душевный подъем». Именно поэтому, когда судьи в ходе перекрестных допросов пытались апеллировать к его совести, они сталкивались лишь с его «гордостью и душевным подъемом». Возмущенные до глубины души, они теряли самообладание, будучи вынужденными выслушивать стандартные фразы обвиняемого, имевшиеся у него для каждого периода своей жизни и своей карьеры. Эйхман не видел противоречия между своими фразами «Я спрыгну в свою могилу, смеюсь», которую он твердил в последние дни войны, и «Я с радостью повешусь публично, дабы это послужило предостережением всем антисемитам на свете», которую он повторял в Иерусалиме — обе они в равной степени служили ему источником «гордости и душевного подъема».

Такая манера поведения создавала значительные трудности на протяжении всего хода процесса — не столько для самого Эйхмана, сколько для тех, кто обвинял его, защищал его, судил его, а также освещал процесс в прессе. Они должны были принимать фигуру подсудимого всерьез, а это было непросто — особенно если избегать соблазна пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть, определять свое отношение к нему, основываясь на одной из крайностей — будь то невыразимый словами ужас или смехотворный абсурд. Возникало искушение назвать подсудимого хитрым, расчетливым лжецом — каковым он, по всей очевидности, не являлся. Скромность вряд была основой его самооценки: «Один из тех даров, которыми наградила меня судьба, это правдивость, моя внутренняя убежденная правдивость». Это «дар» проявился еще до того, как обвинитель вознамерился возложить на него преступления, которые он не совершал. В своих неупорядоченных, бессвязных заметках, сделанных в Аргентине при подготовке к интервью с Сассеном (учитывая, что в то время он, по его собственному выражению, был «в самой полной мере, физически и психологически, свободен»), Эйхман дает указание своим будущим историкам «сохранять максимальную объективность и не отклоняться от истин, изложенных здесь». Эта фраза знаменательна сама по себе, поскольку каждая строчка этих небрежно написанных заметок свидетельствует о его полнейшем неведении относительно всего, что не входило в самый узкий круг его непосредственных обязанностей, а также о его в высшей степени несовершенной памяти.

Несмотря на все усилия обвинителя, всякому было очевидно, что этот человек не был «чудовищем», но вместе с тем трудно было отделаться от мысли, что перед вами шут. Однако поскольку такое предположение могло бы стать губительным для всего процесса, не говоря уж о том, что оно плохо согласовалось со всеми теми страданиями, которые Эйхман и ему подобные причинили миллионам людей, то худшие проявления его клоунады либо не замечались, либо о них не сообщалось в отчетах. В самом деле, что подделаешь с человеком, который сначала заявляет, со всей резкостью и выразительностью, что единственный урок, которому его научила дурно прожитая жизнь — это никогда не давать клятву. «Сегодня никто, ни один человек, ни один судья, не сможет убедить меня сделать заявление под присягой, поклясться в чем-либо или засвидетельствовать что-либо. Я отказываюсь от этого, отказываюсь по причинам морального характера. Мой опыт учит, что если ты остаешься верным своей клятве, то рано или поздно ты будешь вынужден взять на себя все последствия такого поступка. Я решил для себя, раз и навсегда, что ни один судья в мире, ни одна власть не сможет заставить меня принести присягу, дать клятву, выступить в качестве свидетеля. Я не сделаю этого добровольно, и никто не сможет заставить меня сделать это». Тем не менее, когда — после этой декларации — ему разъяснили, что, если он пожелает свидетельствовать в свою защиту, то сможет делать это «либо под присягой, либо не под присягой», Эйхман заявил без малейших колебаний, что предпочитает свидетельствовать под присягой. Он же, после неоднократных, весьма эмоциональных по форме заявлений, сделанных в ходе следствия и на судебных заседаниях, относительно того, что не намеревается отрицать свою ответственность за содеянное, молить о пощаде или бороться за свою жизнь, в конечном итоге, по настоянию защитника, представил написанное собственной рукой прошение о помиловании.

На протяжении процесса Эйхман был подвержен сменам настроения, и как только ему приходила в голову фраза, позволявшая «преисполниться гордости и испытать душевный подъем», он произносил ее, нимало не заботясь о том, насколько она уместна и непротиворечива. В дальнейшем мы увидим, что этот страшный дар утешать себя ходячими, избитыми выражениями не оставил его до самого смертного часа.

IV. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: ВЫСЫЛКА

Если бы нашей темой был обычный процесс, с обычным противостоянием обвинения и защиты, которые заняты выявлением максимального количества фактов и укреплением своих позиций, то сейчас целесообразно было бы обратиться к версии защиты, попытавшись выяснить дополнительные подробности деятельности Эйхмана в Вене, пусть и в его гротесковом изложении, и посмотреть, не следует ли отнести все эти искажения действительности на счет патологической лживости обвиняемого. Преступления, которые привели Эйхмана на виселицу, были установлены «вне всякого сомнения» еще задолго до начала процесса, и эти факты хорошо известны всем, кто занимается историей нацистского режима. Дополнительные факты, которые представил обвинитель, были в некоторой их части отражены в решении суда, но они не были бы отнесены к категории «несомненных», если бы защита представила свои соответствующие свидетельства. Таким образом, никакой рассказ о деле Эйхмана, в отличие от рассказа о процессе Эйхмана, не может считаться полным, если опустить некоторые факты, которые являются достаточно известными, но которые д-р Серватиус предпочел проигнорировать.

Сказанное прежде всего относится к путанной общей позиции Эйхмана по «еврейскому вопросу». В ходе перекрестного допроса он сказал председателю суда, что в Вене он «относился к евреям как к противникам, применительно к которым необходимо было выработать взаимоприемлемое и справедливое для обеих сторон решение». «В качестве такого решения мне виделось предоставление им территории, на которой они могли бы поселиться. И я был рад, что могу работать в направлении поисков именно такого решения. Я прилагал усилия по разработке подобного решения, с радостью и удовольствием,

потому что такое решение одобрялось и самими представителями еврейского народа, и я полагал его самым подходящим». Именно по этой причине «были объединены» их усилия, и их работа «основывалась на оказании помощи и содействия друг другу». Уехать из страны было в интересах евреев, хотя, возможно, и не все евреи понимали это, и потому «необходимо было помогать им, помогать в первую очередь функционерам еврейской общины, и именно этим я занимался». Если еврейские функционеры были «идеалистами», то есть сионистами, он относился к ним с уважением и «общался с ними на равных», прислушивался ко всем «пожеланиям, жалобам и просьбам о помощи», старался по возможности «сдерживать свои обещания» — «к сожалению, люди склонны сейчас забывать об этом». Кто, как не он, Эйхман, спас жизнь сотням тысяч евреев? Что, как не его усердие и организаторские способности, помогли им вовремя уехать из страны? Действительно, он не был тогда в состоянии предвидеть все последствия «окончательного решения», но он спас многих и многих — это «факт». В интервью, данном в США во время процесса, сын Эйхмана рассказал ту же самую историю американским репортерам. Возможно, она уже стала семейной легендой.

В известном смысле понятно, почему защитник не стал поддерживать версию Эйхмана относительно его контактов с сионистами. На суде, равно как и в своем интервью Сассену, Эйхман отметил, что он воспринял свое назначение на должность «вовсе не с равнодушием вола, ведомого в стойло», что он значительно отличался от своих коллег, «никогда не читавших основополагающий труд» [имеется в виду «Еврейское государство» Теодора Герцля], поскольку он «прочел эту книгу, прочел до конца и проникся ее духом», и потому был «в полном согласии и гармонии с порученной ему работой». Остальные же были не более чем «рабочими лошадками», для которых все определялось «приказами и параграфами официальных документов» и которые «больше ни на что не были способны» — иными словами, являлись «мелкими сошками», хотя защитник отнес и его тоже к этой категории исполнителей. Собственно говоря, если речь идет о безусловном подчинении приказам фюрера, то все они были «мелкими сошками» — даже Гиммлер, который, по словам его массажиста, Феликса Керстена, воспринял идею «окончательного решения» безо всякого энтузиазма. На следствии Эйхман гово-

рил, что его непосредственный начальник, Генрих Мюллер, никогда бы не выступил со «столь жестокой идеей физического уничтожения». Очевидно, что для Эйхмана предложенная защитой концепция «мелкой сошки» применительно к нему была абсолютно неприемлема. Разумеется, он не был чиновником таких значительных масштабов, как это пытался представить Гидеон Хаузнер. В конце концов, он ведь не только не был Гитлером, но и не мог считать себя столь же значимым, как тот же Мюллер, или Гейдрих, или Гиммлер — не было же у него мании величия. Но при этом его фигура была более значимой, чем это пыталась представить защита.

Искаженное восприятие Эйхманом действительности было ужасным, но в принципе оно не столь значительно отличалось от ситуации в послегитлеровской Германии. Возьмем, например, историю с Францем Йозефом Штраусом, бывшим министром обороны ФРГ; в ходе избирательной кампании он вел борьбу с Вилли Брандтом, который сейчас является мэром Западного Берлина, а в годы нацизма был политическим беженцем и жил в Норвегии. В процессе дебатов Штраус задал своему сопернику вопрос, который, судя по всему, был положительно воспринят аудиторией: «А чем вы занимались все эти двенадцать лет за границей? Мы-то знаем, что мы делали тут, в Германии». Он задал этот вопрос абсолютно безо всякого ущерба для своей репутации, и никто глазом не моргнул, и уж тем более не потрудился напомнить члену кабинета министров ФРГ, сколь печально известно то, чем именно занимались немцы в Германии в эти годы. Столь же «невинно» прозвучало как бы вскользь брошенное замечание одного известного и уважаемого литературного критика, который, вполне вероятно, никогда не был членом нацистской партии. В статье, посвященной книге о временах Третьего рейха, он сказал, что автор принадлежит «к числу тех интеллектуалов, которые накануне прихода к власти варваров оставили страну». Этот автор был, конечно же, евреем, и он был выслан нацистами из страны, будучи преданным своими коллегами-неевреями. Кстати, само это слово, «варварство», сегодня частенько употребляется немцами, когда речь идет о нацистском периоде, и при этом, несомненно, искажается истинное положение дел: выходит, будто бы еврейские и нееврейские интеллектуалы покинули страну, которая перестала быть для них «достаточно утонченной».

Эйхман, будучи, несомненно, значительно менее утонченным, чем политический деятель или литературный критик, мог бы все-таки привести кое-какие неоспоримые факты в поддержку своей позиции, если бы его не подвела плохая память или если бы ему помог защитник. Поскольку «не подлежит сомнению, что на первых этапах реализации своей еврейской политики национал-социалисты полагали целесообразным придерживаться просионистской линии» [Hans Lamm], именно в это время Эйхман занялся изучением еврейского вопроса. Не он один воспринимал «просионистскую линию» всерьез — немецкие евреи и сами полагали, что будет достаточно «отказаться от ассимиляции» в рамках нового процесса «диссимиляции» и устремиться в ряды сионистов. На этот счет не существует надежных статистических данных, но, согласно оценкам, тираж еженедельника сионистской направленности *Die Judische Rundschau* увеличился за первые месяцы со времени прихода Гитлера к власти с 5-7 тысяч до почти 40 тысяч; известно также, что пожертвования в пользу сионистских организаций в 1935—1936 гг. возросли втрое по сравнению с 1931—1932 гг., несмотря как на уменьшение численности еврейского населения, так и ухудшение его материального положения. Это не обязательно свидетельствовало о желании евреев эмигрировать в Палестину — скорее, было делом чести и гордости. «Носи желтый знак с гордостью!» — таков был самый популярный лозунг, сформулированный Робертом Вельчем, главным редактором *Die Judische Rundschau*, и очень точно передававший эмоциональную атмосферу тех дней. Лозунг был направлен против «ассимиляторов» и против тех, кто отказывался воспринять «революционные изменения». Лозунг был выдвинут 1 апреля 1933 г., в день бойкота еврейских товаров, то есть более чем за шесть лет до того дня, когда нацистами был издан указ об обязательном ношении евреями «отличительного знака», шестиконечной желтой звезды на белом фоне. Лозунг неоднократно и с большим эмоциональным накалом провозглашался на процессе группой свидетелей из Германии, которые, правда, забывали упомянуть при этом, что сам Роберт Вельч, известный и уважаемый журналист, сказал недавно, что он никогда бы не выступил с этим лозунгом, если бы мог предвидеть его последствия.

Но если отвлечься от всех лозунгов и идеологических разногласий, то следует признать, что в те годы только сионисты имели хоть какую-то возможность вести переговоры с немецкими властями

ми — по одной простой и очевидной причине: их основной идеологический соперник, Центральная ассоциация граждан Германии иудейского вероисповедания, членами которой были 95 % всех евреев, состоящих в каких-либо организациях, в своем уставе записала, что ее основной задачей является «борьба против антисемитизма». Иными словами, она неожиданно для себя превратилась в организацию, по определению «враждебную государству», и была бы подвергнута преследованиям (чего в действительности не было), если бы рискнула заниматься своей уставной деятельностью. На протяжении первых лет нацистского режима, приход Гитлера к власти определялся сионистами главным образом как «сокрушительное поражение идеи ассимиляторства». Таким образом, сионисты имели возможность (во всяком случае, в течение какого-то времени) сотрудничать с нацистскими властями, поскольку сионисты также полагали, что «диссимилиация», в сочетании с эмиграцией в Палестину еврейской молодежи и, как они надеялись, еврейских капиталистов, может стать «справедливым взаимоприемлемым решением». В это время многие немецкие официальные лица придерживались такой же точки зрения. Известно письмо немецкого еврея из лагеря Терезиенштадт, в котором автор утверждает, что ведущие позиции во всех назначаемых нацистами еврейских союзах занимают сионисты, поскольку немцы считают сионистов «приличными евреями», так как они тоже придают особое значение «националистическим» вопросам. Вообще-то, ни один занимающий достаточно высокое положение нацистский лидер никогда не говорил ничего подобного вслух, нацистская пропаганда изначально была однозначно и бескомпромиссно антисемитской. В первые годы нацистского правления существовало соглашение между немецкими властями и Еврейским агентством, в рамках которого функционировало агентство «Хаавара», занимавшееся переводом в Палестину имущества немецких репатриантов. Выезжавшие сдавали свои средства агентству, получали от него некоторую сумму в палестинских фунтах, а остальные деньги агентство переправляло в Палестину в виде германского экспорта, и репатрианты получали их уже по прибытии. Это был единственный официальный способ перевода денег из Германии в Палестину (можно было еще открыть счет, деньги на котором изначально блокировались, и разблокировать их можно было только по прибытии, путем сложной процедуры, при которой терялось от 50 % до 95 % всей суммы). Такая практика привела к тому, что в 30-е годы, когда американское еврейство предпринимало значи-

тельные усилия, чтобы организовать бойкот немецких товаров, Палестина была буквально наводнена товарами с клеймом «Сделано в Германии».

Весьма значимыми для Эйхмана были связи с эмиссарами из Палестины, которые вступали в контакты с гестапо и СС по собственной инициативе, не имея дела ни с немецкими сионистами, ни с Еврейским агентством для Палестины. Они прибывали, чтобы заручиться поддержкой нелегальной иммиграции в находящуюся под британским мандатом Палестину, и в этом смысле как гестапо, так и СС могли быть весьма полезными. В Вене они вели переговоры с Эйхманом, который, по их отзывам, был «вежлив» и «никогда не повышал голоса». Он также давал им возможность арендовать фермы, где можно было организовать лагеря профессиональной подготовки для потенциальных иммигрантов. Как-то раз он «выселил группу монашек из монастыря, чтобы устроить там лагерь профессиональной подготовки для молодых евреев», другой раз он «обеспечил спецпоезд для вывоза группы эмигрантов на сионистские учебные фермы в Югославии», придав ему группу нацистских охранников, в чью задачу входило решение проблем при пересечении границы. Как рассказывают Джон и Дэвид Кимхе в своей книге [Kimche, Jon and David, *The Secret Roads: The «Illegal» Migration of a People, 1938-1948*], эти евреи из Палестины говорили на языке, не очень отличающемся от языка Эйхмана. Их направили в Европу палестинские общины, и они прибыли туда не для спасательных операций. Они намеревались отобрать «подходящий материал», и их основным врагом — до начала программы уничтожения евреев — были не те, кто сделал жизнь евреев невозможной в Германии и Австрии, а те, кто не давал возможности евреям прибыть в их новый дом: их врагом была, несомненно, Великобритания, а не Германия. Поскольку они пользовались покровительством державы, имеющей мандатные полномочия, они могли позволить себе говорить с нацистскими властями практически на равных, чего не могли уже позволить себе немецкие евреи. Они были, по всей видимости, в числе первых евреев, которые открыто говорили о наличии общих интересов, и безусловно были первыми, кому было дано разрешение «отбирать будущих палестинских поселенцев» из числа узников концлагерей. Разумеется, они не могли и представить себе все ужасы ближайших лет, но они интуитивно ощущали, что если встает вопрос отбора евреев для

выживания, то такой отбор должны производить сами евреи. Именно эта фундаментальная ошибка в конечном итоге способствовала возникновению ситуации, в рамках которой «неотобранное большинство» евреев оказалось между двух огней — нацистских властей и еврейских властей. Что же касается венского эпизода, то, казалось бы, абсурдное заявление Эйхмана о том, что он спас жизни сотен тысяч евреев, над которым чуть ли не смеялись в суде, получило неожиданное подтверждение в работе еврейских историков Кимхе: «И это стало началом одного из самых парадоксальных эпизодов во всей истории нацистского режима: один из главных убийц еврейского народа занимает одно из первых мест в списке тех, кто спасал жизни европейских евреев».

Беда Эйхмана заключалась в том, что он не помнил ни одного из тех фактов, которые могли бы подтвердить, пусть хотя бы косвенно, его невероятную историю, в то время как защитник, возможно, даже и не знал об этом эпизоде. Д-р Серватиус мог бы вызвать в суд, в качестве свидетелей защиты, бывших агентов, организовывавших нелегальную иммиграцию в Палестину (так называемая *Алия Бет*) — они, несомненно, помнили Эйхмана и они, безусловно, жили в Израиле. Память Эйхмана удерживала только те эпизоды, которые имели непосредственное отношение к его карьере. В частности, он помнил, как его посетил в Берлине некий функционер из Палестины, для которого он дважды устраивал званый обед, поскольку этот визит закончился формальным приглашением в Палестину, где евреи должны были познакомиться с страной. Он был в восхищении — ни одному из нацистских чиновников до сих пор еще не довелось посетить «такую дальнюю иностранную страну», и руководство дало разрешение на поездку. Суд решил, что Эйхмана направили в Палестину «со шпионской миссией», да так оно, наверное, и было. Впрочем, из этой поездки ничего не вышло. Эйхман, вместе с журналистом из его отдела, Гербертом Хагеном, едва успели подняться на гору Кармель в Хайфе, как британские власти отменили их въездные визы и депортировали их в Египет. Согласно рассказу Эйхмана, «человек из Хаганы» (еврейской подпольной военной организации, ставшей впоследствии ядром Армии обороны Израиля) приехал в Каир, чтобы войти с ними в контакт. На основе бесед с ним Эйхман с Хагеном написали «детальный отчет негативного содержания», который был надлежащим образом опубликован.

Кроме достижений подобного рода, Эйхман помнит только общую атмосферу и свои броские фразы, соответствующие каждому такому случаю или событию. В Египте он побывал в 1937 г., еще до того, как его направили в Вену, а что касается Вены, то помнит он в основном свой «душевный подъем» тех дней. Если учитывать свойственное ему буквально виртуозное умение держать в памяти атмосферу событий и характеризующие ее броские фразы, что было продемонстрировано им неоднократно в ходе следствия, то нельзя не поверить в искренность, с которой он говорил об идиллических венских временах. Поскольку мы знаем, что его мысли и чувства не могут претендовать на последовательность и логичность, то эту искренность не умаляет даже тот факт, что год в Вене, начиная с весны 1938 г. до марта 1939 г., был как раз тем периодом, когда нацистский режим отказался от своей просионистской тактики. Характерной чертой нацистского режима была тенденция к постоянной, буквально из месяца в месяц, радикализации; при этом одним из характерных психологических свойств его сторонников было постоянное отставание от требований текущего момента — или, по словам Гитлера, «неумение перескочить через собственную тень».

Однако худшим врагом Эйхмана была его плохая память. Он довольно живо помнил некоторых венских евреев — например, д-ра Лёвенгерца или коммерции советника Шторфера, но те не принадлежали к числу палестинских эмиссаров, которые могли бы подтвердить его версию. Иосиф Лёвенгерц, написавший после войны свои очень интересные мемуары о переговорах с Эйхманом (один из немногих новых документов, предъявленных к рассмотрению на процессе; с ним ознакомили Эйхмана, который согласился с его основными положениями) был первым еврейским функционером, который организовал всю еврейскую общину таким образом, чтобы она функционировала в интересах нацистских властей. И он же оказался одним из весьма немногочисленных функционеров, которые смогли воспользоваться плодами своей деятельности: ему было позволено жить в Вене до конца войны, после чего он эмигрировал в Великобританию, а затем в США, где и умер в 1960 г., вскоре после поимки Эйхмана. Для Шторфера, как мы уже видели, все кончилось значительно менее благополучно — впрочем, в этом, безусловно, не было личной вины Эйхмана. Шторфер заменил эмиссаров из Палестины, которые начинали вести себя все более независимо, и Эйхман

сформулировал его задачу как организацию неофициальных перевозок евреев в Палестину, без содействия сионистов. Сам Шторфер не был сионистом и вообще не интересовался еврейскими делами вплоть до аншлюса Австрии. С помощью Эйхмана он успешно организовал выезд трех с половиной тысяч евреев из Европы в 1940 г., когда уже половина Европы была под властью нацистов. Это, по всей видимости, и имел в виду Эйхман, добавив к рассказу о пребывании Шторфера в Освенциме загадочную реплику: «Шторфер никогда не предавал еврейское дело, ни единым словом. Кто угодно, только не Шторфер». Третий еврей, которого Эйхман регулярно вспоминал в связи со своей предвоенной деятельностью, был д-р Пауль Эпштейн, занимавшийся вопросами эмиграции в Берлине, в рамках созданной нацистами организации *Reichsvereinigung* (не следует смешивать с *Reichsvertretung*, которая была распущена нацистами в июле 1939 г.). Д-р Эпштейн был назначен, по указанию Эйхмана, еврейским старостой (*Judenältester*) в Терезиенштадте, и там он был расстрелян в 1944 году.

Итак, можно сказать, что Эйхман помнил только тех евреев, которые были целиком и полностью в его власти. Он забыл не только эмигрантов из Палестины, но и своих берлинских знакомых, с которыми он общался еще до перехода на административную работу. Он никогда не вспоминал, например, д-ра Франца Мейера, бывшего члена исполкома сионистской организации Германии, который был вызван в качестве свидетеля обвинения для рассказа о своих контактах с подсудимым в 1936—1939 гг. В известной степени д-р Мейер подтвердил рассказ Эйхмана: в Берлине немецкие функционеры могли «подавать жалобы и высказывать пожелания», то есть, имело место некоторое сотрудничество. «Иногда, — показал Мейер, — мы приходили к нему с различными просьбами, и иногда он требовал от властей кое-что для нас. Он внимательно выслушивал наши жалобы и искренне старался разобраться в ситуации». Эйхман всегда «вел себя с нами вполне корректно», он «обращался ко мне «господин Мейер» и неизменно предлагал мне стул». Но в феврале 1939 г. все изменилось. Эйхман собрал еврейских функционеров Вены и объявил им о новой политике «принудительной эмиграции». «Он сидел за столом, в большом кабинете, на первом этаже дворца, принадлежавшего в свое время Ротшильду, с виду тот же, но полностью изменившийся в глубине души, — вспоминает один из участни-

ков этой встречи. — Я сказал потом моим друзьям, что просто не верится, будто мы встречались с тем же человеком — настолько разительны были перемены. Он вел себя так, что было ясно: этому человеку даны права на жизнь и смерть. Он был воплощением высокомерия и грубости. Он не позволил нам подойти ближе к его столу, и нам не было предложено садиться». И обвинитель, и судьи сошлись во мнении, что Эйхман претерпел глубокие и устойчивые личностные изменения, после того как его назначили на административную должность. Но в ходе процесса мы смогли увидеть, что все это не столь просто и однозначно. Так, один из свидетелей давал показания о своем разговоре с ним в марте 1945 г., в лагере Терезиенштадт, и оказалось, что Эйхман снова заинтересовался сионистскими идеями (свидетель был членом молодежной сионистской группы и получил право на въезд в Палестину). «Мы очень приятно поговорили, и его отношение ко мне было доброжелательным и уважительным». Как не странно, защитник даже не упомянул этого свидетеля в своей речи.

Но что бы мы ни говорили об изменениях личности Эйхмана, происшедших в Вене, несомненно одно: это назначение положило начало его карьере. За период 1937—1941 гг. его четыре раза повышали по службе; за 14 месяцев он вырос в звании от унтерштурмфюрера (младшего лейтенанта) до хауптштурмфюрера (капитана), а еще через полтора года стал оберштурмбанфюрером (подполковником). Это было в октябре 1941 г., когда он получил должность в подразделении, занимавшемся реализацией планов «окончательного решения», что и привело его в конечном итоге на скамью подсудимых в Иерусалимском окружном суде. Что же касается его переживаний относительно того, что он «застрял в подполковниках», то просто в его подразделении не было должности, предусматривающей более высокое звание. И ведь следует учесть, что за эти четыре года он преуспел в значительно большей степени, чем мог бы мечтать. В Вене Эйхман продемонстрировал всю свою ретивость, и теперь он стал не только признанным экспертом по «еврейскому вопросу», знатоком еврейских организаций и сионистских партий, но также и авторитетным специалистом по вопросам эмиграции и эвакуации. Его самые значительные достижения относятся к периоду, последовавшему за «Хрустальной ночью», в ноябре 1938 г., когда немецких евреев охватило неодолимое желание покинуть страну. Геринг, возможно, по инициативе Гейдриха, принял решение ор-

ганизовать в Берлине Центр еврейской эмиграции, и в документе, содержащем указания по этому вопросу, Венский центр Эйхмана был назван образцовым учреждением, на примере которого должен создаваться общегосударственный центр. Возглавил Берлинский центр, однако, не Эйхман, но Генрих Мюллер, с которым у Эйхмана впоследствии сложатся прекрасные отношения. Мюллер, еще одна «находка» Гейдриха, был только что переведен сюда Гейдрихом с поста простого полицейского офицера Баварии. Он не был членом Национал-социалистической партии, а до 1933 г. даже высказывал негативное отношение к нацизму. Гейдрих сделал его сотрудником гестапо в Берлине потому, что Мюллер считался специалистом по советским органам безопасности. Для Мюллера это тоже стало началом карьеры, хотя он начал ее с более низкого уровня. (Мюллер, кстати, не был хвастуном, как Эйхман, и вел себя очень осторожно; после войны он исчез из поля зрения, и никому не было известно его местонахождение — хотя ходили слухи, что сначала ГДР, а затем Албания использовали его богатый опыт.)

В марте 1939 г. Гитлер вторгся в Чехословакию, и был образован Протекторат Богемии и Моравии. Эйхмана сразу же направили в Прагу, для организации там центра эмиграции евреев. «Поначалу я не очень обрадовался новому назначению. Мне не хотелось покидать Вену, где у меня все было налажено и все было в полном порядке — разумеется, мне не хотелось уезжать оттуда». И в самом деле, Прага вызвала у него разочарование, хотя вроде бы все должно было идти по накатанным рельсам: «Функционеры чешских еврейских организаций приезжали в Вену, и венские функционеры приезжали в Прагу, так что мне вроде бы не надо было особо вмешиваться. Венская модель была просто-напросто скопирована и перенесена в Прагу. Таким образом, все началось само собой». Но Пражский центр был существенно меньше, и к тому же «там не было людей такого масштаба и столь энергичных, как д-р Лёвенгерц». Но все эти причины для недовольства, имевшие отчасти личный характер, были малозначимыми по сравнению с объективными трудностями. Сотни тысяч евреев покинули свои дома на протяжении считанных лет, и миллионы намеревались последовать их примеру, поскольку правительства Польши и Румынии в своих официальных заявлениях не оставляли никакого сомнения относительно имеющихся у них намерений. (В связи с резким ухудшением положения европейских

евреев летом 1938 г. была созвана Эвианская конференция, в работе которой приняли участие представители 32 стран, для обсуждения вопросов о предоставлении убежища политическим эмигрантам. Конференция закончилась провалом, поскольку ни одна страна в мире не выразила желания впустить евреев. США заявили, что они полностью использовали эмиграционную квоту, представители европейских стран выступили в том же ключе.) Таким образом, в Праге Эйхман был лишен возможности повторить свое «венское чудо».

Эйхман, будучи к этому времени действительно экспертом по вопросам эмиграции, хорошо представлял себе сложившееся положение дел, и потому рассматривал свое новое назначение безо всякого энтузиазма. В сентябре 1939 г. началась война, а месяц спустя Эйхман был вызван в Берлин и назначен на место Мюллера, возглавлять Центр еврейской эмиграции. Еще год тому назад это назначение можно было считать значительным повышением, но сейчас времена переменялись. Никто, будучи в здравом уме, не мог теперь рассматривать решение еврейского вопроса путем принудительной эмиграции: помимо объективных трудностей, связанных с передвижением людей через границы в военное время, Третий рейх получил, после завоевания Польши, еще два-два с половиной миллиона евреев. Действительно, правительство Гитлера все еще готово было отпустить своих евреев (указ о запрете эмиграции евреев был издан лишь два года спустя, осенью 1941 г.), и если даже идея «окончательного решения» уже была одобрена, все-таки никто еще не отдавал никаких указаний на этот счет — хотя власти уже приступили к концентрации евреев в гетто, а также к ликвидации, для чего начали формировать эйнзацгруппен. Ничего, следовательно, не было удивительного в том, что эмиграция в рамках Берлинского центра, несмотря на образцовую организацию процесса «на принципах конвейера», приостановилась сама собой, пребывая, по определению Эйхмана, «в состоянии апатии с обеих сторон. С еврейской стороны — потому что было и в самом деле сложно найти страну, в которую можно было эмигрировать, а с нашей стороны — потому что не было ни суеты, ни спешки, ни большого числа посетителей Центра. Так мы и сидели в своем внушительном здании, в самом, так сказать, центре зияющей пустоты». Самоочевидно, что если бы «еврейский вопрос», его основная специальность, замер на стадии эмиграции, Эйхман вскоре остался бы без работы.

V. ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ: КОНЦЕНТРАЦИЯ

Только после начала войны, после 1 сентября 1939 г., нацистский режим стал откровенно тоталитарным и откровенно криминальным. Одним из наиболее важных организационных шагов в этом направлении было создание, по указу, подписанному Гиммлером, Главного управления государственной безопасности (РСХА), которое возглавил Рейнхард Гейдрих. В состав РСХА вошли служба безопасности СС, являвшаяся партийной структурой (к которой Эйхман принадлежал с 1934 г.), и государственная полиция, с включением тайной государственной полиции (гестапо). После того, как в 1942 г. Гейдрих был убит участниками чешского Сопротивления, РСХА возглавил старый знакомый Эйхмана еще по Линцу, д-р Эрнст Кальтенбруннер. Все сотрудники полиции, причем не только гестапо, но и уголовной полиции, получили эсэсовские звания, соответствующие их прежним званиям, причем вне зависимости от того, были они членами Национал-социалистической партии или нет. Иными словами, одним росчерком пера все сотрудники правоохранительных органов были включены в самую радикальную нацистскую властную структуру. При этом, насколько мне известно, никто не выразил протест и не ушел в отставку. Хотя Гиммлер, глава и основатель СС, был с 1936 г. также шефом полиции Германии, эти две системы вплоть до подписания вышеназванного указа функционировали самостоятельно. Имелось 12 главных управлений СС, к числу наиболее значимых относились Главное управление внутренней безопасности, отвечающее, в числе прочего, за концентрацию и изоляцию евреев в гетто, и Главное административно-хозяйственное управление (ВФХА), возглавляемое Освальдом Полем, в ведении которого находились концентрационные лагеря и которое занималось «экономическими аспектами» лагерей уничтожения.

Для менталитета эсэсовцев была характерна так называемая «объективная», или «беспристрастная» позиция по отношению к своим действиям — в частности, рассмотрение «административных» аспектов концлагерей или «экономических» аспектов лагерей уничтожения, и Эйхман с гордостью подчеркивал такую позицию. Говоря об «объективности» (*Sachlichkeit*), эсэсовцы при этом старались отстраняться и отмежевываться от таких «эмоциональных» личностей, как Штрейхер, или «от лидеров Тевтонско-германской партии, которые ведут себя так, будто и по сей день облачены в звериные шкуры и носят рогатые шлемы». Эйхман восхищался Гейдрихом не в последнюю очередь и потому, что тот неприязненно относился к подобного рода личностям, и не испытывал никакой симпатии к Гиммлеру потому, что рейхсфюрер СС и шеф немецкой полиции симпатизировал им, «во всяком случае, в течение довольно длительного времени».

В ходе процесса, однако, отнюдь не подсудимый, оберштурмбанфюрер СС в отставке, а д-р Серватиус, специалист по налоговому праву из Кельна, никогда не состоявший в Национал-социалистической партии, преподнес суду урок: что значит «не быть эмоциональным», и все, кто присутствовал при этом, вряд ли смогут забыть этот урок. Это произошло во время произнесения защитительной речи, которая всегда является одним из кульминационных эпизодов любого процесса и после которой суд удаляется, чтобы подготовить обвинительное заключение (в данном случае, перерыв в судебном заседании составил четыре месяца). Серватиус отвел обвинения против своего подзащитного по таким пунктам, как «сбор и использование человеческих останков, стерилизация, убийство при помощи газа и другие деяния, имеющие медицинский характер», на что судья Халеви возразил: «Доктор Серватиус, вы, наверное, оговорились — сказав, что убийство при помощи газа относится к деяниям медицинского характера?» На что Серватиус ответил: «Оно, несомненно, носит медицинский характер, поскольку осуществлялось медиками; это одна из категорий убийства, а убийство также является деянием медицинского характера». И чтобы у иерусалимских судей не оставалось ни малейшего сомнения в том, как немцы — рядовые немцы, не бывшие эсэсовцы, не члены Национал-социалистической партии, и в наши дни трактуют деяния, которые в других странах именуется убийством, он повторил эту фразу в своих «Коммен-

тариях относительно судебного разбирательства в первой инстанции», подготовленных для подачи апелляции в Верховный суд. В этом документе он снова сказал, что «аспекты медицинского характера» обычно находились в ведении не Эйхмана, а одного из его подчиненных, Рольфа Гюнтера. (Д-р Серватиус хорошо разбирается в «аспектах и деяниях медицинского характера», поскольку на Нюрнбергском процессе он защищал д-ра Карла Брандта, личного врача Гитлера, который также занимался разработкой программы эвтаназии.)

Каждое из Главных управлений СС, согласно оргструктуре военного времени, было подразделено на отделы и подотделы, и РСХА состояло из семи главных отделов. Отдел IV, гестапо, возглавлялся группенфюрером (генерал-майором) Генрихом Мюллером, чье звание соответствовало его званию в полиции Баварии. В его задачи входила борьба «с врагами государства», которые подразделялись на две категории и, соответственно, с ними имели дело два подотдела: подотдел IV-A занимался коммунистами, саботажниками, либералами, а также политическими убийствами, а подотдел IV-B занимался «сектами» — католиками, протестантами, масонами и евреями. Каждый из подотделов обозначался арабскими цифрами, и Эйхман в 1941 г. был назначен на пост главы подотдела IV-B-4 РСХА. Непосредственным начальником Эйхмана был Мюллер, а непосредственным начальником Мюллера — Гейдрих, а затем Кальтенбруннер, которые, в свою очередь, подчинялись напрямую Гиммлеру, над которым был только Гитлер.

Помимо двенадцати Главных управлений, в подчинении Гиммлера был еще ряд различных организационных структур, каждая из которых в той или иной мере занималась реализацией «окончательного решения еврейского вопроса». Это была и сеть региональных организаций, возглавляемых старшими офицерами СС и полиции, причем они подчинялись Гиммлеру напрямую, а не через систему РСХА и, таким образом, занимали более высокое, по сравнению с Эйхманом, положение. В число структур, занимающихся реализацией «окончательного решения», входили и *зйнзацgruppen*, находившиеся в подчинении Гейдриха и РСХА, причем Эйхман мог и не иметь с ними никаких контактов. Главы *зйнзацgruppen*, как правило, имели более высокое звание, чем Эйхман. В техническом и организационном плане положение Эйхмана было не очень высоким; его долж-

ность была значимой лишь по причинам идеологического характера, поскольку его подразделение было непосредственно связано с решением «еврейского вопроса». Буквально с каждым днем, неделей, месяцем войны его подразделение приобретало все большую значимость, а с начала периода распада, то есть с 1943 г., эта значимость увеличилась до фантастических масштабов. К этому времени подразделение Эйхмана официально было по-прежнему единственным, в чьи задачи входило исключительно преследование евреев, но фактически все государственные и партийные подразделения и структуры, армия и СС занимались «еврейским вопросом». Даже если мы для простоты сосредоточимся только на полицейской системе, то все равно мы должны принять во внимание такие структуры, как *эйнзацгруппен*, сеть старших офицеров СС и полиции, руководство и инспекторов управления внутренней безопасности а также службу безопасности. Каждая из этих структур принадлежала к независимым одна от другой системам, но в конечном итоге все они были подчинены Гиммлеру и были равны между собой. Таким образом, ни один из сотрудников одной структуры не мог быть подчиненным сотруднику другой структуры, пусть даже тот имел формально более высокое звание. Обвинитель постоянно сталкивался с трудностями, пытаясь разобраться в этом лабиринте параллельных структур, и это ему приходилось делать всякий раз, когда он хотел выделить ту или иную конкретную вину Эйхмана. (Если бы процесс проходил сейчас, эта задача была бы в значительной мере облегчена благодаря появлению книги Raul Hilberg (*The Destruction of the European Jews*), которая представляет собой первую успешную попытку разобраться во всей этой сложнейшей системе.)

Далее, следует помнить, что все эти структуры, обладающие весьма значительной властью и могуществом, жестко конкурировали между собой, и это бесконечно ухудшало положение их жертв, поскольку цель у них у всех была одна: убить как можно больше евреев. Этот дух конкуренции также поощрял их чувство лояльности к своей структуре, а в послевоенное время эта лояльность нисколько не ослабла, но, так сказать, изменила направление: теперь каждый стремится оправдать свою структуру, за счет всех других. Именно об этом говорил Эйхман, когда ему предъявили мемуары Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима, где автор обвиняет Эйхмана в действиях, которые он не только

не совершал, но и физически не имел возможности совершить. Эйхман сразу же признал, что у Гесса не было никаких причин личного характера обвинять его в том, в чем он был заведомо невиновен, поскольку они были в хороших и даже дружеских отношениях. Далее, он попытался объяснить — причем безуспешно, — что поведение Гесса связано с тем, что он хотел обелить свое Главное административно-хозяйственное управление СС, очернив при этом РСХА. Аналогичные ситуации возникали и на Нюрнбергском процессе, где обвиняемые разыгрывали непристойные спектакли, обвиняя друг друга — хотя никто из них и не думал возложить вину на Гитлера! При этом никто даже не пытался облегчить свою личную участь, свалив вину на другого человека — но сплошь и рядом обвинялись конкурирующие структуры, особенно если между ними существовала давняя вражда. Д-р Ганс Глобке, о котором уже шла речь, выступая в качестве свидетеля обвинения, старался оправдать свое министерство внутренних дел, перекладывая вину на министерство иностранных дел. Эйхман, со своей стороны, всегда защищал Мюллера, Гейдриха и Кальтенбруннера, хотя последний и относился к нему не лучшим образом. Несомненно, одной из главных ошибок обвинителя на иерусалимском процессе было то, что он основывал свою линию в значительной степени на письменных показаниях, подтвержденных присягой, либо на мемуарах бывших высокопоставленных нацистов. Он не осознавал, насколько малодостоверны все эти документы, когда ими пользуешься с целью установления фактов — возможно, впрочем, что от него и нельзя было ожидать такого понимания. Даже судьи, оценивая обвиняющие свидетельства других нацистских преступников, принимали во внимание то обстоятельство, что (как сказал один из свидетелей защиты), «на всех процессах военных преступников сложилась традиция возлагать всю вину на отсутствующих или на мертвых».

Заняв новую должность в Отделе IV РСХА, Эйхман сразу же столкнулся с весьма неприятной дилеммой: с одной стороны, «принудительная эмиграция» являлась официальной формулой решения еврейского вопроса, а с другой стороны, эмиграционный процесс исчерпал свои возможности. В первый (и, возможно, в последний) раз во время пребывания в эсэсовских структурах обстоятельства вынудили его проявить инициативу и приложить усилия к тому, чтобы «родить некую идею». Согласно его заявле-

нию, сделанному в ходе следствия, он выдвинул три идеи, причем все три, как он сам признался, оказались неудачными. Вообще, все его личные инициативы неизменно оказывались никуда не годными — последний удар по его самолюбию был нанесен, когда он вынужден был «оставить свою Берлинскую канцелярию», так и не сумев реализовать идею относительно возведения вокруг нее защитных сооружений для отражения танковых атак Красной Армии. Тотальное разочарование, и ничего больше, сплошное невезение. Главный источник всех проблем был, по его мнению, в том, что ни ему, не его подчиненным не давали работать спокойно, без помех, что другие партийные и государственные структуры рвались принять участие в осуществлении «окончательного решения», в результате чего целая армия «специалистов по еврейскому вопросу» постоянно путалась под ногами, пытаясь достичь успехов в той области, о которой они просто не имели понятия. Эйхман относился к этим людям с величайшим презрением, отчасти потому, что они были выскочками, пытающимися примазаться к делу в последнюю минуту, отчасти потому, что они стремились к личному обогащению (и зачастую достигали этой цели в ходе выполнения своих служебных обязанностей), а отчасти и потому, что они были невеждами, не удосужившись прочесть хотя бы несколько «основополагающих книг» по данной тематике.

Три его идеи, как выяснилось, были почерпнуты из этих самых «основополагающих книг», но выяснилось также, что две из трех вовсе не были его идеями, а что касается третьей, то... «я, право, не уверен, была ли это идея Шталекера [начальник Эйхмана в Вене и Праге] или моя — как бы то ни было, она родилась на свет». Эта, последняя, идея хронологически появилась на свет первой — это была идея создание еврейской резервации в Польше, рядом с городом Ниско, и ее провал стал для Эйхмана безусловным подтверждением того, как бывает плохо, когда не дают «работать спокойно, без помех». (В этом случае основная вина возлагается на главу администрации генерал-губернаторства Польши Ганса Франка.) Чтобы воспринять эту идею, следует вспомнить, что после того, как Польша была завоевана немцами, но перед тем, как Германия напала на СССР, территория Польша была разделена между Германией и СССР; к Германии отошли западные районы, включенные в состав Рейха, а также так называемая восточная зона, с Варшавой, известная под названием ге-

нерал-губернаторство. При этом восточная зона считалась оккупированной территорией. Поскольку решение «еврейского вопроса» в то время все еще сводилось к принудительной эмиграции, а Германия должна была стать *юденрайн*, «свободной от евреев», то польские евреи на аннексированной территории, а также евреи, все еще проживавшие на остальных территориях Рейха, выссылались в генерал-губернаторство, которое с чисто формальной точки зрения не считалось территорией Рейха. В декабре 1939 г. началась эвакуация евреев на восток, и около одного миллиона — 600 тысяч из западных районов и 400 тысяч из других районов Рейха — начали прибывать на территорию генерал-губернаторства.

Если то, что рассказывает Эйхман о «плане Ниско» — это правда (и нет причин не верить ему), то он, а скорее, его венский и пражский начальник, *Brigadefürer* (бригадный генерал) Франц Шталекер, ожидали такого развития событий в течение нескольких месяцев. Этот *доктор* Шталекер, как почтительно называл его Эйхман, был, по его мнению, очень хороший человек, образованный, разумный, «лишенный даже намека на национальную ненависть или шовинизм» — в Вене он всегда подавал руку еврейским функционерам. Полтора года спустя, весной 1942 г., этот образованный джентльмен был поставлен во главе *Эйнзацгруппе А*, и чуть больше чем за год (он сам был убит в ходе боевых действий в 1942 г.) под его началом было убито 250 тысяч евреев, о чем он с гордостью сообщал лично Гиммлеру — хотя, будучи главой *эйнзацгруппе*, он подчинялся шефу секретной полиции и СД, то есть Рейнхарду Гейдриху. Но все это было потом, а сейчас, в сентябре 1939 г., когда немецкая армия только оккупировала польские территории, Эйхман и д-р Шталекер начали размышлять, каким образом они могли бы выступить со своей инициативой. Им была нужна «территория в Польше, максимально возможных размеров, где они могли бы организовать автономное еврейское государство в виде протектората. Это могло бы стать решением еврейского вопроса». По собственной инициативе, не дожидаясь чьих-либо приказов, они отправились на разведку. В Люблинском воеводстве, неподалеку от города Радом и рядом с городом Ниско, западнее реки Сан, неподалеку от границы с СССР, они обнаружили «территорию больших размеров, с деревнями и рыночными площадями, и мы сказали себе: вот то, что нам надо, и почему бы не пе-

реселить отсюда поляков, тем более, что сейчас начались такие переселения», а это место подходит «для решения еврейского вопроса», потому что дает евреям почву под ногами, во всяком случае, на какое-то время.

Сначала все было хорошо. Они пошли к Гейдриху, и тот согласился с ними и дал разрешение начинать работу. Просто так сложилось — а Эйхман в Иерусалиме забыл об этом, — что их предложение совпало во времени со всеобъемлющим планом самого Гейдриха, соответствующим новой стадии «окончательного решения». На совещании глав отделов РСХА и руководителей действующих в Польше *зйнзацgruppen*, состоявшемся 21 сентября 1939 г., Гейдрих огласил новейшую директиву относительно концентрации евреев в гетто, создании там *юдентратов*, и депортации всех евреев в генерал-губернаторство. Эйхман присутствовал на этом совещании, выдвинув там идею о создании «Еврейского центра эмиграции» — что было подтверждено в ходе процесса, на основе прокола этого совещания, обнаруженного сотрудниками Бюро Об полиции Израиля в Национальном архиве в Вашингтоне. Таким образом, инициатива Эйхмана, или Шталекера, оказалась ни чем иным, как конкретным планом реализации директивы Гейдриха. И тысячи евреев, в основном из Австрии, были в спешке депортированы в это Богом забытое место, которое — как разъяснил им эсэсовец Эрих Раякович (впоследствии ему будет поручена депортация голландских евреев) «должно стать, по желанию фюрера, новой родиной для евреев. Там, правда, нет домов и вообще жилья — но если вы его построите, то получите крышу над головой. Там нет воды, а в колодцах бактерии холеры, дизентерии и тифа, но если вы выкопаете новые колодцы, то у вас будет вода». А затем, как жаловался Эйхман, начались трения с Гансом Франком, которого они «забыли» известить о том, что происходит на «его» территории. «Франк послал петицию в Берлин, и началась серия конфликтов. Франк хотел решать еврейский вопрос самостоятельно. Он возражал против того, чтобы в его генерал-губернаторство прибывали новые евреи. А те, кто уже был привезен — должны быть отправлены назад». И они действительно были отправлены назад, и те, кто вернулись в Вену, получили в своих документах полицейскую отметку: «Отсутствовали в связи с прохождением профессиональной подготовки» — можно подумать, будто они побывали в сионистских трудовых лагерях.

Стремление Эйхмана заполучить хоть какую-то территорию для «своих» евреев следует рассматривать с учетом развития его карьеры. План Ниско родился, когда его продвижение по службе было быстрым и уверенным — возможно, он видел себя будущим губернатором, вроде Франка, или имперским протектором, вроде Гейдриха — в своем «еврейском государстве». Неудача, которую он потерпел, должна была послужить ему уроком и продемонстрировать как возможность, так и уместность «частных инициатив». А поскольку они со Шталекером действовали в рамках директивы Гейдриха, получив от него разрешение, то это возвращение венских евреев домой, это очевидное, пусть и временное, поражение полиции и СС, утвердило его в мысли, что при всем росте значимости его подразделения у него имеются могущественные противники в государственных и партийных структурах, которые не останутся перед открытым противодействием, чтобы хоть как-то поддержать свой пошатнувшийся авторитет.

Вторая попытка Эйхмана «дать евреям почву под ногами» — это его Мадагаскарский проект. План эвакуации четырех миллионов евреев из стран Европы на принадлежащий Франции остров у юго-восточного побережья Африки, площадью около 587 тыс. кв. км, с численностью коренного населения 4,37 млн. чел., родился в министерстве иностранных дел и затем был передан в РСХА, поскольку, по словам д-ра Мартина Лютера, занимавшегося в МИДе еврейским вопросом, «только у полиции имеются опыт и технические возможности переселить такое количество людей, при соблюдении порядка как в процессе, так и после переселения». Во главе этого «еврейского государства» должен быть поставлен полицейский губернатор, подчиняющийся непосредственно Гиммлеру. Эйхман, перепутавший Мадагаскар с Угандой, говорил, что этот проект — «мечта еврейского поборника еврейского государства Теодора Герцля», но эта мечта уже приходила в голову — сначала польским правительственным чиновникам, которые в 1937 г. рассматривали такую возможность, но пришли к выводу, что вряд ли удастся переправить туда три миллиона польских евреев и что они практически все погибнут, причем многие еще по дороге, а затем французскому министру иностранных дел Жоржу Бонне, который намеревался переправить туда 200 тысяч находившихся во Франции евреев иностранного происхождения. В 1938 г. он даже

советовался по этому поводу с немецким министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом. Во всяком случае, Эйхману было поручено, летом 1940 г., когда эмиграция стала абсолютно неосуществимой, представить детальный план переселения четырех миллионов евреев на Мадагаскар, и он работал над этим проектом еще год, вплоть до начала войны с СССР. (Четыре миллиона — это не то количество евреев, высылка которых могла бы сделать Европу *юденрайн*. В это число, со всей очевидностью, не включались три миллиона польских евреев, массовые убийства которых, как известно, начались с первых дней войны.) Вряд ли кто-либо, кроме Эйхмана и еще нескольких его сотрудников, когда-либо принимал этот план всерьез — по ряду причин: территория острова, будучи малоприспособленной для жизни, была к тому же французским владением; далее, план предусматривал перевозку четырех миллионов человек морским путем — это в разгар военных действий, когда британские военноморские силы сохраняли контроль над всем Атлантическим океаном. Мадагаскарский план всегда рассматривался как прикрытие для приготовлений к физическому уничтожению всех евреев Западной Европы (для уничтожения польских евреев такого прикрытия не потребовалось!), и главным его свойством было то, что он давал понять всем, кого это касалось: самое малое, на что намерен пойти фюрер (всегда опережавший как минимум на шаг самых рьяных антисемитов), это полная эвакуация евреев из Европы, — никакие особые законодательства, никакую «диссимиляцию», никакие гетто он не считал достаточными мерами. Когда, год спустя, Мадагаскарский проект был объявлен «устаревшим», то все оказались психологически готовыми к следующему этапу: если не существует территорий, куда можно «эвакуировать» евреев, значит, существует лишь единственное «решение» — уничтожение.

Эйхман всячески дает понять, что он и не предполагал наличие столь зловещих планов. А что касается неудачи с Мадагаскаром, то это объясняется всего лишь недостатком времени; время же было попусту растрачено на борьбу с непрекращающимся вмешательством в его дела других структур и учреждений. В Иерусалиме и следствии, и суд предпринимают все усилия, чтобы вывести его из состояния такого самодовольного спокойствия. Ему предъявляют два документа, относящиеся к совещанию 21 сентября 1939 г., о котором шла речь выше. Один до-

кумент — это телетайпное сообщение, подписанное Гейдрихом и содержащее ряд директив, адресованных *эйнзацгруппен*, в котором впервые подчеркивается различие между «окончательной целью, для достижения которой потребуется больше времени» (эта формулировка объявляется «совершенно секретной»), и «этапами достижения этой окончательной цели». Словосочетания «окончательное решение» еще не существует, и в самом документе не определяется смысл выражения «окончательная цель». Таким образом, Эйхман мог бы сказать, что «окончательная цель» понималась как реализация Мадагаскарского проекта, документы которого в это время перебрасывались из одного учреждения в другое; кроме того, для осуществления массовой эвакуации необходимо было, на предварительном этапе, осуществить концентрацию всех евреев. Однако Эйхман, внимательно ознакомившись с документом, сразу же согласился, что выражение «окончательная цель» могло означать лишь «физическое уничтожение», и добавил, что «эта идея уже укоренилась в головах высшего руководства, то есть, людей на самом верху». Это, возможно, было правдой, но тогда ему следовало бы признать Мадагаскарский проект не более чем «фикцией». Ничего подобного он не сделал; он ни разу не отступил от своей версии этого проекта — возможно, он просто не в состоянии был это сделать. Такое ощущение, что вся эта мадагаскарская история была записана в его мозгу на другой пленке, и он неизменно проигрывал эту пленку, защищаясь от любых доказательств, аргументов, догадок и информации.

В его памяти отложилось некоторое «временное затишье» в действиях против евреев Западной и Центральной Европы в период между началом войны и вторжением Германии в СССР (это притом, что Гитлер в своей речи, произнесенной в рейхстаге 30 января 1939 г., «пророчествовал»: война приведет к «уничтожению еврейской расы в Европе»). В этот период различные структуры как в пределах рейха, так и на оккупированных территориях, предпринимали всесторонние усилия по уничтожению евреев, но это делалось не в рамках некоей единой политики. Складывалось такое ощущение, что у каждой структуры имелся свой вариант «решения», и они применяли их на практике, а также препятствовали аналогичным действиям конкурирующих структур. Решением Эйхмана было создание полицейского государства, и для этих целей ему

была необходима территория значительных размеров. Все его «усилия оказались тщетными, из-за недопонимания коллег», а также из-за «соперничества», ссор, пререканий, потому что каждый «стремился доминировать». А потом оказалось, что время упущено, поскольку «война с Россией разразилась неожиданно, как удар грома». Наступил конец его мечтаний, окончилась «эра поиска решений, удовлетворяющих обе стороны». Настал также, цитируя аргентинские мемуары Эйхмана, «конец эры, в которой существовали законы, правила, постановления, регулирующие положение отдельных евреев». Более того, он полагал, что настал конец его карьере, и его опасения не были безосновательными, поскольку его отдел перестал быть ведущей структурой, как только закончился период «принудительной эмиграции» и развеялись «мечты» о создании еврейского государства под нацистским управлением. Теперь, при переходе к «окончательному решению», отдел превратился в структуру «второго сорта», поскольку мероприятия по реализации «окончательного решения» были переданы в ведение других организаций и даже другого Главного управления. Эти «другие организации» формировались из убийц, действовавших в тылу Восточного фронта, в чьи задачи входили массовые убийства гражданского населения, и в первую очередь евреев. «Другое» Главное управление – это Главное административно-хозяйственное управление (ВФХА), возглавляемое Освальдом Полем, к которому Эйхман теперь должен был обращаться всякий раз, когда ему требовалось найти место для высылки каждой новой группы евреев. Решения ВФХА принимались с учетом «возможностей» лагерей уничтожения, а также потребностей в рабской рабочей силе, поскольку целый ряд промышленных предприятий создал свои филиалы вблизи крупных концлагерей. (Такие филиалы в районе Освенцима и Люблина создавали не только небольшие по масштабу предприятия системы СС, но и гиганты немецкой промышленности И. Г. Фарбен, Крупп, Сименс-Штукерт. Сотрудничество между СС и деловым миром было взаимопользным и плодотворным, о чем свидетельствует, например, комендант Освенцима, рассказывая о своих деловых контактах с представителями И. Г. Фарбен. Что же касается условий на этих предприятиях, то смерть от непосильного труда была одной из задач администрации; так, из приблизительно 35 тысяч

евреев, работавших на предприятиях И. Г. Фарбен, умерли по меньшей мере 25 тысяч.) Что же касается Эйхмана, то он осознал, что эвакуация и депортация уже не рассматривались как окончательная стадия «решения». Таким образом, у него лично имелись все основания «быть разочарованным и озлобленным», когда Мадагаскарский проект был положен на полку; единственное, чем он мог утешаться, так это полученным в октябре 1941 г. званием оберштурмбанфюрера (подполковника).

Последний раз Эйхман попробовал предпринять нечто по своей инициативе в сентябре 1941 г., три месяца спустя после вторжения в СССР. Тогда Гейдрих, сохраняя должности шефа политической полиции и службы безопасности, был назначен на пост «имперского протектора Богемии и Моравии». На созванной им по этому случаю пресс-конференции он пообещал, что через восемь недель его Протекторат станет *юденрайн*. После пресс-конференции он провел совещание с теми, кому предстояло претворить его обещание в жизнь — с Францом Шталекером, тогдашним шефом политической полиции Праги и заместителем госсекретаря Карлом Германом Франком, бывшим лидером судетских немцев, который после гибели Гейдриха занял его пост протектора. Франк, по мнению Эйхмана, был мерзким типом, юдофобом вроде Штрейхера, который «не имел ни малейшего представления о политических путях решения проблем»; это был один из тех, кто «самозабвенно и, скажу напрямую, будучи опьяненным властью, просто отдавал приказы и распоряжения». Но в целом совещание прошло в хорошей атмосфере. Впервые Эйхман узнал Гейдриха «с человеческой стороны»; Гейдрих сказал, «с очаровательной прямоотой»: «порой случается, что у меня с языка срывается то, чего не следует говорить» — что, впрочем, не было новостью для тех, кто хорошо знал этого «честолюбивого и импульсивного человека». И затем он сказал: «У нас сейчас царит полный беспорядок в еврейских делах; что же мы будем делать дальше?» На это Эйхман ответил: «Есть одна возможность. Следует найти достаточно большую территорию, чтобы собрать там всех евреев протектората». И тут, к сожалению, вмешался юдофоб Франк и предложил отвести такое место в Терезиенштадте. На это Гейдрих, также опьяненный властью, отдал приказ о немедленной эвакуации чешского населения из Терезиенштадта, с тем, чтобы освободить там место для евреев.

Эйхман был послан ознакомиться с ситуацией, и его ждало огромное разочарование. Старинный богемский город-крепость на берегу реки Эгер, слишком маленький для 90 тысяч евреев Богемии и Моравии, годный разве что для организации пересыльного лагеря. (Там действительно был организован пересыльный лагерь для 50 тысяч чешских евреев, посылаемых в Освенцим, притом, что еще примерно 20 тысяч были доставлены в Освенцим напрямую.) Нам известно, из других источников, более достоверных, чем дырявая память Эйхмана, что Гейдрих с самого начала собирался организовать в Терезиенштадте специальное гетто для определенных привилегированных категорий евреев: в основном, хотя и не исключительно, немецких евреев — функционеров, заслуженных людей, ветеранов войны с высокими наградами, инвалидов, еврейских партнеров в смешанных браках и немецких евреев в возрастах 65 лет и старше. Город оказался слишком маленьким даже для этих категорий, и в 1943 г., примерно год спустя после организации лагеря, его стали «прореживать» (*auflockern*), направляя эшелон за эшелонам в Освенцим. В одном, однако, память Эйхмана не подвела его: Терезиенштадт и в самом деле стал единственным лагерем, не оказавшимся в ведении Главного административно-хозяйственного управления СС (ВФХА). Лагерная администрация принадлежала к тому же Главному управлению, что и Эйхман, и все они были ниже его по званию. Это был единственный лагерь, где Эйхман располагал хоть какой-то властью и полномочиями, которые приписывались ему обвинителем на процессе.

Вспоминая, Эйхман перепрыгивал от одного события к другому и был не в ладах с хронологией, хотя нельзя сказать, что все его воспоминания были хаотичны. Его память скорее напоминала склад, забитый различными историями, представляющими общественный интерес, причем историями самого худшего свойства. Вспоминая о Праге, он с удовольствием рассказал о том, как был допущен к участию в совещании, проводимом великим Гейдрихом. На одном из следующих допросов он упомянул о поездке в Братиславу, в Словакию, причем эта поездка по времени совпала с покушением на Гейдриха. Эйхман был гостем Сано Маха, министра внутренних дел марионеточного словацкого правительства, находившегося под немецким влиянием. (В этом антисемитски настроенном католическом правительстве Мах представлял немецкую версию антисемитизма: он отказывался

делать исключение для крещеных евреев и был одним из тех, кто нес личную ответственность за практически полную депортацию словацкого еврейства.) Эйхману так хорошо запомнилась эта поездка, потому что для него было большой честью получить приглашение от члена кабинета. Мах, по воспоминаниям Эйхмана, был простым в обращении человеком, пригласившим его сыграть партию в кегли. Неужели у него не было других дел в Братиславе, в разгар войны, кроме как играть в кегли с министром внутренних дел? Похоже, что нет. Эйхман прекрасно помнил, как они играли, и как был сервирован столик с легкой закуской — когда было получено сообщение о покушении на Гейдриха. Четыре месяца и 55 магнитофонных пленок спустя, капитан Лесс, проводивший допрос Эйхмана, вернулся к этому дню, и Эйхман повторил ту же историю, практически слово в слово, добавив, что этот день стал для него «незабываемым», потому что был убит его начальник. В ходе этого допроса ему был предъявлен документ, гласивший, что его послали в Братиславу с тем, чтобы «обсудить ход эвакуации евреев из Словакии». Он сразу же признал, что его действительно командировали не для игры в кегли — «Да, да, разумеется, был документ из Берлина...» Солгал ли он следствию, причем два раза подряд? Вряд ли. Эвакуация и депортация евреев были для него повседневными делами — а вот что запало в память, так это приглашение министра, игра с ним в кегли и получение новостей о покушении на Гейдриха. И еще одно характерно для его памяти: он не помнил, в каком году это случилось, когда именно Гейдрих был убит чешскими патриотами.

Будь у него не так плохо с памятью, он вообще бы не завел рассказ о Терезиенштадте — потому что это было время, когда закончилась эра «политических решений» и начиналась эра «физических решений». Он и сам признал — в ходе другого допроса и совершенно спонтанно, — что к этому моменту он уже был информирован о приказе фюрера относительно «окончательного решения». Сделать Богемию и Моравию в это время *юденрайн* могло означать только одно: концентрация евреев и депортация в места, откуда их затем переправляли в лагерь уничтожения. Другое дело, что лагерь в Терезиенштадте создавался с другой целью, он должен был стать образцово-показательным для всего внешнего мира, местом, куда допускались представители Международного Красного Креста; впрочем, Эйхман об этом тогда не знал, да и вообще это было вне пределов его компетенции.

Адольф Эйхман в 20-е годы, Германия



*Адольф Эйхман
в нацистской форме*

Адольф Эйхман



*Адольф Эйхман в
Аргентине*



*Адольф Эйхман в
иерусалимской
тюрьме*



Фотографии
Адольфа Эйхмана
из полицейского
досье

מוכנס מביעת אצבעות

1953
14 3 1953

132
132

132

תאריך הכנסה
מספר הידועה אשר הועברה
1953

שם
תאריך

המספר הידועה של הידועה אשר הועברה

1 2 3 4 5

אשרה אצבעות שם י



Иерусалим.
Здание
Бет-ха-Ам
(Народный
дом), где про-
ходил процесс
Эйхмана

SCENE OF TRIAL: Guard patrols roof of Beit Haam, the Jerusalem, where trial of Adolf Eichmann, former Nazi offi



Зал суда



*Адольф Эйхман
на скамье подсудимых*



*Участница восстания
в Варшавском гетто
Цивья Любеткин
выступает свидетелем
на процессе Эйхмана*



*Прокурор Гидеон Хаузнер
и защитник Эйхмана
д-р Серватиус*



Голда Меир в зале суда



*Министр финансов Леви Эшкол (слева),
будущий премьер-министр, в зале суда*



Публика в зале суда



*Полицейские выводят
из зала суда
потерявшего самообладание
зрителя*



Публика в зале суда

VI. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: УБИЙСТВО

Утром 22 июня 1941 г. Гитлер напал на Советский Союз, а через полтора-два месяца Эйхмана вызвали к Гейдриху в Берлин. В последние дни июля Гейдрих получил письмо от рейхсмаршала Германа Геринга, главнокомандующего военно-воздушными силами, премьер-министра Пруссии, генерального уполномоченного по вопросам Четырехлетнего плана и, что самое главное, второго, после Гитлера, человека в государственной системе (то есть, не в партийной иерархии). В письме Гейдриху предлагалось подготовить «общее решение [*Gesamtlösung*] еврейского вопроса в рамках территорий, находящихся под немецким контролем в Европе», а также представить «общие предложения по реализации окончательного решения [*Endlösung*] еврейского вопроса». К тому моменту, когда Гейдрих получил это послание, он — цитируя его письмо в адрес Верховного командования армии от 6 ноября 1941 г., «уже имел соответствующее поручение и на протяжении нескольких лет занимался подготовкой окончательного решения еврейского вопроса», а с момента начала военных действий на территории СССР на него были возложена задача создания *эйнзацgruppen* — специальных подразделений СС, с целью осуществления массовых убийств евреев, цыган и военнопленных на оккупированных территориях.

Гейдрих начал разговор с Эйхманом, сказав «несколько фраз относительно эмиграции», которая практически иссякла, хотя до подписания формального распоряжения Гиммлера, запрещающего всякую эмиграцию евреев, за исключением особых случаев, которое было вручено Эйхману лично, оставалось еще несколько месяцев. Затем Гейдрих сказал: «*Фюрер отдал приказ о физическом уничтожении евреев*». После этого он «достаточно длительное время сидел молча, что было абсолютно не в его привыч-

как», как бы желая, чтобы «я проникся значением сказанных слов. Я помню все это, как сегодня. В первую секунду я даже был не в состоянии осознать всю значимость услышанного, потому что обычно он очень тщательно подбирает слова; затем я все понял, но ничего не сказал в ответ — потому что мне нечего было сказать. Мне и в голову не могло прийти такое жестокое решение. Я утратил все, всю радость от выполняемой работы, всю свою инициативу, весь интерес. Не только мои планы, но и вся моя жизнь была разрушена и расстроена. Затем он сказал мне: «Эйхман, отправляйтесь в Люблин, к Глобчнику [один из представителей Гимmlера в правительстве]; рейхсфюрер [Гимmlер] уже дал ему соответствующие указания, посмотрите, что ему удалось сделать по состоянию на сегодняшний день. Насколько я понимаю, он использует для захоронения вырытые русскими противотанковые рвы». Я по сей день помню все это, я никогда не забуду этого до конца моей жизни. На этом наша беседа кончилась...» Эйхман почему-то не вспомнил в Иерусалиме (хотя и помнил, когда писал мемуары в Аргентине) одно весьма важное для него обстоятельство — а ведь это вопрос, связанный с тем, в какой мере он несет личную ответственность за массовые убийства. Гейдрих совершенно определенно сказал ему, в заключение разговора, что все операции по массовому уничтожению будут осуществлять Главное административно-хозяйственное управление СС (ВФХА), а не возглавляемое Гейдрихом РСХА, в состав которого входит и подразделение Эйхмана. И еще он сказал, что все эти операции будут иметь официальное кодовое название «окончательное решение».

Эйхман, безусловно, не был в числе самых первых, кого уведомили о решении Гитлера. Мы уже знаем, что Гейдрих занимался этим вопросом на протяжении нескольких лет, то есть, видимо, сразу после начала войны, и Гимmlер говорил, что он был осведомлен о таком решении сразу после поражения Франции летом 1940 г. (и будто бы высказал свое с ним несогласие). Виктор Брак, ответственный сотрудник Канцелярии Гитлера, свидетельствовал на Нюрнбергском процессе, что в марте 1941 г., то есть почти за полгода до разговора Гейдриха с Эйхманом, «в высших кругах партийного руководства уже знали о намерениях физического уничтожения евреев». Но Эйхман (и это он безуспешно пытался объяснить в Иерусалиме) никогда не принадлежал к партийной элите, и ему сообщалось ровно столько, сколько он дол-

жен был знать для выполнения своих конкретных и ограниченных обязанностей. Действительно, он был одним из первых в низших эшелонах власти, кого проинформировали относительно этого «совершенно секретного» вопроса, гриф секретности с которого не был снят даже тогда, когда новости распространились по всем партийным и государственным учреждениям, в деловых кругах (среди тех, кто использовал рабский труд заключенных), а также среди офицерского состава вооруженных сил. Эта секретность, кстати, имела определенный практический смысл. Те, кто был информирован о приказе фюрера, переходили из категории «носители приказов» (*Befehlsträger*) в более высокую категорию «носители секретов» (*Geheimnisträger*), и давали особую клятву. (Сотрудники секретных служб, к числу которым Эйхман принадлежал с 1934 г., обязаны были давать такого рода клятву вне зависимости от прочих обстоятельств.)

Далее, вся документация по этому вопросу составлялась на основе строжайших «языковых правил», и — если не считать докладов о функционировании *эйнзацгруппен*, — вряд ли можно было встретить официальный документ, содержащий такие слова, как «уничтожение», «ликвидация», «убийство». Для «убийства» были предписаны такие кодовые выражения, как «окончательное решение», «эвакуация» (*Aussiedlung*) и «особые меры» (*Sonderbehandlung*). «Депортация» обозначалась как «переселение» (*Umsiedlung*) или «работа на Востоке» (*Arbeitseinsatz im Osten*), с учетом того обстоятельства, что евреев действительно переселяли в гетто и что некоторая доля из них использовалась, на протяжении некоторого времени, на различных работах. Что же касается тех, кого депортировали в Терезиенштадт, гетто для привилегированных евреев, то в этих случаях использовалось выражение «перемена места жительства». В ряде особых случаев считалось целесообразным прибегать к еще более завуалированным выражениям. Так, например, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел выступил с предложением, чтобы в переписке с Ватиканом убийство евреев называлось «радикальным решением», и это считалось тонким ходом, поскольку католическое марионеточное правительство Словакии, с которой у Ватикана существовали особые отношения, не было, с точки зрения нацистов, «достаточно радикальным» в своем антиеврейском законодательстве и совершало «серьезную ошибку», исключая приняв-

ших католичество евреев из категории преследуемых. Только между собой «носители секретов» имели право говорить, не прибегая к закамуфлированным выражениям, причем вряд ли они делали это в ходе выполнения своих служебных обязанностей — во всяком случае, не в присутствии секретарей, стенографисток и другого младшего персонала. С какой бы целью ни были придуманы эти «языковые правила», они в значительной степени способствовали сохранению как порядка в различных сотрудничающих службах, так и душевного равновесия их персонала. Более того, сам термин «языковые правила» (*Sprachregelung*) использовался как кодовое выражение — в повседневном языке это словосочетание должно было бы звучать как «ложь». Когда «носители секретов» вступали в контакт с человеком из внешнего мира — например, когда Эйхман сопровождал в Терезиенштадтском гетто представителей Красного Креста из Швейцарии — они получали, наряду с конкретными приказами, также и набор «языковых правил», который в данном случае включал сообщение о якобы разразившейся в Берген-Бельзене эпидемии тифа, поскольку швейцарские гости высказали пожелание посетить и этот лагерь. Однако основное предназначение этой языковой системы состояло не в том, чтобы оставить людей в неведении относительно того, что они делают, а чтобы они не ассоциировали свои действия с «привычными» понятиями, такими, как убийство или ложь. Пристрастие Эйхмана к дежурным фразам и клише, в сочетании с его органической неспособностью говорить нормальным языком, сделало его, разумеется, идеальным пользователем «языковых правил».

Система, однако, не обеспечивала абсолютной защиты от реальной действительности, и Эйхман довольно скоро в этом убедился. Он отправился в Люблин, чтобы встретиться с Одило Глобочником, бывшим гаулейтером Вены, хотя не для того, конечно, чтобы — как уверял обвинитель, — «лично передать ему секретный приказ об уничтожении евреев», который тот, разумеется, уже получил в свое время. В качестве пароля при встрече он сказал Глобочнику фразу «окончательное решение». Аналогичное утверждение обвинитель высказал и относительно встречи Эйхмана с Рудольфом Гессом, комендантом Освенцима, заявив, что последний также получил приказ фюрера через Эйхмана. Такого рода заявления лишь свидетельствуют о том, насколько

обвинитель не представляет себе всю систему бюрократических ходов и хитросплетений Третьего рейха. В действительности же Гесс показал на своем процессе, что он получил приказ непосредственно от Гимmlера в июне 1941 г.; при этом Гимmlер добавил, что некоторые детали ему сообщит Эйхман. Детали, пишет Гесс в своих воспоминаниях, касались использования газа, и Эйхман категорически это отрицает. Возможно, что здесь он прав, поскольку существуют и другие источники, противоречащие рассказу Гесса и утверждающие, что все, как устные, так и письменные, «приказы об уничтожении в лагерях» направлялись через каналы ВФХА и исходили либо непосредственно от главы ВФХА, обергруппенфюрера Освальда Поля, либо от бригаденфюрера Рихарда Глюкса, непосредственного начальника Гесса. Что касается «деталей», которые должен был обсудить Эйхман с Гессом, то они не имели никакого отношения к использованию газа; Эйхман должен был выяснить детали относительно «пропускной способности» Освенцима, то есть, сколько эшелонов в неделю следует направлять в лагерь.

Глобчик очень любезно встретил Эйхмана и отдал распоряжение «показать ему все хозяйство». Его провели по дороге через лес и показали несколько деревянных домиков. Полицейский капитан начал «вульгарным резким голосом» свои объяснения: «как у него все идеально устроено, как выхлопные газы от двигателя, снятого с русской подводной лодки, будут подведены к дому и как евреи будут отравлены. Мне все это казалось чудовищным. У меня вовсе не такие крепкие нервы, чтобы я мог переносить спокойно такие рассказы. Мне многие говорили, что я бы не смог быть врачом».

То, что видел Эйхман, было лишь подготовительными работами по строительству газовых камер для отравления угарным газом в Треблинке, одном из шести лагерей смерти в Восточной Европе, где за годы нацизма погибли сотни тысяч человек. Вскоре после этого, осенью того же года, он был послан своим непосредственным начальником Мюллером для инспекции центров уничтожения в западных областях Польши, которые отошли к рейху. Лагерь уничтожения находился в Хелмно, и там в 1944 г. погибло более трехсот тысяч евреев со всей Европы, которые, прежде чем попасть в этот лагерь, были «переселены» в гетто Лодзи. Конвейер смерти уже работал; использовались здесь не газовые камеры, а крытые грузовики, передвижные «душегубки». Вот что увидел

Эйхман: евреев заводили в большую комнату и приказывали раздеться; затем подгоняли грузовик, прямо к двери, и голые евреи заходили в крытый кузов. Дверь закрывалась, и включался мотор. «Я не могу сказать, какое количество евреев загоняли в каждый грузовик. Я не мог на все это смотреть, просто не мог смотреть. Они кричали, рыдали... Мне буквально выворачивало душу. По возвращении я сказал Мюллеру, что я не могу смотреть на такое. Но самое страшное было впереди: грузовик подогнал ко рву, и туда стали сбрасывать трупы. И прежде чем их засыпали землей, я видел, как пассатижами им вырывал золотые зубы. Больше я не был в состоянии выдержать — я забрался в свой автомобиль и не мог сказать ни единого слова. Я был конченным человеком. Помню только, как врач, сопровождавший грузовик, предложил мне заглянуть в специальное смотровое отверстие, но я отказался. Я потребовал, чтобы меня скорее увезли отсюда».

Вскоре, однако, Эйхману довелось увидеть нечто более страшное. Это было в Минске, куда его также послал Мюллер. «В Минске, — сказал он мне, — их расстреливают. Привезите мне отчет о том, как это происходит». Эйхман отправился в Минск, и сначала ему вроде бы повезло, потому что к моменту его приезда на место казни «почти все было уже кончено. Только несколько молодых солдат ходили вдоль рва и время от времени стреляли в головы уже лежащих там. Мой взгляд упал на женщину, лежащую во рву, и больше я уже не смог смотреть на это. Я почувствовал, что теряю сознание, и поспешил уйти оттуда». Возвращался он через Львов, а Львов был вполне австрийским городом, «и это привычное зрелище успокоило меня после всех ужасов. Городской железнодорожный вокзал был построен в годовщину шестидесятилетия правления императора Франца Иосифа, а Эйхман очень любил эти времена, потому что в родительском доме он слышал много хорошего о жизни в те дни и о том, как родители его мачехи (насколько можно судить, речь шла о ее еврейских родителях) занимали тогда достойное положение в обществе и были людьми обеспеченными. Вид вокзала вытеснил из его памяти все страшные подробности, увиденные в Минске. Но в этом прекрасном Львове он совершил серьезную ошибку. Он посетил местное эсэсовское начальство и в ходе беседы сказал: «Все, что я видел там — это просто ужас. Из молодых солдат делают садистов. Как же это может быть? Они спокойно расхаживают и стреляют в женщин и детей. Это невозможно. Они лишатся рассудка,

сойдут с ума». Но во Львове делали то же самое, и ему предложили посмотреть на экзекуцию, хотя он и попытался отказаться. Здесь он увидел еще одно «ужасающее зрелище». Ров уже был засыпан землей, но из-под земли сочилась кровь. Я никогда не видал такого. С меня было достаточно. Я вернулся в Берлин и доложил обо всем группенфюреру Мюллеру».

Но и это было не все. Хотя Эйхман сказал Мюллеру, что у него «не выдерживают нервы», что он никогда не был солдатом, не был на фронте, не участвовал в боях, и что теперь он не может спать и его мучают кошмары, Мюллер, тем не менее, девять месяцев спустя снова послал его в район Любека, где исполненный энтузиазма Глобчник уже закончил все подготовительные работы. По словам Эйхмана, это было самое ужасное зрелище в его жизни. Приехав, он не узнал прежнего места, с несколькими деревянными домиками. Тот же самый капитан с «вульгарным резким голосом» показал ему вновь построенную железнодорожную станцию «Треблинка», с виду ничем не отличающуюся от обычной станции где-нибудь в Германии: то же здание, те же вокзальные часы, те же вывески — одним словом, превосходная имитация. «Я старался держаться подальше, старался не подходить близко. И все же я не мог не видеть колонну раздетых евреев, которых загоняли в большое помещение, где их должны были отравить газом. Как мне объяснили, для этого использовалось нечто вроде циановой кислоты».

В самом деле, Эйхман многого не видел. Действительно, он часто бывал в Освенциме, самом большом и самом известном лагере смерти, но Освенцим, расположенный на большой территории в Верхней Силезии, не был лагерем уничтожения. Это было скорее крупное предприятие, с сотнями тысяч заключенных, среди которых были также и неевреи, и военнопленные, и те, кто были заняты каторжным трудом — и далеко не всем была уготовлена смерть в газовых камерах. Ему не обязательно было посещать зоны смерти, и Гесс, с которым у него были хорошие отношения, не настаивал на этом. Эйхман никогда не присутствовал при массовых расстрелах, никогда не видел, как убивают газом, никогда не был свидетелем процесса селекции, отбора годных для физических работ, доля которых в каждом эшелоне, прибывающем в Освенцим, составляла примерно 25 %. Однако он видел достаточно, чтобы составить представление о том, как действует механизм уничтожения: существовало два способа убийств

ва — расстрел и отравление газом; расстреливали *эйнзацgruppen*, а газом убивали в лагерях — либо в газовых камерах, либо в передвижных «душегубках», и в лагерях жертвы до последней минуты могли не знать, что их ждет.

Магнитофонные пленки допросов Эйхмана, расшифровки которых я цитирую, были воспроизведены в зале суда на десятом по счету заседании, на девятый день процесса, а всего суд заседал 121 раз, на протяжении почти девяти месяцев. Ничего из сказанного обвиняемым в ходе следствия не было опровергнуто на суде ни им самим, ни его защитником — ни одно из его показаний, произнесенных безжизненным голосом. Голос из динамика казался как бы вдвойне безжизненным, потому что человек, произносивший все эти слова, сидел молча в своей застекленной кабине. Д-р Серватиус ни разу не возразил в ходе прослушивания этих показаний, он лишь заметил, что «позже, во время защитительной речи», суду будут представлены другие фрагменты звукозаписи допроса обвиняемого — что так и не было сделано. Вообще складывалось впечатление, что защитник вполне может встать и покинуть зал, поскольку судебное разбирательство завершилось и виновность подсудимого, с точки зрения обвинителя, установлена. Факты дела, деяния Эйхмана — хотя и не все деяния, о которых говорил обвинитель — представлялись несомненными. Эти факты были установлены задолго до начала процесса, и сам обвиняемый неоднократно признал их. Этих фактов было достаточно, чтобы повесить его — о чем он сам неоднократно заявлял в ходе процесса («Вам разве и без того мало имеющихся у вас доказательств?» — спросил он, когда в ходе следствия была сделана попытка возложить на него ответственность за действия, которые были вне сферы его компетенции.) Но поскольку в сферу его компетенции входила доставка евреев в лагерь уничтожения, а не непосредственно уничтожение, то оставался — во всяком случае, формально, с юридической точки зрения, — вопрос: мог ли он быть осведомленным о последствиях своих действий. И еще один вопрос: был ли он в состоянии судить обо всей чудовищности своих действий, то есть, являлся ли он юридически ответственным за все содеянное, с учетом того обстоятельства, что врачи признали его вменяемым. На оба вопроса был получен утвердительный ответ: он видел места, куда доставлялись евреи, и он был потрясен увиденным. Оставался

еще один вопрос, самый, пожалуй, тревожный и болезненный, вопрос, который снова и снова задавал ему председательствующий: противоречило ли убийство евреев его нравственным принципам и убеждениям? Но поскольку этот вопрос — из категории этических, то ответ на него вряд ли может считаться относящимся к существу рассматриваемого судом дела.

Но хотя факты по делу были установлены, оставались еще два юридических вопроса. Вопрос первый: может ли он быть освобожден от уголовной ответственности, согласно параграфу 10 закона, по которой он обвиняется, то есть, не совершал ли он свои деяния «чтобы спасти свою жизнь под угрозой немедленной смерти»? И вопрос второй: не может ли он выставить в качестве оправдания некие смягчающие вину обстоятельства, о чем гласит параграф 11 этого же закона: то есть, не сделал ли он «все возможное для того, чтобы уменьшить тяжесть последствий своего деяния», либо «не предотвратил ли он последствия, более серьезные, чем те, что фактически имели место»? Очевидно, что включение параграфов 10 и 11 в Закон от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников имело своей целью привлечь во внимание судьбы «пособников нацистских преступников». Еврейские *Sonderkommandos* («специальные группы»), работавших в газовых камерах и крематориях, совершали уголовные преступления — но при этом «спасая свою жизнь под угрозой немедленной смерти»; члены *юденратов* сотрудничали с нацистами, чтобы «предотвратить последствия, более серьезные, чем те, что фактически имели место». Что же касается дела Эйхмана, то его показания дают ответ на оба вопроса, причем ответ этот — безусловно, отрицательный. Действительно, он как-то сказал, что единственной альтернативой для него было бы самоубийство, но это была ложь, поскольку мы знаем, как на удивление просто было для тех, кого назначали в расстрельные команды, отказаться от такого назначения, причем без особых для себя последствий. Впрочем, Эйхман не настаивал на этом своем заявлении, он не полагал, что его должны понять буквально. В материалах Нюрнбергского процесса отмечается, что «не существует ни единого документально подтвержденного случая, когда эсэсовцы были приговорены к высшей мере за отказ участвовать в казнях». И на самом процессе было сделано такое заявление, в показаниях свидетеля защиты фон дем Бах-Зелевски: «Существовала возможность уклониться от такого рода обязанностей, подав заявление

о служебном переводе. Строго говоря, в отдельных случаях заявитель должен был быть готовым понести дисциплинарное наказание. Однако никакой угрозы для его жизни такая позиция не представляла». Эйхман превосходно знал, что в его случае речь не идет о «классической ситуации» солдата, который может оказаться перед выбором «быть расстрелянным по приговору военно-полевого суда за неподчинение приказу или быть повешенным по приговору уголовного суда за выполнение этого приказа» — потому хотя бы, что юрисдикция военно-полевых судов не распространялась на эсэсовцев, и они могли предстать только перед эсэсовским трибуналом. В своем последнем слове на процессе Эйхман признал, что мог отказаться от выполнения некоторых обязанностей под тем или иным предлогом и что известны случаи, когда его коллеги так и поступали. Он же всегда полагал, что подобный шаг был бы «недопустимым», и даже во время суда считал, что это «не было бы достойным одобрения» и означало бы нечто большее, чем просто потеря хорошо оплачиваемой работы. Разговоры послевоенного времени об открытом неповиновении — это сказки и небылицы: «В тогдашних обстоятельствах такое поведение было просто невозможным. Никто так себя не вел. Это было немыслимо». Если бы его назначили на должность коменданта концлагеря, подобно его другу Гессу, то ему бы пришлось покончить жизнь самоубийством, поскольку он был неспособен убивать. (Гесс, кстати, в молодые годы совершил убийство; его жертвой стал некий Вальтер Кадов, человек, отдавший в руки французских оккупационных властей Лео Шлагетера, террориста-националиста, которого потом нацистская пропаганда превратила в национального героя. В Освенциме Гессу, разумеется, не приходилось убивать своими руками.) Впрочем, вряд ли Эйхману предложили бы такой пост, потому что те, кто отдавал в рейхе приказы, «превосходно знали, кто на что способен». Нет, его жизни не «угрожала немедленная смерть», а поскольку он всегда с гордостью называл себя «человеком долга», то, выполняя получаемые им приказы, он всегда старался сделать «последствия своих действий» скорее более, чем менее серьезными. В качестве единственного смягчающего вину обстоятельства Эйхман заявил, что всегда предпринимал меры, дабы «в максимально возможной степени не допускать ненужных страданий» при выполнении полученных им приказов. Однако, не говоря уж о том, так ли это было на самом деле, а также о том, что даже если это

имело место, все равно этого вряд ли было достаточно, учитывая характер получаемых им приказов, мы все равно должны признать заявление Эйхмана лишенным оснований, поскольку формула «не допускать ненужных страданий» обычно входила в список стандартных директив, сопровождавших названные приказы.

Таким образом, после того, как магнитофонные записи были заслушаны судом, смертный приговор обвиняемому стал предрешенным и неизбежным, в том числе и с чисто юридической точки зрения — если не считать возможности, что наказание могло быть смягчено на основе того соображения, что он действовал согласно приказам вышестоящих лиц, о чем также говорится в параграфе 11 вышеупомянутого израильского закона. Впрочем, преступления Эйхмана были настолько чудовищными, что такая возможность представлялась вряд ли вероятной.

Важно подчеркнуть, что защитник говорил не о приказах вышестоящих лиц, а о «государственных действиях», и требовал оправдания именно на этом основании — стратегия, которую д-р Серватиус уже опробовал, причем неудачно, на Нюрнбергском процессе, где он защищал Фрица Заукеля, уполномоченного по вопросам рабочей силы в канцелярии Геринга, ответственного за гибель десятков тысяч еврейских рабочих в Польше, который был повешен в 1946 году. «Государственные действия» — это «элемент выполнения монаршей воли» [см. E. C. S. Wade, в *British Year Book for International Law*, 1934], то есть, явление, находящееся вне юридических норм, тогда как все приказы и распоряжения попадают под юрисдикцию государства — по крайней мере, теоретически. Если определить все деяния Эйхмана «государственными действиями», то все деяния всех стоявших над ним лиц, начиная с главы государства Гитлера, становятся неподсудными ни одному из судов. Концепция «государственных действий» идеально отвечает общеправовым взглядам д-ра Серватиуса, и потому нет ничего удивительного в том, что он решил еще раз использовать такой подход на практике. Тут следует отметить, что, к счастью, мы имеем дело не с обычным судебным разбирательством, к ходу которого соображения и замечания, не имеющие непосредственного отношения к сути разбирательства, отвергаются как неуместные и не относящиеся к делу. Много было не столь однозначно, и целый ряд обстоятельств, при всей их незначительной юридической важности, был в высшей степени важен с политической точки зрения. Так, весьма интересно было

выяснить, сколько времени требуется среднему человеку для того, чтобы преодолеть свое врожденное неприятие идеи преступления и что происходит с ним после того, как он переходит эту грань. Дело Адольфа Эйхмана дает на этот вопрос в высшей степени четкий и ясный ответ.

В сентябре 1942 г., вскоре после своих служебных поездок в восточные центры уничтожения, Эйхман организует первую массовую депортацию евреев из Германии и Протектората, в соответствии с «пожеланием» Гитлера, который дал указание Гиммлеру сделать рейх *юденрайн* в максимально краткие сроки. Первыми эшелонами было отправлено 20 тысяч евреев из Рейнской области и пять тысяч цыган, и тут произошло нечто странное. Эйхман, который никогда не принимал собственных решений, который всегда старался получить однозначный приказ, избавлявший его от любых последствий, который — и об этом свидетельствуют все, с кем он работал — не любил выслушивать «пожелания» начальства и всегда требовал конкретных «директив», тут, «в первый и последний раз в жизни», выступил с инициативой, впрямую противоречащей полученному распоряжению. Вместо того, чтобы отправить эти эшелоны на советскую территорию, в Ригу или Минск, где все они сразу же по прибытии были бы расстреляны, он распорядился направить всех в гетто Лодзи, где, как он знал наверняка, узников не расстреливали, — потому хотя бы, что местное начальство во главе с неким Уебельхором изыскало способы получать доход от «своих евреев». (Гетто Лодзи было организовано в числе самых первых, а ликвидировано в числе последних; узники, которым посчастливилось не умереть от голода и болезней, оставались в живых до лета 1944 г.) Такое решение могло стать для Эйхмана источником значительных неприятностей. Гетто и так было на грани переполнения, и вышеназванный Уебельхор не хотел принимать новых людей и был не в состоянии разместить их. В ярости он пожаловался Гиммлеру, что Эйхман обманул его с помощью «штучек, свойственных лошадиным барышникам, которым он обучился у цыган». Гиммлер, равно как и Гейдрих, не дали Эйхмана в обиду, и инцидент скоро был исчерпан и забыт.

Забыт, в первую очередь, и самим Эйхманом, который не упомянул его ни в своих мемуарах, ни во время следствия. Будучи вызванным своим защитником для дачи показаний, Эйхман —

когда ему предъявили соответствующие документы — заявил, что это был вопрос «выбора»: «В первый и последний раз в жизни я стоял перед выбором. Я мог послать их в гетто Лодзи, несмотря на все имеющиеся там проблемы, и я мог послать их на восток. Поскольку я видел, как в лагерях готовились к приему евреев, я решил сделать все от меня зависящее, чтобы послать их в Лодзь». Защита, на основе этого эпизода, попыталась сделать вывод, что Эйхман спасал евреев, когда ему предоставлялась такая возможность — что, безусловно, было неправдой. Обвинитель, который затем подверг Эйхмана перекрестному допросу в связи с этим эпизодом, утверждал, что Эйхман самостоятельно определял маршруты эшелонов и, таким образом, сам решал, кого направлять в газовые камеры или на расстрел — обвинитель тоже был не прав. Объяснения Эйхмана, что он не нарушил приказ, а лишь воспользовался представившейся ему возможностью «выбора», также были далеки от истины, поскольку он знал о непростой ситуации в Лодзи, но главное — что в полученном им приказе четко было сказано: «Конечный пункт маршрута: Минск или Рига». Таким образом, хотя Эйхман вроде бы забыл детали этого эпизода, но это был единственный и несомненный случай, когда он спас жизни евреев. Три недели спустя, однако, на созванном Гейдрихом совещании в Праге, Эйхман сказал, что «лагеря, предназначенные для [русских] коммунистов [*эйнзацgruppen* имели указание ликвидировать эту категорию узников на месте и в первую очередь], могут также принимать евреев» и что он «пришел к договоренности по этому вопросу с местным лагерным руководством». Обсуждались также трудности, возникшие в гетто Лодзи, и было принято решение послать 50 тысяч евреев из рейха (то есть, Германии, Австрии, Богемии и Моравии) в центры действия *эйнзацgruppen* в Риге и Минске. Таким образом, мы, по всей видимости, можем дать ответ на вопрос судьи Ландау, занимавший мысли всех, следивших за ходом процесса: была ли у обвиняемого совесть. Да, у него была совесть, и его нравственные принципы выдержали испытание на протяжении почти четырех недель, после чего он отступился от них.

Но даже на протяжении тех считанных недель, когда он был в ладах со своей совестью, их взаимоотношения были ограничены определенными рамками. Не следует забывать, что несколько месяцев тому назад Эйхман был проинформирован о приказе фюрера. Эйхман знал об убийствах, которые совершают *эйнзацgruppen*

на Восточном фронте, и знал, что расстрелу подлежали все русские функционеры («коммунисты»), все представители польской интеллигенции и все евреи, проживающие на оккупированных территориях. Более того, в июле этого же года, за несколько недель до созванного Гейдрихом совещания, он получил памятную записку от эсэсовского офицера, в которой до его сведения доводилось, что в предстоящую зиму «евреев [в концлагерях] будет нечем кормить», после чего автор предлагал рассмотреть его предложение, суть которого сводилась к тому, что «гуманнее будет уничтожить всех евреев, которые не в состоянии работать — используя для этого быстродействующие средства. Это, во всяком случае, будет более приемлемым выходом, чем дать им умереть от голода». Несомненно, что приказ фюрера еще не был известен автору этой записки, но сам факт ее появления свидетельствует о том, что такие мысли уже стали возникать на значительно более низком уровне. По всей видимости, Эйхман не был особенно потрясен этой инициативой — ведь предложение касалось *местных* евреев, а не евреев рейха или западноевропейских стран. Таким образом, можно сказать, что совесть Эйхмана воспротивилась не вообще идее убийства — а идее убийства немецких евреев. («Я никогда не отрицал, что знал об имеющемся у *эйнзацгруппен* приказе убивать, но я не знал, что этот приказ распространяется и на евреев, эвакуируемых из рейха на восток. Вот этого я как раз и не знал».) Аналогичным образом совесть заговорила в Вильгельме Кубе, старом члене партии, *Generalkommissar* на советской оккупированной территории, который был буквально взбешен, когда узнал о том, что немецкие евреи, награжденные [в годы Первой мировой войны] Железным крестом, доставлены в Минск для «принятия особых мер». Кубе, умевший — в отличие от Эйхмана — выражать свои мысли ясно и четко, написал своему начальству в декабре 1941 г.: «Я, безусловно, человек твердых принципов и я готов содействовать решению еврейского вопроса, но я должен сказать, что люди, вышедшие из нашей культурной среды, — это, вне всякого сомнения, люди, отличающиеся от местных полуживотных». Не исключено, что сходные мысли мелькали и в голове Эйхмана на протяжении тех нескольких недель, когда в нем говорила совесть. Это возмущение «убийством людей, вышедших из нашей культурной среды», пережило нацистский режим, и сегодня среди немцев бытует убеждение, что жертвами массовых убийств при Гитлере были *только* евреи стран Восточной Европы.

Убеждение относительно того, что следует проводить различие между убийством «примитивных» и «культурных» народов — отнюдь не монополия немцев. Гарри Мулиш рассказывает, как во время выступления на процессе профессора Колумбийского университета Сало У. Барона, говорившего о культурных и духовных достижениях еврейского народа, ему неожиданно пришла в голову мысль: «Разве убийство евреев было бы меньшим злом, если бы они были людьми, не имеющими столь богатое культурное наследие, вроде цыган, которых нацисты также уничтожали? За что судят Эйхмана — за убийство человеческих существ или за разрушение культуры? Разве вина убийцы усугубляется тем, что он при этом еще и уничтожает культуру?» Когда он задал этот вопрос обвинителю на процессе, то выяснилось: «Он [Гидеон Хаузнер] считает, что да, я считаю, что нет».

Проблемы совести, столь мучительные в сегодняшнем Иерусалиме, стояли не менее остро и в годы нацистского режима. Более того, принимая во внимание тот факт, что участники антигитлеровского заговора (июль 1944 г.) очень мало говорили о массовых убийствах на востоке, как в своей переписке, так и в документах, которые они готовили для публикации после, как они надеялись, успешного покушения на Гитлера, возникает искушение сделать вывод, что нацисты переоценили, причем чрезмерно, практическую значимость этой проблемы. Можно, конечно, игнорировать ранние стадии немецкой оппозиции Гитлеру, когда это было антифашистское и преимущественно левое движение, участники которого, следуя своим принципам, не придавали особого значения вопросам морального характера и еще меньше внимания уделяли проблеме преследования евреев, поскольку и то, и другое, по убеждению левых, которые тогда доминировали на политической сцене, лишь «отвлекало» их от классовой борьбы. Более того, эти оппозиционные силы практически исчезли на протяжении рассматриваемого периода: их физически уничтожили в концлагерях и гестаповских застенках; полная занятость населения, обеспеченная благодаря развитию оборонной промышленности, лишила их борьбу экономической базы; их деморализовала тактика компартии, ориентированная на вступление в ряды национал-социалистов с целью подрыва гитлеровского движения изнутри. Те же, кто остался в рядах оппозиции по состоянию на начало войны — некоторые профсоюзные деятели, немногие интеллектуалы из числа «безродных левых», которые

не знали и не могли знать, имеется ли у них какая-то поддержка — все они обрели значимость лишь благодаря заговору, приведшему к 20 июля. Разумеется, совершенно недопустимо оценивать численность немецкой оппозиции на основе числа людей, отправленных в концлагеря. Накануне начала войны социально-политический состав заключенных был весьма пестрым, причем многие из них не имели абсолютно никакого отношения к сопротивлению. В их число входили: «абсолютно невиновные», в первую очередь, евреи; «асоциальные элементы», включая уголовников и гомосексуалистов; национал-социалисты, нарушившие некие внутренние партийные правила и нормы, и т. д. Во время войны лагеря в основном были заполнены участниками сопротивления со всех концов оккупированной Европы.

Июльские заговорщики в большинстве своем были фактически бывшими нацистами или занимали высокие посты в Третьем рейхе. Их противодействие было связано не с еврейским вопросом, а главным образом с оценкой военной политики Гитлера. Их постоянные конфликты между собой, а также и этические кризисы, определялись почти исключительно тем, в какой мере они расценивали свое поведение как нарушение клятвы верности Гитлеру и государственную измену. Более того, они стояли перед необходимостью выбора из двух зол: в дни успеха Гитлера они не могли ничего предпринять из опасения, что народ их не поймет, а в дни неудач и поражений они больше всего на свете боялись быть обвиненными в нанесении «удара ножом в спину». Их главное беспокойство было связано с тем, что они не сумеют преодолеть хаос и предотвратить гражданскую войну. Что касается путей решения проблемы, то они предлагали следующую формулировку: союзники должны продемонстрировать «благоразумие» и объявить «мораторий» до тех пор, пока не будет восстановлен порядок в стране — последнее условие, разумеется, включает восстановление боеспособности немецкой армии. Они располагали самыми надежными сведениями о ситуации на Восточном фронте и в прифронтовой полосе, но, несомненно, никто из них и подумать не смел, что лучшим выходом для Германии в сложившихся обстоятельствах было бы открытое неповиновение и гражданская война. Активное сопротивление в Германии обычно считалось прерогативой правого лагеря, но, принимая во внимание прошлое немецких социал-демократов, вряд ли можно полагать, что ситуация была бы принципиально иной, если бы левые играли

более значительную роль в движении заговорщиков. Во всяком случае, рассматриваемый вопрос является чисто академическим, поскольку, как справедливо заметил немецкий историк Герхард Риттер, в Германии в военные годы несомненно существовало «организованное социалистическое сопротивление».

По сути дела, общая ситуация была столь же простой, сколь и безнадежной: подавляющее большинство немецкого народа доверяло Гитлеру — даже после нападения на Советский Союз и столь страшившую всех войну на два фронта, даже после того, как в войну вступили Соединенные Штаты, собственно говоря, даже после Сталинграда и ренегатства Италии, даже после высадки союзных войск во Франции. Этому сплоченному большинству не могли противостоять немногие разрозненные противники режима, которые отчетливо представляли себе масштабы национальной и моральной катастрофы. Некоторые из них были знакомы между собой, были в близких отношениях, доверяли друг другу, делились друг с другом мыслями — но у них не было ничего похожего на план активных действий, у них даже не было таких намерений. И, наконец, существовала группа людей, которых впоследствии назовут заговорщиками, но и они не были в состоянии прийти к согласию между собой ни по одному из вопросов, включая главный: какова цель их заговора. Во главе заговорщиков стоял Карл Фридрих Герделер, в прошлом бургомистр Лейпцига, который, пробыв на службе при нацистах три года, в качестве инспектора по ценам, ушел в отставку довольно рано — в 1936 году. Сам Герделер был сторонником конституционной монархии. Вильгельм Лейшнер, представитель левых сил, социалист и бывший профсоюзный лидер, заверил его в поддержке «широких масс». В кружке Крейсау, под влиянием Хельмута фон Мольтке, сетовали, что «власть закона поправа», но основной идеей кружка было примирение двух христианских церквей, которые должны осуществить «свою святую миссию в светском государстве», в сочетании с безусловной поддержкой идеи федерализма.

По мере того, как военные действия продолжались и вероятность поражения возрастала, политические разногласия становились все менее значимыми, а необходимость политических действий все более необходимой. Впрочем, Герхард Риттер прав и тут, отмечая: «Если бы не решительность графа Клауса фон Штауфенберга, движение сопротивления погрязло бы в трясины»

беспомощного бездействия». Заговорщиков объединяло то, что они видели в Гитлере «мошенника», «дилетанта», который «принес в жертву армию, вопреки советам экспертов», «сумасшедшего», а также «сатану» и «воплощение всех зол», что для немца означает одновременно нечто большее и вместе с тем меньшее, чем такая весьма распространенная формула как «преступник и идиот». Но иметь такого рода мнения о Гитлере можно было, сохраняя «и членство в СС, и высокие государственные посты» [Фриц Гессе], и потому в кругу заговорщиков было немало людей, которые и сами глубоко погрязли в преступлениях режима — взять, например, графа Хеллдорфа, тогдашнего полицмейстера Берлина, который в случае победы заговорщиков должен был занять пост шефа германской полиции (согласно одному из предложенных Герделером списков нового кабинета министров), или Артура Небе из РСХА, возглавлявшего в свое время *зйнзацgruppe* на Восточном фронте! Летом 1943 г., когда направляемая Гиммлером машина уничтожения набрала максимальные обороты, Герделер рассматривал Гиммлера и Геббельса в числе потенциальных союзников, «поскольку эти двое осознают, что с Гитлером они могут только проиграть». Гиммлер в самом деле стал «потенциальным союзником» — в отличие от Геббельса, и он был полностью посвящен заговорщиками в их планы. Предпринимать меры против участников заговора он стал лишь после того, как те потерпели неудачу. Я цитирую по черновику письма Герделера фельдмаршалу фон Клюге, но такого рода сближения нельзя объяснить лишь «тактическими соображениями» относительно необходимости контактов с армейским командованием, поскольку именно Клюге и Роммель высказали уверенность, что «эти чудовища [Гиммлер и Геринг] должны быть ликвидированы», и Риттер, биограф Герделера, подчеркивает, что такого рода фраза «свидетельствует о страстной ненависти к гитлеровскому режиму».

Никто не отрицает, что эти люди, выступившие — пусть и с запозданием — против Гитлера, заплатили за это своими жизнями, смерть их была страшной, а их личное мужество достойным всяческого восхищения. Однако их действия не определялись моральным императивом или имеющейся у них информацией о страданиях других людей. Мотивацией для них служили опасения, что Германии грозит поражение и гибель. Нельзя также отрицать, что некоторые из них — в частности, граф Йорк фон

Вартенбург, могли прийти к политической борьбе, возмущенные «отвратительным антиеврейским подстрекательством в ноябре 1938 г.» [Риттер], когда синагоги были объаты пламенем. Многие — как верующие, так и просто суеверные — опасались Божественной мести за то, что некто осмелился поднять руку на Божий дом. Значительная часть высших армейских офицеров высказывала недовольство и обеспокоенность относительно так называемого «приказа о комиссарах», подписанного Гитлером в мае 1941 г., потому что стало ясно, что в ходе предстоящей военной кампании в СССР все советские должностные лица, а также все евреи, станут жертвами массовых убийств. В этих кругах высказывалось также беспокойство, что (по словам Герделера), «на оккупированных территориях осуществляются массовые убийства, в первую очередь, евреев, а также преследования на религиозной почве, и такого рода действия неизбежно оставят неизгладимый след в нашей собственной истории». Но, похоже, им не приходило в голову, что речь идет о существенно более значимом и более страшном, нежели опасения, что «это может сделать наши позиции [в ходе переговоров с союзным командованием относительно мирного договора] существенно более уязвимыми», что это «пятнает доброе имя немецкого народа и подрывает мораль армии». «Что же, ради всего святого, они сделали с нашей гордой армией!» — восклицал Герделер, услышав рассказ эсэсовского офицера о том, как пулеметчикам его подразделения было приказано расстрелять тысячи евреев, а потом засыпать рвы землей, «хотя кто-то еще подавал признаки жизни». И тем более им не приходило в голову, что подобного рода зверства в немалой степени определили позицию союзников, которые требовали от Германии безоговорочной капитуляции — хотя они-то называли такое требование «националистическим», «чрезмерным» и основанном на «слепой ненависти». В 1943 г., когда поражение Германии стало достаточно очевидным, и даже еще позднее, они все еще полагали, что имеют право вести переговоры с противником «на равных», требуя «справедливого мира», хотя превосходно представляли себе, что развязанная Гитлером война была несправедливой и совершенно неспровоцированной. Но еще более поразительными были их представления об условиях этого «справедливого мира». Герделер снова и снова пишет в своих меморандумах: «восстановление страны в границах 1914 г. [что означало аннексию Эльзаса и Лотарингии], с добавлением территорий Австрии

и Судетской области», а также «гарантия ведущего положения Германии в рамках Европы» и, возможно, присоединение Южного Тироля!

На основе официальных документов мы можем судить о том, как они собирались преподнести все это народу. Вот, например, черновик обращения к армии генерала Людвиг Бек, в котором он говорит об «упрямстве» и «некомпетентности» гитлеровского режима, о его «заносчивости и тщеславии». А в качестве «самого аморального деяния» режима он называет намерение нацистов «свалить на армейское руководство всю ответственность» за поражение страны, приведшее к национальному бедствию. Бек также говорит, что преступления, совершенные этим режимом, «запятнали бесчестьем весь немецкий народ и нанесли ущерб репутации, которой пользовались немцы в глазах всего мира». А каковы же действия, которые должны последовать за ликвидацией Гитлера? Немецкая армия продолжит свою борьбу, пока не будет заключен «почетный мир» — что означало захват Эльзаса-Лотарингии, Австрии и Судетской области. В самом деле, есть все основания согласиться с горьким и нелестным суждением относительно этих людей, которое высказал немецкий писатель Фридрих Рек-Маллешевен, погибший в концлагере буквально накануне падения нацистского режима и не принимавший никакого участия в этом заговоре. Узнав о попытке покушения на жизнь Гитлера, он пишет, в своем практически неизвестном «Дневнике отчаявшегося человека»: «Поздно вато, господа. Ведь вы сами сотворили этого погубителя Германии и покорно следовали за ним, пока все, по вашему мнению, шло хорошо. Вы без колебаний приносили все клятвы, которые он от вас требовал, и унизили себя до положения презренных лакеев этого преступника, повинного в убийствах сотен тысяч людей, оплакиваемых во всем мире, проклятия которого пали на ваши головы. И теперь вы предали его. Теперь, когда ваш крах и провал очевидны каждому, вы пытаетесь обеспечить себе политическое алиби — вы, которые предавали всех и каждого, кто стоял на вашем пути к власти».

Не существует никаких свидетельств, что Эйхман был знаком с людьми 20 июля — да и вряд ли это вероятно, поскольку даже в Аргентине он называл их предателями и подлецами. Однако если бы он смог ознакомиться с некоторыми «оригинальными идеями Герделера по еврейскому вопросу», то могли бы

обнаружиться некоторые точки соприкосновения. Так, Герделер предлагал «выплатить немецким евреям компенсацию за понесенные ими убытки и дурное с ними обращение» — это в 1942 г., когда рейх уже ведет войну на уничтожение не с одними только *немецкими* евреями, и когда евреи уже стали не просто «жертвами дурного обращения», а их расстреливают и уничтожают в газовых камерах. Впрочем, у Герделера имеются еще конструктивные предложения, которые он называет «постоянным решением» и которые могут «спасти [всех евреев Европы] от недостойного положения народа, являющегося в той или иной степени нежелательным гостем в Европе». (На языке Эйхмана это называется «дать евреям почву под ногами».) Для этих целей Герделер предлагает создание «независимого государства в какой-то колониальной стране» — например, в Канаде или Южной Америке (вариант Мадагаскарского плана, о котором он, несомненно, слышал). При этом он готов на некоторые уступки — не все евреи подлежат высылке. В соответствии с принципами, заявленными на ранних стадиях нацистского режима, предлагается не лишать гражданства тех евреев, которые могут доказать свои военные заслуги перед Германией, и тех, кто принадлежит к семьям, имеющим устоявшиеся немецкие традиции». Что ж, каким бы ни было «временное решение еврейского вопроса», предлагаемое Герделером, оно вовсе не было «оригинальным» — как его называет профессор Риттер, который даже в 1954 г. все еще восхищается своим героем; несомненно, Герделер нашел бы немало «потенциальных единомышленников» среди членов Национал-социалистической партии и даже среди эсэсовцев.

Герделер, в цитированном выше письме фельдмаршалу фон Клюге, обращается к «голосу совести» фельдмаршала. Речь, однако, идет о том, что даже высокопоставленный офицер должен понимать: «продолжение войны без шансов на победу — это безусловное преступление». Исходя из накопившихся доказательств, можно только сказать, что совесть как моральная категория, по всей видимости, прекратила свое существование в Германии, и поэтому не следует удивляться тому, что «новая совокупность германских ценностей» не находит понимания в мире, лежащем за пределами рейха. Сказанное, однако, не является безусловной истиной. Были в Германии люди, которые с первых дней нацистского режима и безо всяких колебаний находились в оппозиции к Гитлеру; может быть, их было сто тысяч, может

быть, больше, может быть, меньше — трудно сказать, потому что их голоса не были слышны. Они, однако, были повсюду, во всех слоях общества, среди простых людей и среди интеллигенции, во всех партиях, в том числе, возможно, и в Национал-социалистической. Известны имена лишь немногих — таких, как писатель Фридрих Рек-Маллешевен или философ Карл Ясперс. Некоторые из них были глубоко и искренне благочестивыми людьми, как, например, мой знакомый мастерской, который предпочел отказаться от своей собственной мастерской и пойти простым рабочим на завод, чтобы только избежать «маленькой формальности» — вступления в нацистскую партию. Были такие, кто, восприняв процедуру клятвы в высшей степени серьезно, предпочли отказаться от академической карьеры, чтобы только не присягать Гитлеру. Существовала не такая уж малочисленная группа в Берлине, в состав которой входили рабочие и интеллигенты, оказывавшие посильную помощь своим знакомым евреям. Или вспомним тех двух крестьянских парнишек, история которых рассказана в книге «Безмолвный бунт» Гюнтера Вейзенборна: их призвали в войска СС в самом конце войны, они отказались служить и были приговорены судом к смертной казни. В своих последних письмах они писали родителям: «Лучше умереть, чем запятнать свою совесть таким ужасным грехом. Мы ведь знаем, чем занимаются ээсовцы». Все эти люди, в массе своей не совершавшие никаких особенных поступков, в корне отличаются от заговорщиков. У них сохранилась способность отличать добро от зла, и у них никогда не было «кризиса совести». Их не назовешь ни героями, ни святыми, и они обычно хранили молчание.

Если внимательно изучить документы и прочие свидетельства, характеризующие тех, кто намеревался заменить Гитлера, в случае, если бы июльский заговор увенчался успехом, то можно только поражаться, как далеки они были от действительности. Разве можно реалистично объяснить все иллюзии Герделера, в том числе и его предположение, будто Гиммлер или тот же Риббентроп на последней стадии войны захотят вести переговоры с союзниками относительно судеб побежденной Германии. Положим, Риббентроп действительно был недалеким человеком, но Гиммлер, кем бы он ни был, никогда не был дураком.

Гиммлер как раз являлся тем человеком в нацистской иерархии, который обладал самыми большими способностями по

части решения проблемы совести. Он был автором популярнейших нацистских лозунгов, включая эсэсовский девиз «Моя честь — это моя верность» (одна из тех броских, демагогических фраз и словечек, которые Эйхман в простоте своей называл «крылатыми словами»). Эйхману особенно запомнилась одна из фраз Гиммлера, которую он часто повторял: «Это те битвы, которые не придется вести следующим поколениям» — имелись в виду битвы с женщинами, детьми, стариками и «лишними ртами». В числе других фраз Гиммлера были такие: «Умение стоять до конца и, если не считать незначительных исключений, объясняемых простой человеческой слабостью, оставаться при этом порядочным человеком — вот в чем секрет нашей силы». Или: «Это славная страница нашей истории, которая никогда не была написана и вряд ли будет написана». Или: «Приказ о решении еврейского вопроса — это самый страшный приказ из числа всех, когда-либо полученных нашей организацией». Или: «Мы ожидаем, что при выполнении этого приказа ты будешь «сверхчеловеком», то есть, «сверхчеловечески бесчеловечным». И, надо сказать, они не разочаровывались в своих ожиданиях. Следует, однако, отметить, что Гиммлер особенно не пытался обосновывать свои распоряжения, прибегая к идеологическим рассуждениям, а если и делал это, то его попытки вскоре оказывались забытыми. В головах его людей, ставших самыми настоящими убийцами, застреливали лишь простейшие фразы; им надо было внушать, что они являются участниками исторических, грандиозных, неповторимых событий («Такие великие задачи бывают раз в две тысячи лет»). Это было особенно важно, потому что эти люди не были садистами или убийцами по своей природе; более того, командование старалось регулярно избавляться от тех, кому убийства начинали приносить физическое удовольствие. *Эйнзацгруппен* комплектовались на основе частей СС, в чьих послужных списках было больше преступных деяний, чем у любого другого подразделения немецкой армии, а их старшие офицеры подбирались лично Гейдрихом из эсэсовской элиты и имели академические степени. Проблема состояла не в том, как решить их «проблему совести», а в том, чтобы они могли переступить через чувство сострадания, которые человек обычно испытывает, видя физические страдания другого человека. Гиммлер придумал очень простую и весьма эффективную штуку: изменять ориентацию инстинктов на противоположную, направляя их в свою пользу.

Иными словами, вместо того, чтобы думать «Как ужасно я поступаю с людьми», эти убийцы должны были говорить себе: «Какие ужасные вещи мне приходится видеть при выполнении моих обязанностей! Какая тяжелая задача возложена на меня!»

Изъяны памяти Эйхмана, связанные с запоминанием лозунгов Гиммлера, могут указывать на то, что существуют другие и более эффективные способы решения проблемы совести. К их числу, как совершенно верно предвидел Гитлер, относится и осознание того факта, что человек живет в условиях военного времени. Как неоднократно повторял Эйхман, «совершенно по-иному относишься к смерти, когда повсюду видишь убитых» — тогда и «мысль о собственной смерти воспринимается с безразличием». «Нам было все равно, умрем ли мы сегодня или завтра, и бывали ситуации, когда мы проклинали утро, заставшее нас все еще в живых». В этой всеобщей атмосфере насильственной смерти совершенно особым образом осознавалось то обстоятельство, что на более поздних стадиях «окончательного решения» вместо расстрелов (то есть, насилия) использовались газовые камеры, поскольку это ассоциировалось с «программой эвтаназии», которая в Германии применялась для уничтожения людей с психическими заболеваниями, и с первых же недель войны стала, по приказу Гитлера, вводиться в восточных концлагерях. Начиная с осени 1941 г., программа уничтожения осуществлялась в двух направлениях — отравление газами в лагерях и расстрелы. *Эйнзацgruppen* действовали в тылах Восточного фронта, и считалось, что их основная задача — борьба с партизанами; *эйнзацgruppen* осуществляли также массовые убийства представителей советской администрации, цыган, асоциальных элементов, психически больных и евреев. Евреи были включены в этот список как «потенциальные враги», и, к сожалению, лишь несколько месяцев спустя евреи смогли осознать это обстоятельство. Люди старшего поколения помнили, что в годы Первой мировой войны немецкие солдаты не причиняли никакого вреда мирному населению; никто — ни старые, ни молодые — не слышали ничего о судьбе евреев в Германии или Польше, они были, как сообщалось в отчетах немецкой разведки, «на удивление не информированы» [см. Raul Hilberg]. Более того, в эти районы доставляли немецких евреев, которые пребывали в полной уверенности, что их направили сюда как первопоселенцев Третьего рейха. *Эйнзацgruppen*, которых на первых порах было всего четыре, каждая численно-

стью около батальона, а всего не более трех тысяч, нуждались в помощи регулярной армии и с легкостью получали ее. Нередко армейское командование направляло своих солдат в распоряжение *эйнзацгруппен* для участия в расстрелах. Общее число убитых евреев составляло до полутора миллионов, но это не было еще результатом выполнения приказа фюрера об уничтожении всего еврейского народа. Это выполнялся более ранний приказ, данный Гитлером Гиммлеру в марте 1941 г., о подготовке полиции и войск СС «к выполнению специальной миссии в СССР».

Приказ Гитлера об уничтожении всех евреев, а не только польских и российских, был подписан позже, но готовился он загодя, причем не в РСХА и не в канцеляриях Гейдриха или Гиммлера, а непосредственно в личной канцелярии фюрера. Этот приказ не имел никакого отношения к военным действиям Германии и не содержал никаких ссылок на «необходимости военного времени». В работе Джеральда Рейтлингера [Gerald Reitlinger, *The Final Solution*] доказано, на основе документальных свидетельств, не оставляющих никаких сомнений в их достоверности, что программа уничтожения в восточных концлагерях с использованием газовых камер являлась развитием предложенной Гитлером программы эвтаназии, и очень жаль, что на процессе Эйхмана этому обстоятельству не было придано того значения, которое этот факт несомненно заслуживает. В частности, получил бы правильное освещение спорный вопрос относительно того, насколько Эйхман и РСХА несут ответственность за газовые камеры. Судя по всему, с этим был связан не сам Эйхман, а один из его подчиненных, Рольф Гюнтер, который занимался этим по собственной инициативе. Следует заметить, что, например, Глобчник, занимавшийся установкой газовых камер в Любине, когда ему нужен был дополнительный персонал, обращался с такой просьбой не к Гиммлеру, а непосредственно к Виктору Браку из личной канцелярии фюрера, который затем пересылал документы Гиммлеру.

Первые газовые камеры появились в 1939 г., в рамках приказа Гитлера от 1 сентября этого года, гласившего, что «неизлечимым больным должна быть предоставлена возможность милосердной смерти». (Возможно, такое «медицинское» «их происхождение легло в основу поразительного утверждения д-ра Серватиуса, будто бы убийство с использованием газа должно рассматриваться как «один из аспектов медицинского характера».) Сама

же идея газовых камер возникла раньше. Еще в 1935 г. Гитлер сказал главному медику рейха Герхарду Вагнеру, что «если начнется война, он займется практическими аспектами эвтаназии, потому что такие вещи легче делать в военное время». Соответствующий приказ был немедленно подписан, его действие распространялось на душевнобольных, и в период между декабрем 1939 г. и августом 1941 г. около 50 тысяч граждан Германии было убито с использованием угарного газа в соответствующих учреждениях, причем «комнаты смерти» там были замаскированы точно так же, как и в Освенциме — под душевые. Программа не оправдала надежд, которые возлагал на нее фюрер. Невозможно было сохранить все происходящее в тайне от населения, и начались акции протеста, причем в самых разных кругах общества (очевидно, со стороны тех, кто так и не смог проникнуть в сущность такого рода «медицинских аспектов» и осознать роль врачей в их осуществлении). На восточных территориях использование газовых камер — или, пользуясь нацистской терминологией, «гуманный способ» убийства путем «предоставления жертвам возможности милосердной смерти» — началось практически в тот же день, когда это было прекращено на территории Германии. Все, занятые реализацией программы эвтаназии в Германии, были переведены на восточные оккупированные территории и приступили к строительству сооружений, предназначенных для истребления целых народов; это были люди из личной канцелярии фюрера или управления здравоохранения рейха, и только на этой стадии их передали в административное подчинение Гимmlера.

Ни одно из всего арсенала «языковых правил», хитроумно придуманных для целей обмана и камуфляжа, не имело такого действенного эффекта на психику убийц, как этот первый приказ Гитлера, в тексте которого слово «убийство» было заменено словосочетанием «предоставление возможности милосердной смерти». Приказ о транспортировке людей в лагерь уничтожения обычно сопровождался стандартной директивой «не допускать ненужных страданий», и когда следователь спросил Эйхмана, не считает ли он такую директиву черной иронией, поскольку людей все равно везли на смерть, тот искренне не понял вопроса, поскольку он был твердо уверен: непростительный грех — это вовсе не убийство, а лишь причинение человеку ненужных страданий. В ходе процесса он несколько раз продемонстрировал

признаки искреннего возмущения, когда свидетели рассказывали о жестокостях и зверствах эсэсовцев — хотя ни судьи, ни тем более публика в зале суда ничего не заметили, поскольку он прилагал все усилия к тому, чтобы сохранять максимальное самообладание и благодаря этому создал впечатление человека бесчувственного и безразличного. Самое большое потрясение и смятение, однако, вызвали у него не обвинения в том, что он послал на смерть миллионы человек, а показания одного из свидетелей (не принятые, кстати, судом) относительно того, что он лично забил насмерть одного еврейского мальчика. Да, он также посылал людей в районы действия *зйнзацгруппен*, где людей расстреливали, а не «предоставляли им возможность милосердной смерти», но он почувствовал несомненное облегчение, когда на более поздних стадиях «окончательного решения» расстрелы стали ненужными благодаря постоянному увеличению мощностей газовых камер. Газовые камеры, возможно, стали для Эйхмана свидетельством того, что отношение нацистского правительства к евреям заметно улучшилось, поскольку в самом начале этой программы было четко сформулирован тезис: блага эвтаназии — исключительно для истинных германцев. По мере того, как продолжались военные действия, и повсюду — на русском фронте, в африканской пустыне, в Италии, на побережье Франции, в руинах немецких городов царила жестокая смерть, газовые камеры Освенцима и Хелмно, Майданека и Белжеца, Треблинки и Собибура во все большей степени становились «благотворительными учреждениями для медицинских нужд», как их именовали эксперты «милосердной смерти». Известно также, что, начиная с января 1942 г., группы этих экспертов действовали на Восточном фронте, чтобы «оказывать помощь раненым в дни сильнейших морозов», и хотя убийства раненых солдат также проходили под грифом «совершенно секретно», об этом знали многие и многие.

Как неоднократно указывалось, нацисты были вынуждены отказаться от использования газа при уничтожении душевнобольных в Германии, поскольку это вызывало протесты населения, поддержанные церковными деятелями высокого сана. Однако никаких протестов не последовало, когда жертвами экспертов «милосердной смерти» стали евреи, хотя некоторые из таких центров уничтожения находились на территории Германии и даже непосредственно в жилых кварталах. Впрочем, названные протесты высказывались преимущественно в первые военные го-

ды; в дальнейшем отношение населения к «безболезненной смерти с использованием газа» менялось. Подобного рода вещи всегда трудно доказуемы: документы не сохраняются, ввиду их безусловной секретности, и никто из военных преступников ни разу и ни словом не обмолвился об этом, даже подсудимые на процессе врачей в Нюрнберге, которые преимущественно изъяснялись цитатами из специальной иностранной литературы по этой проблематике. Однако в дневниках военного времени, которые вели люди, заслуживающие доверия, сохранилось несколько рассказов, поистине бесценных для характеристики тех времен.

Писатель Рек-Маллешевен, о котором шла речь выше, рассказывает о визите некоей дамы-активистки в баварскую деревню летом 1944 г. Она не тратила времени на разглагольствования о «чудесном оружии» и окончательной победе, а сразу же перешла к печальной перспективе поражения, о чем, впрочем, добрым немцам не следует беспокоиться, поскольку фюрер «в своей безграничной доброте обеспечит всему немецкому народу милосердную смерть путем использования газа». И писатель продолжает: «Нет-нет, я ничего не преувеличиваю. Я видел ее своими глазами: дамочка за сорок, тощая, пожелтевшая, с безумными глазами... И чем же кончился этот эпизод? Неужели баварские крестьяне как минимум не столкнули ее в деревенский пруд, чтобы чуть-чуть остудить ее энтузиазм? Да ничего подобного. Они просто разошлись по домам, недоуменно покачивая головами».

Другая история, пожалуй, еще более красноречива, поскольку ее герой — это не «активист» и, наверное, даже не член Национал-социалистической партии. Место действия — Кенигсберг, в Восточной Пруссии, то есть, в совершенно другом районе Германии; время действия — январь 1945 г., за несколько дней до того, как русские разрушили город, заняли его, а затем аннексировали всю область. Историю рассказал граф Ганс фон Ленсдорф в своей книге *Ostpreussisches Tagesbuch*. Он, будучи врачом, остался в городе, чтобы оказывать помощь раненым солдатам, которых невозможно было эвакуировать. К нему обратилась пожилая женщина; пожаловавшись на варикозное расширение вен, «она попросила, чтобы я приступил к лечению прямо сейчас, потому что у нее сейчас как раз есть время». Я попытался объяснить ей, что у нее имеются дела поважнее — ей следует уехать из Кенигсберга, а лечение можно отложить на более спокойные времена. И спросил у нее, куда она намерена уехать; на это она ответила, что,

несомненно, всех немцев должны эвакуировать в рейх. И добавила фразу, которая повергла меня в состояние растерянности: *«Русским не удастся нас захватить. Фюрер этого не допустит. Уж скорее он поможет нам умереть с помощью газа»*. Я украдкой оглянулся — нет, никто из присутствовавших не считал ее фразу из ряда вон выходящей».

По-моему, эта история, как и большинство жизненных историй, отличается неполнотой. Так и напрашивается еще одна реплика. Кому-то — скорее всего, пожалуй, другой женщине — следовало добавить, с тяжелым вздохом: *«А между тем наш качественный, дорогой газ бессмысленно растрачивается на евреев!»*

VII. ВАНЗЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ИЛИ ПОНТИЙ ПИЛАТ

Мой рассказ о совести Эйхмана до настоящего времени основывался на свидетельствах, которые он сам забыл. Если же исходить из его изложения событий, то решающий момент наступил не через четыре недели, а через четыре месяца, в январе 1942 г., в ходе Ванзейской конференции. Эта конференция имела еще одно название — Конференция заместителей министров, и вот по какой причине. Необходимость ее созыва определялась тем обстоятельством, что для продолжения программы «окончательного решения» и ее распространения на все страны Европы необходимо было нечто большее, чем всего лишь молчаливое одобрение государственного аппарата рейха — требовалось активное сотрудничество и участие всех министерств и государственных служб. Что касается министров, то девять лет спустя после прихода Гитлера к власти все они были членами партии с достаточно большим стажем, но не все они пользовались безусловным доверием Гитлера — потому что лишь немногие сделали свои карьеры исключительно благодаря нацистам, как Гейдрих или Гиммлер, да и среди них были люди вроде Иоахима фон Риббентропа, министра иностранных дел и бывшего торговца

шампанским, государственная значимость которых была сомнительной. Их заместители, будучи профессиональными администраторами, играли ведущую роль в работе министерств, и Гитлер был вынужден терпеть их — что, кстати, делал и Аденауэр, пока некоторые из этих администраторов не скомпрометировали себя целиком и полностью. Заместители министра, юридические и прочие эксперты в нацистском правительстве зачастую даже не состояли в партии, и Гейдрих опасался, что не сможет положиться на них, и уж тем более не сможет ожидать от них активной помощи в вопросах, связанных с массовыми убийствами. По словам Эйхмана, Гейдрих «ожидал, что столкнется с огромными трудностями». Как же они оба ошибались!

Основной задачей Конференции была координация всей деятельности, направленной на реализацию программы «окончательного решения». Сначала участники сосредоточились на «сложных юридических проблемах» — в частности, как следует расценивать тех, у кого половина или четверть еврейской крови: подлежат ли они уничтожению или только стерилизации. Затем последовала откровенная дискуссия, посвященная «различным путям возможного решения проблемы» — то есть, различным способам убийства, и здесь также отмечалось «согласие большинства участников». Сама идея «окончательного решения» была встречена с «огромным энтузиазмом» всеми участниками, и, в частности, д-ром Вильгельмом Штукартом, заместителем министра внутренних дел, который был известен своим сдержанным и осторожным отношением к различного рода «радикальным» мерам, предлагаемым партийным руководством, и являлся, как отмечал д-р Ганс Глобке в своих показаниях на Нюрнбергском процессе, «непоколебимым сторонником законности». Не обошлось, однако, и без трудностей. Иосиф Бюлер, второй человек в Генерал-губернаторстве, без энтузиазма воспринял перспективу эвакуации евреев с запада на восток, поскольку это должно было привести к увеличению числа евреев в Польше, и в этой связи он предложил отложить эвакуацию, с тем, чтобы «начать реализацию «окончательного решения» в пределах границ рейха, где не будут возникать транспортные проблемы». Представитель МИДа выступил со своим тщательно сформулированным меморандумом, отражавшим «идеи и пожелания министерства иностранных дел относительно всестороннего решения еврейского вопроса в Европе», на который никто из участников просто не обратил

внимания. Главное, как справедливо отметил Эйхман, было в том, что представители различных министерств не только высказали свои соображения, но и внесли конкретные предложения. Совещание длилось не более полутора часов, после чего были предложены напитки и затем сервирован обед, способствовавший упрочению личных контактов. Для Эйхмана это было весьма значимое событие, поскольку никогда прежде он не общался с таким количеством «высокопоставленных лиц», тем более, если учесть, что из всех участников он имел низший чин и статус. Ему было поручено разослать приглашения на Конференцию. Он также подготовил статистический материал (с массой немыслимых ошибок) для вступительной речи Гейдриха, где были определены масштабы «окончательного решения» — 11 миллионов евреев, подлежащих уничтожению, — и он же потом оформлял протокол. Короче говоря, он был секретарем Конференции, и поэтому ему было позволено, после отбытия высоких гостей, посидеть у камина со своим шефом Мюллером и с Гейдрихом, «и тогда я впервые видел, как Гейдрих курит и пьет». Они «не обсуждали вопросы, рассмотренные на Конференции, а просто отдыхали после нелегкой работы», причем все, и главным образом Гейдрих, были довольны ее результатами.

Была еще одна причина, по которой день Конференции стал для Эйхмана незабываемым. Хотя он уже активно занимался вопросами «окончательного решения», но все же в глубине души он еще испытывал сомнения «относительно такого насильственного способа решения», а теперь все его сомнения рассеялись. «Здесь, на этой Конференции, выступили столь авторитетные люди, подлинные руководители Третьего рейха». Теперь он видел собственными глазами и слышал собственными ушами, что не только Гитлер, не только Гейдрих, не только загадочный сфинкс Мюллер, не только СС и партийный аппарат, но и административная верхушка страны оспаривали друг у друга честь занимать ведущее положение в процесс осуществления этого «насильственного способа решения». «И тут, как Понтий Пилат, я ощутил, что неповинен в этом насилии». И в самом деле, *кто он такой, чтобы судить?* Кто он такой, чтобы «иметь свои собственные мысли, суждения и соображения»?

А дальше, как вспоминает Эйхман, все пошло более или менее гладко и довольно быстро превратилось в рутину, в однообразную работу. Он скоро стал экспертом по вопросам «прину-

дительной эвакуации», как ранее он был экспертом по вопросам «принудительной эмиграции». В одной стране за другой, от евреев требовалось, чтобы они были зарегистрированы, затем их обязывали носить желтый знак для того, чтобы легче было их идентифицировать, затем их собирали в одно место и депортировали, и эшелоны направлялись на восток, в разные лагеря уничтожения. Когда эшелон прибывал на место, проводилась селекция, и тех, у кого были силы, отправляли на принудительные работы, а остальных немедленно убивали. В системе случались сбои, но их количество было невелико. Министерство иностранных дел поддерживало рабочие контакты с соответствующими учреждениями как оккупированных, так и союзных стран, чтобы оказывать на них нажим и принуждать к депортации евреев, либо препятствовать их неупорядоченной эвакуации на восточные территории, дабы не нарушать график работы лагерей уничтожения. (Такая схема вырисовывалась на основе показаний Эйхмана; на самом деле она была не столь простой.) Юридические эксперты готовили соответствующие законодательные акты, на основании которых евреи становились лицами без гражданства, что было важно по двум причинам: во-первых, страна их проживания лишалась возможности осведомляться об их судьбах, а во-вторых, она получала возможность конфискации их собственности. Министерство финансов и Рейхсбанк приходовали все виды добычи, включая часы и золотые зубы; все это сортировалось в Рейхсбанке и затем отправлялось на Государственный монетный двор. Министерство транспорта обеспечивало в необходимых количествах железнодорожные (обычно, грузовые) вагоны, причем сбоев не было даже в те времена, когда возникала нехватка подвижного состава, и затем включало эти эшелоны в график движения таким образом, чтобы не нарушать существующее расписание поездов. *Юденраты* получали информацию от Эйхмана или его подчиненных относительно того, какое количество евреев необходимо для каждого эшелона, и составляли списки депортируемых. Затем евреи проходили регистрацию и заполняли бесчисленные анкеты и формы, отвечая на вопросы относительно их собственности (что упрощало последующую конфискацию), после чего их доставляли на сборные пункты и сажали в вагоны. Если кто-то пытался скрыться или спрятаться, поисками занимались специальные группы евреев-полицейских. И, как отмечал Эйхман, никто не протестовал, никто не отказывался от сотруд-

ничества с властями. Или, как сказал, в Берлине в 1943 г., один еврей: «День за днем люди отправляются на свои собственные похороны».

Однако простого повиновения было бы недостаточно, чтобы как-то сгладить те бесчисленные трудности процедур эвакуации, проходившей уже на всей территории оккупированных и союзных стран Европы, так и успокоить совесть тех, кто осуществлял все эти процедуры и кто был все-таки воспитан на заповеди «Не убий» и помнил библейский стих «Ты убил и ты наследовал», который неоднократно и столь уместно цитировали иерусалимские судьи. То, что Эйхман назвал «вихрем смерти», налетевшим на Германию — тяжелейшее поражение под Сталинградом, массированные бомбардировки немецких городов, гибель гражданского населения — все это могло бы сделать его угрызения совести менее мучительными, если бы к тому времени у него оставалась хоть какая-то совесть. Машина уничтожения была идеально спланирована и безупречно функционировала задолго до того, как ужасы войны обрушились на саму Германию, и ее сложнейшая, но безупречная бюрократическая система действовала с одинаково беспощадной точностью как в годы легких побед, так и в годы все более явственно ощущаемого поражения. Высокопоставленные партийные функционеры и, тем более, старшие офицеры СС, не отказывались от своих постов в первые годы войны, когда еще можно было говорить об остатках совести; однако, такое стало случаться, когда становилось все яснее: Германия войну проиграла. Такие случаи, однако, были слишком малочисленны, чтобы отрицательно сказаться на функционировании системы в целом; более того, их основой были не мораль или этика, а чисто материальные соображения. Так, подписанный осенью 1944 г. приказ Гиммлера о прекращении массовых убийств и демонтаже газовых камер был основан на внешне абсурдном, но совершенно искреннем убеждении, что союзники найдут способ отреагировать на такой жест доброй воли. Эйхман слышал от Гиммлера, что благодаря этому приказу он надеется заключить мир, подобный тому, что был заключен Фридрихом II в 1763 г., когда Пруссия, потерпев поражение в Семилетней войне, все же смогла закрепить за собой Силезию.

По словам Эйхмана, лучше всего успокаивало его совесть то соображение, что лично ему не было известно ни одного, бук-

важно ни одного человека, который выступал бы против «окончательного решения». Было одно исключение, произведшее на него сильное впечатление, и Эйхман часто говорил об этом. Это произошло в Венгрии, когда он вел переговоры с д-ром Кастнером относительно предложения Гиммлера освободить миллион евреев в обмен на 10 тысяч грузовиков. Кастнер, явно ободренный таким поворотом событий, обратился к Эйхману с просьбой остановить «жернова смерти» в Освенциме, на что Эйхман ответил, что сделал бы это «с душевной радостью» (*herzlich gern*), но такое решение, увы, вне пределов его компетенции и даже вне пределов компетенции его начальства — что было чистой правдой. Разумеется, он не мог ожидать, что евреи будут с энтузиазмом относиться к своему собственному уничтожению, но при этом он, безусловно, ожидал от них чего-то большего, чем просто согласие; он ожидал — и добился — их сотрудничества, причем в поразительных масштабах. Такое сотрудничество «стало, несомненно, краеугольным камнем» всей его деятельности — также, как это было и в Вене. Без еврейского содействия в общеадминистративных вопросах, а также без еврейских полицейских, которые, как уже отмечалось, выслеживали евреев в Берлине, дело бы кончилось полным хаосом или недопустимой утечкой необходимой Германии рабочей силы. («Не может быть никакого сомнения: без сотрудничества жертв вряд ли могло получиться, что несколько тысяч человек, большая часть из которых к тому же занималась канцелярской работой, смогли бы ликвидировать сотни тысяч евреев... На протяжении всего своего пути к смерти польские евреи видели буквально считанное количество немцев» [см. R. Pendorf]. В еще большей степени сказанное относится к евреям, которых везли на смерть с западных территорий.) Поэтому, создавая на территориях оккупированных стран коллаборационистские правительства, немецкие власти одновременно создавали органы еврейского управления; как мы увидим ниже, в тех странах, где немцам не удалось создать марионеточные правительства, они также не смогли добиться и еврейского сотрудничества. Но если коллаборационисты обычно набирались из числа противников власти, существовавшей в стране до оккупации, то членами юденратов становились, как правило, пользующиеся доверием еврейские лидеры, которым немецкие власти давали огромные полномочия — чтобы в конечном итоге также депортировать их в Терезиенштадт или Берген-Бельзен, если это были

евреи Западной или Центральной Европы, или в Освенцим, если это были евреи из восточноевропейских общин.

Роль, которую сыграли еврейские лидеры в уничтожении своего народа, должна быть, несомненно, записана на самой черной странице истории евреев. Об этом было известно и раньше, но впервые, это было описано в полном объеме, со всеми страшными и отвратительными подробностями, в книге Raul Hilberg (*The Destruction of the European Jews*), о которой уже шла речь выше. Если говорить о содействии нацистам, то здесь не было разницы между ассимилированными общинами Центральной и Западной Европы и идишитскими общинами Восточной Европы. В Амстердаме и Варшаве, Берлине и Будапеште немцы могли положиться на еврейских функционеров, когда речь шла о составлении списков депортируемых и их собственности, о сборе денег с депортируемых для покрытия расходов на их транспортировку и уничтожение, о составлении списков освобождаемого жилья; евреи-полицейские помогали выслеживать подлежащих депортации и сажать их в вагоны, и, наконец, функционеры передавали конфискованное имущество депортированных немецким властям. Функционеры занимались раздачей отличительных знаков, желтых маген-давидов; кое-где — в Варшаве, например, «торговля нарукавными повязками стала прибыльным бизнесом: имелись простые матерчатые повязки и элегантные, моющиеся, из пластика». В своих воззваниях — инспирированных нацистами, но отнюдь не продиктованными ими — они упивались своей властью: «Центральный еврейский совет получает право безусловно распоряжаться всеми материальными и духовными еврейскими ценностями, равно как и всеми людскими ресурсами», — так начиналось первое обращение Будапештского совета. Когда еврейский функционер должен был отбирать людей для депортации, то есть, посылать их на смерть, он уподоблял себя «капитану, чье судно находится на грани гибели и которому приходится выбросить за борт часть груза, чтобы благополучно добраться до порта», или спасителю, который «жертвует сотнями, чтобы спасти тысячи, и тысячами, чтобы спасти десятки тысяч». Действительность, однако, была значительно более страшной — например, д-р Каствнер в Венгрии спас равным счетом 1 684 человека ценой 476 тысяч жертв. Чтобы не отдавать селекцию на произвол «слепой судьбы», необходимо было «определить поистине благочестивые принципы», на основе которых «слабая человеческая рука

могла написать на бумаге имя незнакомого человека, даруя ему тем самым жизнь или обрекая его на смерть». Так кто же выбирался «для спасения» на основе этих «благочестивых принципов»? Те, кто «всю свою жизнь посвятили служению общине» — то есть, функционеры и «самые достойные евреи», как писал Кастнер в своем отчете.

Властям и в голову не приходило заставлять еврейских функционеров приносить присягу — и они, таким образом, становились добровольными «носителями секретов», с тем, чтобы либо обеспечить спокойствие и предотвратить панику, как говорил д-р Кастнер, либо из «гуманных соображений», как говорил д-р Лео Баек, бывший главный раввин Берлина, поскольку «жить, ожидая смерти в газовой камере, было бы еще более невыносимо». На процессе Эйхмана один свидетель продемонстрировал чудовищные последствия этого «гуманизма»: люди добровольно соглашались на депортацию из Терезиенштадта в Освенцим и называли «сумасшедшими» тех, кто, пытаясь образумить их, говорил им правду. Нам хорошо известны еврейские функционеры времен нацистского правления — от Хаима Румковского, который получил прозвище «Хаим I», выпускал в гетто банкноты со своей подписью и почтовые марки со своим портретом, до Лео Баека, высокообразованного, с мягкими манерами, который искренне полагал, что еврейские полицейские будут «более снисходительными и великодушными» (на деле они, разумеется, были более жестокими и к тому же неподкупными, поскольку им было что терять). Несколько глав *юденратов*, будучи не в силах вынести груз моральной ответственности, покончили жизнь самоубийством — как варшавянин Адам Черняков, который был не раввином, а инженером и неверующим человеком, но помнил заповедь: «Пусть они убьют тебя, но ты должен помнить: есть вещи, на которые пойти нельзя».

Если обвинение на процессе Эйхмана вело себя столь осмотрительно, дабы не привести в замешательство администрацию Аденауэра, то тем большую осмотрительность следовало проявлять, вынося на публичное рассмотрение эту главу нашей истории. Но нельзя и не рассматривать эту сторону вопроса, поскольку иначе не представляется возможным объяснить целый ряд пропусков в документации этого, в целом очень подробно документированного процесса. Судьи упомянули один такой пропуск — отсутствие ссылок на книгу Адлера [H. G. Adler,

Theresienstadt, 1941-1945], которую обвинитель, не без некоторого смущения, признал «достоверной и основанной на неопровержимых материалах». Вполне ясна причина, по которой книга была изначально не упомянута. Там описано, в деталях, составление «списков на депортацию» *юденратом* Терезиенштадта, после того, как эсэсовское начальство определяло общие контуры: сколько человек, а также их возраст, пол, профессия и страна происхождения. Позицию обвинения сильно ослабила бы информация о том, что выбор конкретных имен, за незначительными исключениями, входил в обязанности еврейской администрации. Заместитель государственного прокурора Израиля Яаков Барор в неявной форме вынужден был допустить это, сказав: «Я стараюсь выявить некоторые вопросы, непосредственно относящиеся к обвиняемому, но чтобы при этом не нарушить целостность всей картины». Действительно, включение книги Адлера в значительной степени нарушило бы целостность картины, поскольку она противоречит показаниям главного свидетеля обвинения по Терезиенштадту, который утверждал, что Эйхман лично принимал участие в составлении списков. Но что еще более существенно — при этом пострадало бы столь четко выстроенное обвинителем противопоставление гонителей и их жертв. Предоставление доказательств, ослабляющих позицию обвинения, обычно является делом защиты, и потому возникает вопрос: почему д-р Серватиус, обнаруживший несколько малозначимых противоречий в свидетельских показаниях, прошел мимо столь очевидного документального источника? Он мог бы представить суду сведения относительно того, как Эйхман, перейдя из категории «эксперта по вопросам «принудительной эмиграции» в категорию «эксперта по вопросам «принудительной эвакуации», первым делом назначил своих старых еврейских коллег — д-ра Пауля Эпштейна, занимавшегося вопросами эмиграции в Берлине, и рабби Биньямина Мурмельштейна, занимавшегося теми же вопросами в Вене, — членами *юденрата* в Терезиенштадте. Это дало бы значительно более ясное представление об атмосфере, в которой действовал Эйхман, чем все бессмысленные, а порой и просто оскорбительные разговоры о присяге, клятве, лояльности и достоинствах беспрекословного повиновения.

Показания г-жи Шарлотты Зальцберг о Терезиенштадте, только что процитированные мною, дают нам возможность хотя бы бросить взгляд на то, что обвинение именуется «общей карти-

ной». Председательствующему не понравилось ни это выражение, ни сама картина. Он несколько раз сказал обвинителю, что «мы здесь не занимаемся рисованием картин», что речь идет об «обвинительном заключении, которое должно не выходить из рамок процесса», что у суда имеется «своя точка зрения, основанная на обвинительном заключении», и что «обвинению следует иметь в виду то, что установлено судом» — в высшей степени знаменательные замечания для судебного разбирательства, ни одно из которых так и не было принято к сведению. Более того: обвинитель не просто отказался принять к сведению замечания суда — он также отказался работать со своими свидетелями, а если судьи настаивали, то задавал несколько случайных и непродуманных вопросов, в результате чего свидетели оказывались в положении выступающих на митинге, проходящем под председательством обвинителя, который ограничивался тем, что представлял их аудитории. Они говорили, сколько хотели, о чем хотели, и лишь изредка отвечали на конкретные вопросы.

Атмосфера не публичного процесса, а скорее массового митинга, на котором выступающий за выступающим прилагают все усилия, чтобы вызвать волнение в аудитории, стала особенно ярко выраженной, когда обвинитель начал вызывать свидетелей для дачи показаний о восстании в Варшавском гетто и о попытках восстания в Вильнюсе и Каунасе, хотя все это вообще не имело отношения к преступлениям обвиняемого. Показания этих свидетелей отвечали бы интересам процесса, если бы их попросили рассказать о той значительной и прискорбной роли, которую сыграли *юденраты*. Разумеется, об этом упоминалось — когда свидетели говорили о «эсэсовцах и их пособниках», указывая, что к числу последних они относили «полицию гетто, бывшую инструментом в руках нацистских убийц», а также «членов *юденрата*» — но они неохотно распространялись на эту тему, предпочитая говорить о реальных предателях, которых было совсем немного — «безымянные люди, неизвестные евреям». (К этому времени аудитория снова сменилась, и в зале суда сидели преимущественно киббуцники, поскольку и свидетели были в основном членами киббуцев.) Самый ясный и полный рассказ присутствующие услышали от Цивьи Любеткин, женщины лет сорока, все еще очень привлекательной, но напрочь лишенной сентиментальности или склонности жаловаться на судьбу. Она выстроила факты своего выступления самым убедительным образом и, рас-

сказывая о борьбе и героизме защитников Варшавского гетто, говорила исключительно по существу. С юридической точки зрения показания этих свидетелей не относились к делу, и Гидеон Хаузнер не упомянул ни об одном из них в своем заключительном слове. Впрочем, в этих показаниях речь шла о тесных контактах между еврейскими партизанами и польским, а также русском подпольем. Это не только противоречило другим показаниям («Весь мир был против нас»), но и могло быть использовано защитой, поскольку такого рода факты были более значимыми, чем, например, заявление Эйхмана: «Вейцман объявил войну Германии в 1939 г.» (что было чистой воды бессмыслицей — Хаим Вейцман сказал в свой заключительной речи на последнем довоенном Сионистском конгрессе всего лишь следующее: «Война, которую ведут страны западной демократии — это наша война, их борьба — это наша борьба»). Трагедия, как справедливо отметил Гидеон Хаузнер, заключалась именно в этом: Германия не признавала евреев в качестве воюющей стороны — в противном случае они бы не были уничтожены, а находились бы в лагерях военнопленных или в лагерях для интернированных лиц.) Если бы д-р Серватиус стал бы развивать эту тему, обвинению пришлось бы признать, что названные группы сопротивления были чрезвычайно малы, поразительно слабы и, по сути дела, способны нанести реальный ущерб противнику, а главное — что они лишь в незначительной степени представляли еврейское население.

Хотя с чисто юридической точки зрения все эти многочасовые показания и не относились к рассматриваемому делу, однако не сложно представить себе, с точки зрения правительства Израиля, политическую значимость этих выступлений. Гидеон Хаузнер (или, скорее, Давид Бен-Гурион), по всей видимости, имели намерение продемонстрировать, что на организованное сопротивление способны только сионисты и что только они, из всех евреев, знают, что «если нельзя спасти свою жизнь, то надо сделать все, чтобы спасти свою честь», — как сказал Ицхак Цукерман, муж и соратник Цивьи Любеткин, а она сама сказала, что самое худшее для человека в таких обстоятельствах — это быть и оставаться «непричастным». Правда, эти «политические намерения» оказались тщетными, поскольку выступавшие показали, что в сопротивлении участвовали все партии и движения, и потому основное различие было не между сионистами и не-сионистами,

а между хорошо и плохо организованными группами, а еще точнее, между группами молодежи и людей среднего возраста. Строго говоря, в сопротивлении участвовало меньшинство, незначительное меньшинство, но в тех обстоятельствах, как сказал один из участников сопротивления, «чудо заключалось в том, что набралось и такое меньшинство».

Если отвлечься от соображений юридического характера, то нельзя не признать, что появление в зале суда бывших бойцов еврейского сопротивления было положительным фактором. Это отчасти развеяло ту удушливую, ядовитую атмосферу едва ли ни всеобщего коллаборационизма, в которой реализовывалось «окончательное решение». Достаточно широко известный факт, что основную работу в центрах уничтожения делали евреи, был безусловно подтвержден многочисленными свидетелями обвинения — еврей-узники обслуживали газовые камеры и крематории, они вырывали у трупов золотые зубы и состригали волосы, они копали могилы, а затем раскапывали эти могилы, чтобы скрыть следы массовых убийств. Еврей-техники построили газовые камеры в Терезиенштадте; в этом лагере «еврейская автономия» дошла до того, что там имелся свой палач-еврей. Селекцию работников в лагерях осуществляли эсэсовцы, которые отдавали явное предпочтение уголовникам. В Польше нацисты уничтожили значительную часть еврейской интеллигенции — как, впрочем, и польской интеллигенции и лиц свободной профессии. В странах Западной Европы ситуация была другой, там евреям, пользующимся известностью, сохраняли жизнь, чтобы обменять их на немецких военнопленных или интернированных лиц. Так, Берген-Бельзен изначально считался лагерем для «обменных евреев». Моральная проблема заключалась в том, какую долю правды содержали показания Эйхмана относительно сотрудничества евреев в рамках «окончательного решения». «Формирование *юденрата* [в Терезиенштадте] и распределение обязанностей между его членами было предоставлено самим евреям — разумеется, кроме назначения его руководителя. Кто будет занимать руководящий пост, мы решали сами. Однако даже это назначение не было диктатом с нашей стороны. Функционеры, с которыми мы поддерживали постоянные контакты — что ж, мы обращались с ними по-хорошему. Мы не помыкали ими, не командовали, по той простой причине, что если руководителю приказывать, то толку от этого будет не много. Если человеку не нра-

вится наше распоряжение, то от этого страдает все дело в целом. Мы прилагали максимум усилий к тому, чтобы все проходило без конфликтов». Несомненно, усилия-то они прилагали, вопрос в том, насколько эти усилия были успешными.

Таким образом, для полноты вышеназванной «общей картины» недоставало свидетеля, который мог бы рассказать о сотрудничестве между нацистским руководством и еврейскими функционерами — тем более, что такому свидетелю хорошо было бы задать вопрос: «Почему вы принимали участие в уничтожении своего народа, тем более что в конечном итоге это вело и к вашему личному уничтожению?» Впрочем, был вызван и такой свидетель — единственный на процессе свидетель, являвшийся достаточно высокопоставленным членом *юденрата*, Пинхас Фройдигер, бывший барон Филип фон Фройдигер из Будапешта. Его появление в зале суда привело к единственному на протяжении всего процесса инциденту: люди кричали на него по-венгерски и на идиш, и судье пришлось объявить перерыв, чтобы навести порядок в зале. Фройдигер, солидного вида ортодоксальный еврей, был искренне потрясен: «Тут мне кричали, что я не рекомендовал им бежать [из гетто]. Но ведь пятьдесят процентов бежавших были схвачены и казнены». (На смерть были посланы девяносто девять процентов из тех, кто не бежал.) «Куда они могли бежать? Где они могли скрыться?» (Но сам он бежал и скрылся в Румынии, потому что он был богатым человеком и смог найти убежище.) «Что же мы могли поделать? Что же мы могли поделать?» (И председательствующий отреагировал: «Не думаю, что это можно считать ответом на вопрос» — а вопрос о сотрудничестве был задан не судьями, его задал кто-то в зале.)

Судьи поднимали вопрос о сотрудничестве дважды. Судья Ицхак Равэ получил от одного из свидетелей-участников сопротивления заявление относительно того, что «еврейская полиция гетто была инструментом в руках убийц» и что «политика *юденрата* предусматривала сотрудничество с нацистами», а Эйхман, в ходе перекрестного допроса, заявил судье Биньямину Халеви, что нацисты рассматривали такое сотрудничество как краеугольный камень своей еврейской политики». Обвинитель задавал каждому свидетелю, за исключением бойцов сопротивления, вопрос, который звучал вполне естественно для всякого, кто не располагал фоновой информацией о сути процесса. Этот вопрос — «Почему

вы не взбунтовались?» — по сути дела служил дымовой завесой, скрывавшей другой вопрос, который так и не был задан на процессе. И потому получилось, что все ответы свидетелей на вопрос, который невозможно было задать, не в полной мере соответствовали требованию «говорить правду, всю правду и ничего кроме правды». Правдой было, что еврейский народ в целом не был организован, у него не имелось ни территории, ни правительства, ни армии, что в такой критический момент у него не было ни правительства в изгнании, которое могло бы представлять его интересы среди государств антигитлеровской коалиции (Еврейское агентство под председательством д-ра Вейцмана могло считаться в лучшем случае суррогатом), ни запасов оружия, ни прошедшей военную подготовку молодежи. Но вся правда заключалась в том, что существовали еврейские общинные организации, еврейские партии и благотворительные организации, как на местном, так и на международном уровне. Везде, где жили евреи, существовали общепризнанные еврейские лидеры, и все они, практически без исключения, в той или иной форме, по той или иной причине, сотрудничали с нацистами. Вся правда заключалась в том, что, будь еврейский народ и в самом деле полностью неорганизованным и не имея он лидеров, воцарились бы хаос, страдания и горе, но общее число жертв вряд ли достигло величины от четырех с половиной до шести миллионов.

Согласно оценке Фройдигера, половина еврейского населения смогла бы спастись самостоятельно, если бы они не слушали указаний *юденратов*. Это, разумеется, лишь самая приближенная оценка, но она в принципе соответствует вполне достоверным цифрам, полученным из Нидерландов, от д-ра Л. де Йонга, возглавляющего Нидерландский государственный институт военной документации. В Нидерландах, где *юденраты*, как, впрочем, и все голландские органы власти, очень скоро стали «орудием в руках нацистов», 103 тысячи евреев были депортированы в лагеря уничтожения и еще около пяти тысяч в Терезиенштадт — все при содействии *юденратов*. Из лагерей смерти вернулись живыми всего 519 человек, тогда как из общего числа 20-25 тысяч бежавших от нацистов — и, следовательно, от *юденрата* — евреев десяти тысячам удалось спастись; иными словами, речь также идет о 40-50 %. Что касается отправленных в Терезиенштадт, то домой вернулось большинство узников.

Я так подробно останавливаюсь на этой прискорбной главе еврейской истории, которую на процессе Эйхмана не удалось должным образом представить мировому общественному мнению, поскольку она дает наиболее поразительное представление о том моральном крахе, к которому нацистам удалось привести уважаемые европейские страны – причем речь идет не только о Германии, но и практически обо всех других странах, более того, не только о преследователях, но и о жертвах. Эйхман, в отличие от большинства членов нацистского движения, всегда благоговел перед представителями «приличного общества», и то вежливое обращение, которое он нередко демонстрировал по отношению к немецко-говорящим еврейским функционерам, в значительной мере определялось его инстинктивным осознанием, что он имеет дело с людьми, находящимися выше его по социальной лестнице. Он вовсе не был, согласно определению одного из свидетелей, *Landsknecht*, наемником, стремящимся попасть в такое место, где не действительны Десять заповедей и можно чувствовать себя полностью раскованным. До самого конца жизни он страстно желал преуспеть, причем таким образом, чтобы стать вхожим в «приличное общество» (в его понимании этого слова). В этой связи характерно его высказывание о Гитлере, который, по его словам, «возможно, был не прав во всем, но одного не отнимешь: этот человек сумел подняться от ефрейтора до фюрера, под чьей властью было почти 80 миллионов... Одно это убедило меня в том, что этому человеку нельзя не подчиняться». Совесть Эйхмана полностью успокоилась, когда он увидел, что представители «приличного общества» ведут себя точно также, как и он сам, с тем же пылом и рвением. Ему не нужно было, как сказал один из судей, «отмахиваться от голоса своей совести», но не потому, что у него не было совести, а потому, что совесть всех окружающих представителей «приличного общества» говорила тем же самым голосом.

Именно это Эйхман и говорил на суде: не слышно было ни одного голоса в его окружении, который мог бы пробудить его совесть. И именно в этом видел свою задачу обвинитель: доказать, что такие голоса звучали. И еще обвинитель говорил, что Эйхман выполнял свои обязанности с особым рвением, что тоже соответствовало действительности. Хотя, как бы странно это не звучало, его смертоносное рвение в какой-то мере определяли именно голоса тех, кто (и это случалось время от времени) пытался умирить его пыл.

Тут следует сказать хотя бы несколько слов о так называемой «внутренней иммиграции» в Германии — речь идет о людях, занимавших определенные, порой достаточно высокие, посты в Третьем рейхе, которые по окончании войны заявили самим себе, да и всему миру, что они всегда пребывали в состоянии «внутренней оппозиции» режиму. Вопрос тут не в том, правду они говорят или нет; дело, скорее, в том, что ни один секрет в перенасыщенной секретами атмосфере гитлеровского режима им не удавалось хранить лучше, чем это самое состояние их «внутренней оппозиции». Жить иначе в условиях нацистского террора было бы невозможно. Один такой видный «внутренний иммигрант», безусловно уверенный в своей искренности, сказал мне: для того, чтобы лучше хранить наш секрет, мы порой вынуждены были, «чисто внешне», вести себя более по-нацистски, чем настоящие нацисты. Этим, кстати, можно объяснить то обстоятельство, что протесты против политики «окончательного решения», при всей их малочисленности, исходили не от старших армейских офицеров, а от членов Национал-социалистической партии с большим стажем. Таким образом, единственный способ жить в Третьем рейхе и не вести себя как нацисты заключался в том, чтобы «не вести себя» вообще.

Степень «отстранения от любого могущего иметь хоть какие-либо последствия участия в государственной деятельности» была и в самом деле наилучшим критерием для определения индивидуальной вины, как недавно отметил Otto Kirchheimer в своей книге *Political Justice*. Понятие «внутренний иммигрант» (если такое выражение вообще имеет хоть какой-то смысл) может означать только одно: человек живет «изгоем среди своего народа, в самой гуще слепо верующих масс» — как писал Hermann Jahrreiss в *Statement for All Defense Attorneys* накануне Нюрнбергского процесса. Состояние «изгоя» было единственно возможным выходом, потому хотя бы, что сама идея активного противостояния режиму была действительно лишеной смысла при отсутствии соответствующих организационных структур. В самом деле, имелись немцы, прожившие все эти 12 лет, «устраняясь ото всего», но их число было незначительным, даже по сравнению с числом участников сопротивления. В последнее время заявления относительно «внутренней иммиграции» стали звучать как дурная шутка (кстати, и само это выражение достаточно двусмысленное, и не вполне ясно, идет ли речь об иммиграции в недра своей души

или о поведении, традиционно свойственном иммигранту). Д-р Отто Брандфиш, злобная фигура, бывший член *эйнзацгруппе*, принимавший самое действенное участие в убийствах не менее чем 15 тысяч человек, заявил немецкому суду, что «в глубине души» он всегда был против того, что он делал. Возможно, он участвовал в расстрелах 15 тысяч человек для того только, чтобы не дать «истинным нацистам» повод заподозрить себя в чем-либо антинацистском. Аналогичную аргументацию высказал перед польским судом бывший гаулейтер Артур Грейзер: лишь его «официальная душа» совершала все то, за что он был повешен в 1946 г., тогда как его «внутренняя душа» всегда противилась этому.

Хотя сам Эйхман никогда не относил себя к числу «внутренних иммигрантов», он был, несомненно, знаком со многими государственными служащими из числа тех, кто сегодня заявляет, что они не оставляли своих постов только для того, чтобы «смягчить зверства» и не дать возможности «отпетым нацистам» занять эти посты. Мы уже говорили о Гансе Глобке, ответственном сотруднике министерства иностранных дел нацистской Германии, а в 1953–1963 гг. начальнике управления кадров государственной канцелярии ФРГ. Поскольку он был единственным государственным служащим такого уровня, чье имя было названо в ходе процесса, представляется целесообразным рассмотреть подробнее его деятельность по «смягчению зверств». Д-р Глобке работал в министерстве внутренних дел Пруссии еще до прихода Гитлера к власти, и уже в те времена проявил интерес к еврейскому вопросу. Ему принадлежала формулировка первой в своем роде директивы, требовавшей «доказательств арийского происхождения» при подаче заявления об изменении имени. Циркулярное письмо, разосланное в декабре 1932 г., когда приход Гитлера к власти еще не был предрешенным, хотя и весьма вероятным, гласило, что «эта директива не для публикации» — то есть, оно в известной мере предвосхищало «положение о секретных указах», чисто тоталитарное положение, согласно которому юридические нормы могли и не быть известными широкой общественности, и которое гитлеровский режим ввел значительно позднее. Комментарии д-ра Глобке к Нюрнбергским законам (1935 г.) сделали их положения еще более жесткими, чем первоначальный вариант, разработанный д-ром Бернардом Лёснером, экспертом министерства внутренних дел по еврейским вопросам и старым

членом партии — так что д-ра Глобке можно обвинить скорее в усугублении, нежели в смягчении ситуации, возникшей усилиями «истинных нацистов». Однако недавно одна немецкая газета продемонстрировала, как именно д-р Глобке мог способствовать и смягчению ситуации. Журналист обнаружил документ, подписанный д-ром Глобке, в котором предписывалось чешским невестам немецких солдат, для того, чтобы получить свидетельство о браке, представлять свои фотографии в купальных костюмах. И д-р Глобке разъяснил, что «это новое распоряжение направлено на смягчение ситуации и устранение последствий скандала трехлетней давности» — поскольку до его вмешательства чешские невесты обязаны были представлять свои фотографии, на которых они запечатлены просто-напросто обнаженными.

Д-р Глобке «имел счастье», согласно его личному заявлению на Нюрнбергском процессе, работать под руководством другого «сторонника умеренности», заместителя министра Вильгельма Штукарта, одного из восьми основных участников Ванзейской конференции. Мягкость позиции Штукарта проявилась в ходе дискуссии участников относительно участи евреев наполовину — он выступал не за уничтожение, а только за стерилизацию. (В распоряжении судей Нюрнбергского процесса имелись протоколы Ванзейской конференции, из которых следовало, что Штукарт не мог не знать о программе уничтожения евреев; однако, принимая во внимание состояние здоровья, он был освобожден из-под стражи с зачетом срока, проведенного в заключении до суда. Немецкий суд по делам денацификации приговорил его к штрафу в размере 500 марок и объявил его «номинальным членом партии» — хотя общеизвестно, что Штукарт принадлежал к «старой гвардии» нацистов и с давних времен состоял в СС, в качестве почетного члена.) Ясно, что все эти рассказы о «борцах за умеренность» в правительстве Гитлера относятся к разряду послевоенных выдумок, и расценивать их надо с такой же серьезностью, как и пробуждение совести у Эйхмана.

Вопрос о пробуждении совести у Эйхмана снова всплыл на процессе с появлением в зале суда протестантского священника Генриха Грубера, который был единственным нееврейским свидетелем обвинения из Германии (и, кстати, вообще одним из двух неевреев на процессе — вторым был американский судья Майкл Мусманно). Немецкие свидетели защиты не могли прибыть в суд,

поскольку их появление в Израиле означало для них арест и судебное преследование, согласно тому же Закону от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников, на котором основано обвинительное заключение по делу Эйхмана. Сам Грубер принадлежал к той немногочисленной и политически мало значимой группе людей, которые выступали против Гитлера исходя из идейных, а не националистических соображений, и чья позиция по еврейскому вопросу была абсолютно однозначной. Предполагалось, что это будет прекрасный свидетель, поскольку Эйхман несколько раз вел с ним переговоры, и сам факт его появления в зале суда уже был своего рода сенсацией. К сожалению, его показания оказались неопределенными и невыразительными. По прошествии стольких лет он плохо помнил, когда именно он говорил с Эйхманом, и главное — о чем конкретно он говорил. Отчетливо он помнил несколько эпизодов — в частности, связанных с его просьбой о доставке мацы в Венгрию, а также с его поездкой в Швейцарию во время войны, для того, чтобы проинформировать своих христианских друзей об опасности ситуации, дабы те активнее содействовали эмиграции евреев. (Эти переговоры, судя по всему, проходили до принятия «окончательного решения», когда был также принят приказ Гимmlера о запрете эмиграции; возможно, это было накануне вторжения Гитлера в СССР.) Вопрос с доставкой мацы был решен положительно; Грубер также благополучно добрался до Швейцарии и вернулся домой. Проблемы начались позже, с началом депортации. Грубер и его коллеги, протестантские священники, сначала защищали интересы исключительно «таких категорий, как раненые во время Первой мировой войны, ветераны войны, имеющие высокие боевые награды, пожилые люди и вдовы погибших во время Первой мировой войны», причем эти категории не подлежали депортации и по нацистскому законодательству. Однако Груберу было заявлено, что его действия «противоречат правительственной политике» — впрочем, никаких серьезных мер против него принято не было. Вскоре, однако, Грубер предпринял нечто и в самом деле экстраординарное: он попытался проникнуть в концлагерь Гур на юге Франции, где правительство «Виши» интернировало, наряду с еврейскими беженцами из Германии, около семи с половиной тысяч евреев из Бадена и Саара, которые осенью 1940 г. были высланы и доставлены Эйхманом через германо-французскую границу и чье положение, согласно имевшейся у

Грубера информации, было еще хуже, чем положение евреев, депортированных в Польшу. После этой попытки Грубер был арестован и брошен в концлагерь — сначала в Заксенхаузен, а затем в Дахау. Сходная судьба постигла католического священника Бернара Лихтенберга, настоятеля собора Св. Ядвиги в Берлине. Он отважился молиться публично за всех евреев, причем не только крещеных, а это было значительно опаснее, чем защищать интересы евреев-ветеранов Первой мировой войны. Потом Лихтенберг потребовал, чтобы ему было позволено сопровождать евреев, высланных на восток, и он умер по пути в концлагерь.

Пример пастора Грубера, несомненно, свидетельствовал о факте существования «другой Германии», но кроме этого, его показания не многим способствовали исторической или юридической значимости процесса. Об Эйхмане Грубер отзывался с негодованием, говоря, что это «глыба льда», что он «холоден как мрамор»; он называл его *Landsknecht*, наемником, а также «велосипедистом» (современная немецкая идиома, означающая человека, раболепствующего перед начальством и попирающего подчиненных). Все это отнюдь не свидетельствовало об умении пастора разбираться в людях, а что же касается «велосипедиста», то и вообще было неправдой, поскольку Эйхман, согласно многим показаниям, вел себя с подчиненными вполне прилично. Во всяком случае, заявления и выводы пастора относились к той категории показаний, которые обычно исключают из материалов судебного дела — хотя на этом процессе они были включены в решение суда. Однако без всех этих заявлений показания Грубера могли бы даже усилить позиции защиты, поскольку Эйхман ни разу не давал Груберу прямого ответа на его просьбы, но всякий раз говорил, что надо еще раз вернуться к этому вопросу и что он запросит дополнительные инструкции. Более того — д-р Серватиус задал пастору прямой вопрос: «Вы пытались оказать воздействие на подсудимого? Пытались ли вы, будучи священнослужителем, обращаться к его чувствам, говорить ему, что его поведение противоречит моральным нормам?» Разумеется, Грубер не делал ничего подобного, и в его ответах звучало смущение. В частности, он сказал, что «дела важнее слов» и что «слова в такой ситуации были бы бесполезными» — хотя в такой ситуации слова могли оказаться весьма действенными, а его долгом священнослужителя было как раз испытать, всегда ли «слова — это тщета».

В своем последнем слове Эйхман высказался относительно этого эпизода с еще большей прямоотой: «Никто, — сказал он, и повторил, — никто не приходил ко мне и не упрекал меня за что бы то ни было, связанное с исполнением мною моих обязанностей. В том числе и пастор Грубер, хотя он и говорит, что делал это». И затем Эйхман добавил: «Он приходил ко мне и просил облегчения для страждущих, но он не говорил ничего такого, что было бы связано с исполнением моих обязанностей как таковых». Из показаний пастора ясно, что он просил не «облегчения для страждущих», но избавления от страданий, причем для тех категорий евреев, которых и сама нацистская система ранее признала не подлежащими депортации — более того, эту точку зрения разделяла и еврейская община Германии. Вся «иерархия привилегий» подобного рода — немецкие евреи по сравнению с польскими евреями, ветераны войны и обладатели наград по сравнению с прочими евреями, семьи, чьи предки родились в Германии по сравнению с теми, кто недавно получил немецкое гражданство, и так далее — все это означало начало морального краха уважаемого еврейского общества. Учитывая то обстоятельство, что в наши дни принято считать, будто утрата людьми, попавшими в тяжелое положение, собственного достоинства едва ли не изначально свойственна человеческой природе, нелишне вспомнить, что когда французское правительство сделало французским евреям-ветеранам Первой мировой войны аналогичное предложение, то их реакция была следующей: «Мы торжественно заявляем, что отвергаем какие бы то ни было привилегии, связанные с нашим статусом бывших военных» [*American Jewish Yearbook, 1945*]. Надо ли добавлять к сказанному, что сами немцы никогда всерьез не воспринимали эти привилегии — для них все евреи были на одно лицо, но такое деление на категории сыграло желательную для властей роль, позволяя ослаблять чувство тревоги и беспокойства в общине: сегодня депортируют только польских евреев, завтра депортируют тех, кто не воевал, и так далее. Тем же, кто не хотел обманываться, с самого начала было ясно, что «существует распространенная практика признавать различного рода исключения, с тем, чтобы легче было блюсти общее правило» — см. Louis de Jong, *Jews and Non-Jews in Nazi-Occupied Holland* — в высшей степени поучительная статья.

Главная проблема морального характера, создаваемая всей этой искусственной иерархией, заключалась в том, что всякий, выступающий с требованием признания его исключительности, тем самым в неявной форме признавал и всю связанную с этим систему правил — однако, это очевидное обстоятельство, судя по всему, не воспринималось всеми этими «добрыми людьми», евреями и неевреями, которые уделяли основное внимание «особым случаям», дающим некие преимущественные права. Даже еврейские жертвы признавали эти критерии, на которых основалось «окончательное решение». Об этом, пожалуй, яснее и ярче всего свидетельствует так называемый Доклад Кастнера (см: *Der Kastner-Bericht über Eichmanns Menschenhandel in Ungarn*). Даже по окончании войны Кастнер не переставал гордиться тем, насколько он преуспел в спасении «известных евреев» (категория, официально введенная нацистами в 1942 г.), и очевидно было, насколько он разделяет точку зрения, согласно которой известный еврей имеет больше прав оставаться в живых, чем простой еврей. По его мнению, «принятие на себя такой ответственности» (то есть, оказание нацистам помощи при выделении «известных» евреев из общей массы) «требовало больше мужества, чем это необходимо для того, чтобы заглянуть в глаза смерти». Но если еврейские и нееврейские защитники концепции «особых случаев» могли и не осознавать своего невольного соучастия в убийствах, то для убийц, для тех, кто осуществлял ликвидацию, такого рода косвенное признание общих правил, означавшее смертный приговор для всех «не особых» случаев, было совершенно очевидным. Они также понимали, что когда к ним обращаются с просьбой сделать исключение — и тем более, когда они, время от времени, удовлетворяют такую просьбу, за что к ним проникаются благодарностью, — то таким образом они убеждают всех своих оппонентов в законности своих действий.

Более того, пастор Грубер и иерусалимские судьи глубоко заблуждались, полагая, что просьбы сделать исключение исходили только от противников режима. Напротив, как Гейдрих напрямую заявил в ходе Ванзейской конференции, создание Терезиенштадта в качестве лагеря для привилегированных категорий стало результатом просьб, поступавших от всех категорий населения. Терезиенштадт, став образцово-показательным местом, куда допускались посетители со всего мира, как раз и был создан с целью обманывать весь мир, но все же первоначальная причина

его создания была иной. Приходилось постоянно уменьшать численность узников этого «райского места, отличавшегося от других лагерей как небо от земли» (по справедливому замечанию Эйхмана) — потому что там постоянно не хватало места для все новых и новых «привилегированных» — ведь существовала директива, подписанная Эрнстом Кальтенбруннером, главой РСХА, относительно того, чтобы «были приняты все меры, дабы евреи, имеющие международные связи и пользующиеся мировой известностью, не подвергались депортации». Таким образом, «менее известные» евреи постоянно приносились в жертву, за счет тех, чье исчезновение могло бы вызвать неприятные вопросы. Кстати, не обязательно было иметь связи за рубежом; как говаривал Гиммлер, «в стране живет 80 миллионов хороших немцев, и у каждого из них имеется знакомый еврей, вполне приличный человек. Ясное дело, что все остальные евреи — это поголовно свиньи, но этот конкретный еврей совсем другое дело...» У самого Гитлера, говорят, имелось 340 «первоклассных евреев», и часть из них получила статус полноправных немцев, а часть — статус евреев наполовину. Тысячи «евреев наполовину» были освобождены от всех ограничений, и наиболее яркие примеры — Гейдрих в СС и человек Геринга, генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх, в военно-воздушных силах. (Из числа главных нацистских преступников лишь двое раскаялись перед лицом смерти — Гейдрих, умиравший в течение девяти дней после покушения чешских патриотов, и Ганс Франк в камере смертника в Нюрнбергской тюрьме. При этом можно предположить, что Гейдрих раскаялся не в убийствах, а в том, что он совершил предательство по отношению к своему народу.) Если ходатайства относительно «известных» евреев исходили от «известных» людей, то они зачастую удовлетворялись. Так, Свен Гедин, шведский путешественник и один из самых страстных поклонников Гитлера, обратился к своему кумиру с просьбой улучшить условия жизни известного географа профессора Филипсона, брошенного в Терезиенштадт. В своем письме Гитлеру Гедин писал, что «мое отношение к Германии будет зависеть от участи Филипсона» — и профессор Филипсон незамедлительно был переведен в значительно более комфортабельное помещение.

В сегодняшней Германии понятие «известный еврей» вовсе не забыто, хотя давно уже никто не говорит ни о ветеранах Первой мировой войны, ни о прочих официальных «привилегиро-

ванных» категориях; до сих пор с сожалением вспоминают судьбы «выдающихся» евреев, хотя ни словом не упоминают участь всех прочих. Немало людей, особенно из числа принадлежащих к культурной элите, неизменно высказывают сожаление по поводу того, что власти вынудили Эйнштейна покинуть Германию, но они не в состоянии понять, что убийство из-за угла маленького Ганса Кона было значительно более страшным преступлением, хотя Ганс и не был гением мирового масштаба.

VIII. ДОЛГ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА

Итак, Эйхман имел массу поводов ощущать себя Понтием Пилатом, а по мере того, как месяц сменялся новым месяцем и год шел за годом, он вообще утратил необходимость ощущать что бы то ни было. Все было так, как было, страна жила по новым законам, основанным на воле фюрера, и Эйхман делал то, что ему приходилось делать, оставаясь при этом законопослушным гражданином. Он выполнял свой долг — как он неоднократно говорил на следствии и на суде. Он не только подчинялся *приказам*, он также подчинялся и *закону*. У Эйхмана было смутное ощущение, что между этими двумя категориями имеется существенное различие, но ни защита, ни судьи, похоже, не собирались придавать этому особое значение. Стороны перебрасывались стертыми от многочисленного употребления фразами — «приказы сверху» и «государственные действия», противопоставляя эти фразы одна другой. По поводу этих понятий велись дискуссии еще на Нюрнбергском процессе, поскольку эти фразы давали хоть какую-то иллюзию, что доселе беспрецедентные деяния удастся предать суду, исходя из существующих юридических норм и прецедентов. Эйхман, обладая скромными интеллектуальными возможностями, был, несомненно, последним человеком в зале суда, который взялся бы подвергнуть сомнению эти понятия или выдвигать

нуть собственную концепцию. Он всегда выполнял то, что считал своим долгом законопослушного гражданина, а также действовал на основе приказов (и, будучи человеком осторожным, обычно старался получить официальное распоряжение для обоснования или оправдания своих действий) — а тут, на суде, он окончательно смешался, и дело кончилось тем, что он стал попеременно указывать то на пороки, то на добродетели слепого повиновения — «послушания трупа» (*Kadavergehorsam*), как он сам это назвал.

Первые указания на наличие у Эйхмана смутных ощущений, что ситуация в целом может и не ограничиться общими разговорами о выполнении — «по-солдатски», не рассуждая, — приказов, которые являются криминальными по своей сути и характеру, появились в ходе следствия, когда он неожиданно заявил, явно придавая большое значение своему заявлению, что всю свою жизнь прожил в соответствии с этическими постулатами Канта, основываясь на сформулированном им понятии долга. На первый взгляд, сказанное было просто непостижимо, да к тому же и непонятно, поскольку этические принципы философии Канта тесно связаны со способностью человека к самостоятельному суждению, что полностью исключает идею слепого повиновения. Следователь не обратил на это заявление особого внимания, но судья Равэ, то ли из любопытства, то ли возмущившись тем, что Эйхман посмел связать имя Канта со своими преступлениями, задал обвиняемому соответствующий вопрос. И, ко всеобщему удивлению, Эйхман представил суду достаточно точное определение категорического императива: «Ссылаясь на Канта, я хотел сказать, что принцип моей воли должен всегда быть таковым, чтобы в любое время он мог стать всеобщим нравственным законом» (что, разумеется, не может относиться, допустим, к вору или убийце, поскольку ни для того, ни для другого немислимо пожелание жить в рамках юридической системы, которая узаконивает права других на совершение таких же действий по отношению к нему самому). Отвечая на последующие вопросы, Эйхман сказал, что читал «Критику чистого разума», а затем пустился в рассуждения, признав, что с того момента, как ему было поручена реализация «окончательного решения», он уже больше не живет в соответствии с Кантовскими принципами, что он осознает это и утешает себя мыслью, что он «уже не в состоянии свободно распоряжаться собой», и что он не мог «ничего изменить». Он, однако, так и не сумел обратить внимание суда на то обстоятельство,

что «в период совершения преступлений, легализованных государством» (его собственное определение) он не просто отказался от Кантовских принципов, поскольку они уже не могли быть положены в основу его мировоззрения. Эйхман искажил их, превратив в следующую формулу: «Поступай так, как если бы принципы твоих деяний были такими же, что и принципы законодателя или закона твоей страны». Или, используя формулировку «категорического императива Третьего рейха», данную Гансом Франком (которую Эйхман мог знать): «Поступай так, чтобы фюрер, узнав о твоём деянии, одобрил бы его». Кант, если уж об этом зашла речь, никогда не говорил ничего подобного — напротив, для него всякий человек становится своим собственным законодателем, с того момента, как он начинает свое деяние: основываясь на своем «практическом разуме», человек обнаруживает те принципы, которые могут и должны быть принципами закона. Правда, однако, и то, что бессознательное искажение Эйхманом Кантовских принципов согласуется с той системой, которую он сам назвал «кантианством, пригодным маленькому человеку для домашнего употребления». Для домашнего употребления от кантианства остается лишь требование к человеку делать нечто большее, нежели просто повиноваться закону. Человек должен выйти за пределы простого повиновения и отождествить свою волю с принципами, на которых основан закон, то есть, с источником, давшим жизнь этому закону. В философии Канта этим источником был «практический разум», для «домашнего употребления» Эйхмана достаточно было и воли фюрера. Реализация всех положений «окончательного решения» с предельной старательностью и тщательностью наводит ужас, и люди, не очень хорошо знакомые с немецкой ментальностью, склонны относить это за счет немецкой пунктуальности и торжества принципов бюрократии. На деле же это скорее объясняется типичным для немцев убеждением, что быть законопослушным — это значит не только поступать в согласии с законом, но и вести себя так, будто ты и есть тот законодатель, который разработал этот закон. Отсюда и типичное для немцев убеждение, что следует делать нечто большее, чем требует от законопослушного гражданина его долг.

Какова бы ни была роль Канта в формировании ментальности «маленького человека», нет никакого сомнения в том, что в одном отношении Эйхман и в самом деле строго следовал принципам Канта: закон есть закон, и он не допускает никаких ис-

ключений. На процессе он признал, что за все время сделал лишь два исключения (с учетом того обстоятельства, что у каждого из «80 миллионов хороших немцев имеется знакомый еврей, вполне приличный человек»): он помог своей двоюродной сестре, еврейке наполовину, и посодействовал еврейской супружеской паре из Вены, за которых ходатайствовал его дядюшка. Подобное отклонение от норм закона заставляло его испытывать чувство неловкости, и в ходе перекрестного допроса на суде он начал оправдываться: дескать, он «покаялся в своем грехе», рассказав об этом своему начальству. Такое бескомпромиссное отношение к своим обязанностям убийцы стало для судей едва ли не самым убедительным доказательством его виновности, но в его собственных глазах именно это его и оправдывало, поскольку это заставило окончательно замолчать и без того слабый голос его совести. «Никаких исключений» — в этом и состояло доказательство того, что он всегда поступал вопреки своим «склонностям», будь они сопряжены с соображениям либо сентиментального, либо материального характера. Он всегда выполнял свой «долг».

Выполнение своего «долга» кончилось для него открытым конфликтом с высоким начальством. В последний год войны, более чем два года спустя после Ванзейской конференции, он испытал свой последний кризис совести. По мере того, как близилось военное поражение Германии, к нему все чаще стали обращаться люди из его окружения, которые сначала ходатайствовали о все больших и больших исключениях, а затем и вовсе заводили речь о прекращении акций «окончательного решения». Именно тогда он забыл о своей обычной осторожности и вновь рискнул проявить инициативу. В частности, он распорядился отправить десятки тысяч венгерских евреев из Будапешта к австрийской границе пешком, поскольку союзная авиация разбомбила железнодорожные пути. Но это была уже осень 1944 г., и Эйхман знал о приказе Гимmlера уничтожить газовые камеры Освенцима, знал он также, что война уже практически проиграна. Вскоре после этого Эйхман был вызван к Гимmlеру (это была одна из их считанных встреч за все годы), и Гимmlер — как утверждают — кричал на него в голос: «Если до сих пор ваша задача состояла в уничтожении евреев, то с этого момента я приказываю вам заботиться о них, стать для них нянькой. Не смейте забывать, что это я — не группенфюрер Мюллер, не вы, а я — основал РСХА еще в 1933 г. И приказы здесь отдаю я!» Единственным свидетелем этой

сцены был некий Курт Бехер, личность довольно сомнительная. Эйхман категорически отрицает, что Гиммлер кричал на него, но не отрицает самого факта этой встречи. Вряд ли слова Гиммлера переданы буквально: в конце концов, он-то знал, что дата создания РСХА — 1939 г., а не 1933 г., и что основателем был Гейдрих — разумеется, с одобрения Гиммлера. Тем не менее, нечто похожее на эту сцену могло произойти. Гиммлер тогда действительно отдавал приказы направо и налево, требуя «пристойного» отношения к евреям, поскольку они были его «единственным надежным капиталовложением», и такое поведение рейхсфюрера не могло не потрясти Эйхмана.

Последний кризис совести Эйхмана начался с его поездки в Венгрию в марте 1944 г., когда Красная Армия уже преодолела Карпаты и вышла к венгерской границе. Венгрия присоединилась к гитлеровской коалиции в 1941 г., имея целью захватить территории своих соседей — Словакии, Румынии и Югославии. И раньше венгерское правительство было в высшей степени антисемитским, теперь же они начали депортировать всех не имеющих гражданства евреев с оккупированных территорий. (Почти во всех странах антиеврейские акции начинались с лиц, не имеющих гражданства.) Такие действия не входили в стратегический план «окончательного решения» и противоречили тщательно разработанным тактическим планам, имевшим целью «прочесать Европу с запада на восток», причем действия в Венгрии вообще не относились к числу приоритетных. Не имеющие гражданства евреи были выдворены венгерской полицией на приграничные территории, принадлежавшие Советскому Союзу, что вызвало протесты немецкой оккупационной администрации. Тогда венгры вернули несколько тысяч физически крепких мужчин, а все остальные были расстреляны венгерскими солдатами под руководством немецкой полиции. Фашистский правитель Венгрии адмирал Хорти, однако, не намеревался продолжать антиеврейские акции — возможно, не без влияния итальянских фашистов и лично Муссолини, — и в последующие годы Венгрия (как, впрочем, отчасти и Италия) стала для евреев желанным местом, куда иногда даже удавалось проникнуть беженцам из Польши и Словакии. Аннексия территорий и приток беженцев способствовали увеличению численности евреев в Венгрии с

примерно 500 тысяч человек в довоенные годы до 800 тысяч человек в 1944 г. И в это время в страну прибыл Эйхман.

Как нам известно из современных источников, безопасность 300 тысяч евреев, новых жителей Венгрии, объяснялась не склонностью венгерского правительства предоставить им временное убежище, а нежеланием немецких властей заниматься венгерской проблемой «по частям», поскольку они предпочитали решать ее в целом. В 1942 г., под нажимом министерства иностранных дел Германии, Венгрия предложила выслать всех прибывших в страну беженцев (надо заметить, что сотрудники МИДа регулярно подчеркивали в ходе переговоров с союзниками: лучшим испытанием их верности является не участие в войне, а «решение еврейского вопроса»). Но когда МИД решил согласиться на это предложение Венгрии, Эйхман выступил с возражением: по соображениям технического характера «предпочтительнее подождать, пока Венгрия не пойдет на включение в категорию подлежащих депортации также и своих евреев», потому что было бы экономически неэффективно «запускать весь механизм депортации» ради одной только категории, и это не приведет «к подлинному решению еврейского вопроса в Венгрии». Теперь, в 1944 г., Венгрия была «готова к такому решению», поскольку 19 марта две дивизии вермахта оккупировали страну. В Будапешт прибыли уполномоченный рейха, штандартенфюрер СС д-р Эдмунд Веесенмайер, человек Гимmlера в МИДе, и обергруппенфюрер СС Отто Винкельман. Третьим эсэсовским представителем был Эйхман, эксперт по вопросам «принудительной эвакуации» и «принудительной эмиграции», подчиненный Мюллера и Кальтенбруннера, из РСХА. Гитлер, в беседе с Хорти перед самой оккупацией Венгрии, не оставил никаких сомнений относительно целей, поставленных перед этими офицерами СС, сказав Хорти, что «Венгрия все еще не предприняла мер, необходимых для решения еврейского вопроса» и высказав претензию, что тот «не предоставляет возможностей для уничтожения евреев».

Задача Эйхмана была ясна. Все его подразделение перешло в Будапешт (с карьерной точки зрения — еще одно понижение), что давало ему возможность следить «за принятием необходимых мер». Эйхман не видел проблем, связанных с выполнением своей задачи; его беспокоила только потенциальная реакция венгров, с которой он мог не справиться, поскольку у него

не было достаточно людей и отсутствовало знание местных условий. Эти опасения оказались необоснованными. Венгерская полиция была более чем готова к соответствующим действиям, а Ласло Эндре, новый госсекретарь по еврейским вопросам в министерстве внутренних дел, оказался человеком, «имеющим опыт в решении еврейского вопроса». Эйхман вскоре подружился с ним, и они вместе проводили свободное время. Все шло «как по маслу» (так он обычно отзывался об этом периоде), трудностей практически не было. Не считать же трудностями некоторые расхождения между распоряжениями Эйхмана и пожеланиями его новых друзей. Так, учитывая приближение Красной Армии с востока, Эйхман распорядился «прочесать страну с востока на запад», а это означало, что будапештских евреев не станут депортировать на протяжении первых же недель, а возможно и месяцев — такая перспектива огорчала его венгерских коллег, желавших, чтобы столица первой стала *юденрайн*. («Мечта» Эйхмана обернулась кошмаром для евреев — никогда до этого времени такое количество людей не подвергалось депортации в лагеря уничтожения за столь короткий срок. На протяжении менее чем двух месяцев из страны было отправлено, 147 эшелонами, 434 351 человек, по сто человек в каждом запломбированном товарном вагоне, и газовые камеры Освенцима работали на полную мощность.)

В это время, однако, возникли трудности иного характера. Приказ относительно «оказания помощи в решении еврейского вопроса» имели только трое прибывших в страну старших эссовцев, причем все они принадлежали к разным ведомствам и подчинялись разному начальству. Формально Винкельман был старше Эйхмана по званию, но Эйхман принадлежал к РСХА, и Винкельман не мог отдавать распоряжения офицеру РСХА. Что касается Веесенмайера из МИДа, то он вообще был независим от них обоих. Во всяком случае, Эйхман отказывался принимать распоряжения как от того, так и от другого, всячески игнорируя их присутствие. Но главные трудности возникли с появлением четвертого человека, которого Гиммлер наделил «особыми полномочиями», с учетом того обстоятельства, что Венгрия оставалась единственной европейской страной, где не только проживала большая еврейская община, но, к тому же, евреи все еще занимали видные позиции в экономике. (Из общего числа 110 тысяч промышленных предприятий и магазинов 40 тысяч принадлежа-

ли евреям.) Этим человеком был оберштурмбанфюрер, а затем штандартенфюрер Курт Бехер.

Бехер, старинный недруг Эйхмана (в настоящее время преуспевающий коммерсант в Бремене), был вызван в суд, как ни странно, в качестве свидетеля защиты. В Иерусалим он не смог прибыть по очевидным причинам, и потому давал показания в своем родном немецком городе. Его показания были отклонены судом, потому что те вопросы, на которые он должен был отвечать под присягой, были показаны ему задолго до срока. Очень жаль, что не удалось свести вместе Эйхмана и Бехера, причем не только по причинам юридического характера. Такого рода очная ставка позволила бы выявить еще одну часть «общей картины», которая, даже с чисто юридической точки зрения, могла бы в весьма значительной степени прояснить суть дела. По словам Бехера, он вступил в СС потому, что «с 1932 г. и по сей день активно занимался верховой ездой». В те времена это был вид спорта исключительно для представителей аристократии. В 1934 г. его убедили вступить в кавалерийские части СС — что было весьма подходящим вариантом для человека, который хотел и присоединиться к нацистскому движению, и сохранить свой общественный статус. (Никогда не упоминалась следующая возможная причина, по которой Бехер называл кавалерийские части: решением Нюрнбергского трибунала *Reiter-S.S.* [кавалерийские части СС] были исключены из списка преступных организаций.) Война застала Бехера на фронте, в рядах войск СС; он выполнял функции офицера связи с армейским командованием. Вскоре он оставил действующую армию и стал ведущим поставщиком лошадей для эсэсовских частей; на этой должности Бехер смог получить практически все возможные награды и знаки отличия.

Бехер настаивал на том, что его командировали в Венгрию исключительно для закупки 20 тысяч лошадей, что звучит не очень правдоподобно, поскольку сразу же после своего прибытия он приступил к успешным деловым переговорам с главами еврейских коммерческих организаций. Он был в прекрасных отношениях с Гиммлером и виделся с ним, когда хотел. Суть «особых полномочий» Бехера была очевидна. Он должен был захватить контроль над крупными еврейскими коммерческими организациями, за спиной венгерских властей, а взамен предоставить их владельцам возможность выезда из страны и внуши-

тельные суммы в иностранной валюте. Самая важная из его сделок была заключена с промышленным гигантом, принадлежавшим Манфреду Вейсу, который производил все — от самолетов, грузовиков и велосипедов до консервных банок, иголок и булавок. В результате сделки 45 членов семейства Вейса выехали в Португалию, а Бехер стал главой их предприятия. Узнав об этом Schweinerei (свинстве), Эйхман был взбешен. Эта сделка угрожала его хорошим отношениям с венграми, которые, естественно, рассчитывали на то, что смогут завладеть еврейской собственностью, конфискованной на их родной земле. Его возмущение было вполне обоснованным, поскольку заключенная Бехером сделка противоречила сложившейся нацистской политике, которая была в этом отношении весьма щедрой. За свою помощь в решении еврейского вопроса в любой стране немцы не требовали себе доли еврейской собственности, а только возмещения расходов на депортацию и уничтожение, причем эти расходы определялись по-разному для каждой страны. Так, словаки должны были заплатить от 300 до 500 рейхсмарок за каждого еврея, хорваты — всего 30 рейхсмарок, французы — 700 рейхсмарок, бельгийцы — 250 рейхсмарок. (Похоже, что никто, кроме хорватов, так ничего и не заплатил.) В Венгрии, на заключительной стадии войны, немцы требовали платежей натурой — продовольственными товарами для рейха, в количестве, соответствующем количеству продовольствия, потребленного депортированными евреями.

Но сделка с Вейсом была только началом, и дела (с точки зрения Эйхмана) стали идти все хуже и хуже. Бехер был прирожденным бизнесменом, и там, где Эйхман видел лишь проблемы организационно-административного характера, Бехер видел неограниченные возможности для получения прибыли. Единственным препятствием для него являлись узколобые типы вроде Эйхмана, которые воспринимали свои обязанности с ненужной серьезностью, да к тому же были ниже его по чину. Вскоре оберштурмбанфюрер Бехер установил прямые контакты с д-ром Рудольфом Кастнером.

Именно показаниям Кастнера на Нюрнбергском процессе Бехер обязан своей свободой. Кастнер, старый сионист, после войны перебрался в Израиль, где занимал неплохой пост, пока не разразился скандал в израильской прессе, связанный с его сотрудничеством с эсэсовцами. Кастнер подал иск по обвинению в

клевете, но его показания в Нюрнберге обернулись против него, и когда дело рассматривалось в Иерусалимском окружном суде, судья Биньямин Халеви, бывший затем одним из троих судей на процессе Эйхмана, сказал тогда Кастнеру, что он «продал свою душу дьяволу». В марте 1957 г., незадолго до того, как его дело должно было рассматриваться в Верховном суде Израиля, Кастнер был убит, и похоже, что ни один из его убийц не был выходцем из Венгрии. В ходе последовавших за тем слушаний, решение суда низшей инстанции было отменено, и Кастнер был полностью оправдан.

Сделки, которые Бехер заключал с Кастнером, были значительно более простыми, чем договоры с крупными магнатами: речь обычно шла о конкретной цене за жизнь конкретного еврея. Они торговались по каждому пункту, и есть сведения, что в некоторых случаях Эйхман также принимал участие в обсуждениях условий. Характерно, что предлагаемая им цена бывала обычно самой низкой, всего 200 долларов за человека — не потому, разумеется, что ему хотелось спасти как можно большее количество евреев, а потому, что он просто не приучен был мыслить масштабно. В конечном итоге цена остановилась на отметке 1 000 долларов, и группа в составе 1 684 евреев, включая семью д-ра Кастнера, выехала из Венгрии сначала в лагерь Берген-Бельзен, а оттуда уже в Швейцарию. В рамках аналогичной сделки Бехер и Гиммлер надеялись получить 20 миллионов швейцарских франков от Джойнта, но переговоры, которые велись буквально вплоть до дня освобождения Венгрии Красной Армией, закончились безрезультатно.

Нет никаких сомнений, что вся деятельность Бехера осуществлялась при полном одобрении Гиммлера и вразрез с его старыми, «радикальными» приказами, которые все еще поступали Эйхману через Мюллера и Кальтенбруннера. По мнению Эйхмана, люди типа Бехера были коррумпированными, но коррупция сама по себе уже не была в состоянии вызвать у него кризис совести, поскольку он, по всей видимости, не будучи лично подверженным этому искушению, на протяжении многих последних лет был окружен исключительно коррупционерами. Трудно, хотя все же и возможно представить себе, что он не знал про своего приятеля и подчиненного, хауптштурмфюрера Дитера Вислицени, который еще в 1942 г. получил 50 тысяч долларов от еврейской организации в Братиславе за то, что отсрочил депортацию

евреев из Словакии. Эйхман, однако, не мог не знать, что Гиммлер осенью 1942 г. пытался продать разрешения на выезд словацких евреев на такую сумму в иностранной валюте, которой хватило бы для формирования новой эсэсовской дивизии. Теперь же, в 1944 г., в Венгрии, все было по иному, и не потому, что Гиммлер сам был вовлечен в махинации, а потому, что махинации, утратив элемент коррупции, стали государственной политикой.

Поначалу Эйхман попробовал стать как все и действовать по новым правилам — это было в рамках сделки «товары за кровь»: свобода для миллиона евреев в обмен на десять тысяч грузовиков для немецкой армии (разумеется, сделка не являлась его инициативой). На процессе он объяснял свою роль в этой сделке в тех же выражениях, в каких он, несомненно, уже оправдывал ее в 1944 г.: это делалось в интересах армии, и одновременно шло на пользу его репутации как эксперта по вопросам эмиграции. Сделка закончилась, как нетрудно было предугадать, неудачей, а вскоре стало ясно, что Гиммлер, несмотря на свои постоянные колебания и сомнения, легко объясняемые, помимо всего прочего, его чисто физическим страхом перед Гитлером, отдал распоряжение прекратить осуществление программы «окончательного решения», вообразив себя в роли спасителя, который принесет мир Германии. Именно в этот период в СС сформировалась «группа умеренных», в состав которой вошли две категории: глупцы, надеявшиеся доказать, что на деле они убили меньше людей, чем могли бы, и рассчитывавшие получить за это снисхождение, и умники, которые поняли: все возвращается к прежним временам, когда значение имеют только деньги и надежные связи.

Эйхман не присоединился к этой «группе умеренных», да и сомнительно, чтобы его приняли, даже если бы он и предпринял такую попытку. Прежде всего, он очень скомпрометировал себя. Кроме того, благодаря своим постоянным контактам с еврейским функционерами, он был слишком известной фигурой. Но самое главное: он был слишком примитивен для всех этих господ с приличным образованием и достойным социальным статусом, против которых он затаил столь глубокое чувство негодования и обиды. Он вполне справлялся со своими обязанностями и смог послать на смерть миллионы людей, но он не умел говорить о своих обязанностях иначе, как придерживаясь не им придуман-

ных «языковых правил». На процессе, отрешившись от этих правил, он свободно говорил об «убийствах» и «убийцах», о «преступлениях, легализованных государством», и вообще называл вещи своими именами — в отличие от защитника, который непрерывно демонстрировал Эйхману свое социальное превосходство. Помощник Серватиуса, д-р Дитер Вехтенбрюк, присутствовавший на процессе в течение нескольких первых недель, а затем отбывший в Германию, опрашивать свидетелей защиты и вернувшийся только в конце августа, охотно общался с журналистами. Он, казалось, был прямо-таки шокирован не столько преступными деяниями Эйхмана, сколько отсутствием у него вкуса и пробелами в образовании. «Мелкая сошка, — сказал он. — Ну, посмотрим, как удастся вытащить его из этой ямы». Сам же Серватиус объявил во всеулышанье, еще до суда, что по свойствам своего характера его клиент — это «обыкновенный почтальон».

После того, как Гиммлер стал «умеренным», Эйхман принялся саботировать его приказы — в той степени, в какой у него хватало на это смелости; впрочем, он решался на это, если у него имелось некое «прикрытие». Как-то Кастнер спросил Вислицени: «Разве он не боится идти наперекор Гиммлеру?», на что тот ответил: «У него, наверное, имеется соответствующая телеграмма за подписью Мюллера или Кальтенбруннера...» Не исключено, что у Эйхмана имелся некий неясный план ликвидации Терезиенштадта до прихода туда советских войск. Впрочем, мы знаем об этом только со слов Дитера Вислицени, который за несколько месяцев — а, может, и несколько лет — до конца войны начал тщательно подбирать себе, за счет Эйхмана, оправдательные свидетельства, которые он затем представил на Нюрнбергском процессе, где он выступал в качестве свидетеля обвинения. Впрочем, ему это не очень помогло, поскольку он был выдан Чехословакии, осужден и казнен в Праге. Другие свидетели, напротив, утверждали, что план ликвидации Терезиенштадта был предложен Рольфом Гюнтером, одним из подчиненных Эйхмана, и что имелся письменный приказ Эйхмана, запрещающий ликвидацию. Как бы то ни было, известно, что в апреле 1945 г., когда «вполне умеренными» стали практически все поголовно, Эйхман, во время посещения Терезиенштадта представителем швейцарского Красного Креста Полем Дунаном, сделал заявление «для протокола», что он не одобряет новую политику Гиммлера относительно евреев.

Безусловно, ни у кого не вызывал сомнения тот факт, что Эйхман во все времена делал все от него зависящее, чтобы обеспечить безусловную реализацию «окончательного решения». Вопрос заключается лишь в том, действительно ли это свидетельствовало о его фанатизме и безграничной ненависти к евреям; лгал ли он на следствии и лжесвидетельствовал ли под присягой, заявляя, что всегда лишь только подчинялся приказам. Никаких других объяснений в голову не приходило судьям, прилагавшим все усилия, чтобы понять обвиняемого, проявляя к нему такое глубокое внимание и гуманное отношение, какого он, возможно, не знал на протяжении всей своей жизни.

Д-р Вехтенбрюк как-то сказал журналистам, что Эйхман «испытывает глубочайшее доверие к судьбе Ландау», — будто Ландау смог бы во всем разобраться и все уладить, — и объяснил такое отношение Эйхмана его тягой к человеку, облеченному властью. Надо сказать, что атмосфера доверия буквально окутывала весь процесс, каковы бы ни были этому причины — видимо, потому Эйхмана так поразила приговор: ведь он все это время принимал человеческое отношение за мягкость. Судьи так и не смогли понять подсудимого, и это может служить лишним доказательством того, насколько добры и хороши эти три человека, насколько они веруют, благостно и чуть старомодно, в моральные основы своей профессии. Ведь печальная и достаточно тревожная истина заключается, вероятно, в том, что вовсе не фанатизм, а совесть заставила Эйхмана занять столь бескомпромиссную позицию на протяжении последнего военного года — точно так же, как совесть побудила его к действиям противоположного характера (пусть и на короткое время) три года тому назад. Эйхман знал, что приказы Гимmlера напрямую противоречат приказу Гитлера. Он не нуждался в конкретных деталях, хотя знание таких деталей могло бы и укрепить его позицию (так, обвинитель подчеркнул в своем обращении в Верховный суд Израиля следующий факт: после того, как Гитлер узнал через Кальтенбрунера о сделке «товары за кровь», престиж Гимmlера в глазах фюрера был полностью подорван). И всего лишь за несколько недель до приказа Гимmlера о прекращении действия газовых камер в Освенциме, Гитлер, явно не осведомленный об этих действиях Гимmlера, направил Хорти ультиматум, в котором заявил, что «ожидает от правительства Венгрии принятия безотлагательных мер против евреев страны». Когда в Будапеште был получен при-

каз Гиммлера о прекращении депортации венгерских евреев, Эйхман выступил с угрозами «обратиться к фюреру для отмены такого распоряжения», и суд признал такое заявление «более компрометирующим, чем показания ста свидетелей».

Эйхман потерпел поражение в своей борьбе с «умеренными», возглавляемыми рейхсфюрером СС и шефом немецкой полиции. Первым свидетельством такого поражения стал приказ от 25 января 1945 г. о присвоении оберштурмбанфюреру СС Курту Бехеру очередного звания штандартенфюрера (полковника), то есть, того звания, о котором Эйхман мечтал всю войну. Кстати, его сетования о том, что в рамках своего подразделения он был лишен возможностей роста, были не совсем точны: он мог получить должность главы отдела IV-B, то есть, подняться со своей должности начальника подотдела IV-B-4, и тем самым ему автоматически было бы присвоено очередное звание. Суть дела, видимо, заключалась в том, что люди вроде Эйхмана, сделавшие карьеру с самых низов, не имели возможности получить звание выше подполковника — разве что на фронте. В январе Венгрия была освобождена, и Эйхмана отозвали в Берлин. Его недруг Бехер был назначен Гиммлером на пост начальника всех концлагерей, а самого Эйхмана рейхсфюрер перевел из отдела по еврейским делам на соответствующую должность в отделе по делам религиозных учреждений. Это было маловажное подразделение, и к тому же Эйхман ничего не понимал в делах религиозных учреждений. Стремительность его падения в последние месяцы войны может служить лишним свидетельством того, что именно имел в виду Гитлер, заявивший в своем берлинском бункере в апреле 1945 г., что он «не может больше доверять СС».

На процессе в Иерусалиме, когда ему были представлены документальные свидетельства его исключительной верности Гитлеру, Эйхман многократно пытался объяснить, что в годы Третьего рейха «слово фюрера имело силу закона», и это значило, помимо всего прочего, что если приказ исходит лично от Гитлера, то он не обязательно должен быть оформлен в письменном виде. Он пытался объяснить, что именно поэтому он никогда не ждал письменных приказов от Гитлера (действительно, никакого официального распоряжения относительно «окончательного решения» никогда не было обнаружено — возможно, такой документ никогда и не существовал), но всегда требовал, чтобы ему

показывали письменные приказы Гиммлера. В самом деле, это было абсолютно фантазмагорическая ситуация, и целые библиотеки «научных» юридических комментариев были написаны с целью продемонстрировать, что слова фюрера, его устные высказывания, были основным законом страны. В рамках такой «юридической» системы любой приказ, противоречащий, по духу или по сути, сказанному Гитлером слову, был, по определению, незаконным. Таким образом, ситуация, в которой оказался Эйхман, в полной мере соответствовала ситуации, когда солдат, действуя в рамках нормальной юридической системы, отказывается выполнять приказы, противоречащие его сложившемуся представлению о законности и, тем самым, воспринимаемые им как незаконные. Существующая обширная литература по этому вопросу, как правило, признает его правоту, с учетом неоднозначного толкования понятия «закон», что в данном контексте означает иногда закон данного государства, то есть, установленный, безусловный закон, а иногда закон, который, как предполагается, звучит с одинаковой силой в глубине души каждого человека. С практической точки зрения, однако, приказы, которые люди отказываются выполнять, должны быть «самоочевидно противозаконными», и эта противозаконность должна, по словам одного из судей, «речь над ними как черный флаг, как запрещающий знак». В условиях же преступного режима этот «черный флаг» развевается над такими приказами, которые в нормальной жизни считаются законными — например, приказ не убивать невинных людей за то только, что они евреи. Игнорировать же голос совести — или, если воспользоваться обтекаемым юридическим языком, «общепризнанные гуманистические чувства» [см. Oppenheim-Lauterpacht, в *International Law*, 1952] — значит не просто приводить в качестве аргумента спорные положения, это означает умышленный отказ от основополагающих этических, юридических и политических принципов нашего времени.

Строго говоря, действия Эйхмана определялись не исключительно его убежденностью в том, что Гиммлер начал отдавать «преступные» приказы. Безусловно, нельзя скидывать со счетов и личностный фактор — но не фанатизм, а его подлинное, «безграничное и непомерное» обожание Гитлера — человека, поднявшегося «от ефрейтора до рейхсканцлера». Нет смысла пытаться понять, что в большей мере определяло его поведение — обожание Гитлера или твердое намерение оставаться законопос-

лушным гражданином Третьего рейха, в то время, как Германия уже была в руинах. Оба мотива сыграли в его душе с новой силой, когда он прибыл в Берлин, уже перед самым окончанием войны, и с негодованием наблюдал, как все окружающие деловито запасались фальшивыми документами, в ожидании прихода русских или американцев. Несколько недель спустя Эйхман также отправился в путь с фальшивыми документами, но к этому времени Гитлер уже был мертв, законы рейха уже не действовали, а он, по его собственному заявлению, был свободен от данной им клятвы. Поскольку эсэсовцы клялись в верности не Германии, а лично Гитлеру.

Вопрос, связанный с совестью Адольфа Эйхмана — это, несомненно, не простой вопрос, но вместе с тем, и не единственный в своем роде. Вряд ли он сопоставим с аналогичным вопросом, касающимся генералов рейха, один из которых, будучи спрошенным в Нюрнберге: «Как же вы, достопочтенные генералы, могли верой и правдой служить убийце?», ответил, что «не солдатское дело судить своего верховного командующего; пусть этим займется история, или Господь на небесах». (Это был генерал-полковник Альфред Йодль, главный военный советник Гитлера, повешенный по приговору Нюрнбергского суда.) Эйхман, человек значительно более ограниченного интеллекта и с образованием, которое вряд ли заслуживает такого названия, во всяком случае осознал, пусть и смутно, что не подчинение приказам, а следование закону превратило их всех в преступников. Различие между приказом и словом фюрера заключалось в том, что юридическая сила слов Гитлера не была ограничена ни во времени, ни в пространстве. В этом заключается истинная причина того, что приказ фюрера относительно «окончательного решения» сопровождался целым рядом инструкций, нормативов и директив, причем подготовленных не администраторами, а опытными юристами и юридическими советниками. Приказ этот, в отличие от обычных приказов, расценивался как закон. Следует ли добавлять, что все вызванные им к жизни юридические атрибуты не просто свидетельствовали о немецком педантизме, но были направлены на придание ему юридической достоверности.

И если в цивилизованных странах закон исходит из допущения, что голос совести говорит всем и каждому «Не убий», пусть даже порой возникают ситуации, способствующие убийству, то в стране нацизма закон требовал, чтобы голос совести гово-

рил всем и каждому «Убивай», хотя организаторы массовых убийств превосходно знали, что убийство противоречит нормальным желаниям и склонностям большинства людей. Зло в Третьем рейхе утратило то свойство, которое позволяет большинству людей распознавать его — а именно, свойство искушения. Многие немцы и многие нацисты — возможно, в подавляющем большинстве — не могли не испытывать искушение *не убивать, не грабить, не обрекать ближнего своего на смерть* (они, разумеется, знали, что депортация обрекает евреев на смерть, хотя многие не имели представления обо всех ужасах этой смерти), *не становиться сообщниками и соучастниками всех этих преступлений*. Но — Бог свидетель — они научились успешно не поддаваться этим искушениям.

IX. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ РЕЙХА — ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, ПРОТЕКТОРАТ

В период между Ванзейской конференцией в январе 1942 г., когда Эйхман, на манер Понтия Пилата, умыл руки в знак того, что он непричастен к происходящему, и приказами Гимmlера осенью 1944 г., когда за спиной Гитлера «окончательное решение» было отменено, как будто бы все эти массовые убийства были лишь прискорбной ошибкой, совесть не беспокоила Эйхмана. Его мысли были всецело заняты административными и организационными задачами, которые приходилось решать не просто в условиях мировой войны, но и с учетом всех бесчисленных интриг, а также борьбы за сферы влияния между различными партийными и государственными структурами, принимающими участие «в решении еврейского вопроса». Его основными конкурентами были старшие офицеры СС и полиции, которые подчинялись непосредственно Гимmlеру и потому имели к нему постоянный доступ, да к тому же все они были выше его чином. Большую активность проявлял и персонал министерства иностранных дел, особенно новый заместитель министра, протеже Риббентропа, д-р Мартин Лютер.

(Лютер попытался подсадить Риббентропа в 1943 г., но его многоходовая интрига потерпела неудачу, и он оказался в концлагере; его преемник, Эберхард фон Тадден, занявший пост референта по еврейскому вопросу, выступал в качестве свидетеля защиты на процессе Эйхмана.) Армейское командование на восточных оккупированных территориях предпочитало «решать проблемы на месте», что на их языке означало «расстрел». Напротив, старшие офицеры войск, расположенных в Западной Европе, были очень осторожны и неохотно откомандировывали армейские части для проведения облав и арестов. Были еще гаулейтеры, руководители на местах, каждый из которых стремился первым объявить свою территорию *юденрайн*, и потому они, случалось, начинали депортацию по собственной инициативе.

В задачи Эйхмана входила координация всех этих «действий» и хоть какое-то упорядочение этого, по его собственным словам, «полнейшего хаоса», когда «каждый отдает свои приказы» и «делает все, что захочется». В конечном итоге он сумел, хотя и не в полной мере, занять ключевую позицию, поскольку его отдел занимался транспортными задачами. Как показал выступавший на Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля обвинения д-р Рудольф Мильднер, шеф гестапо Верхней Силезии (где находился Освенцим), а впоследствии шеф полиции Дании, приказы о депортации отдавались, в письменном виде, Гиммлером. Их получал глава РСХА Кальтенбруннер, который отдавал распоряжения Мюллеру, главе гестапо, или Отдела IV РСХА, который, в свою очередь, доводил их, в устной форме, до сведения подотдела IV-B-4, то есть, до Эйхмана. Гиммлер также отдавал распоряжения старшим офицерам СС и полиции, ставя в известность об этом Кальтенбруннера. Вопросы о судьбе депортированных — сколько должно быть уничтожено, сколько использовано на тяжелых работах — также решались Гиммлером, и его приказы передавались в ВФХА, Главное административно-хозяйственное управление, возглавляемое Освальдом Полем, который переадресовывал их Рихарду Глюку, отвечающему за все концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Глюк уже доводил приказы до сведения комендантов лагерей. Обвинитель на процессе Эйхмана игнорировал эти показания, полученные в Нюрнберге, поскольку они противоречили его теории, согласно которой Эйхман был облечен абсолютной властью по всем этим вопросам, и когда защитник представил письменные показания

Мильтнера, данные им под присягой, то они не были приняты во внимание. Эйхман сам представил суду 17 многоцветных схем, которые, впрочем, не многое смогли прояснить в функционировании сложнейшей бюрократической машины Третьего рейха, хотя его основной тезис («все находилось в постоянном движении, представляя собой равномерный и устойчивый поток») звучал вполне правдоподобно для исследователей, занимающихся вопросами тоталитаризма, которые отлично знают, что все разговоры о сплоченных действиях правящих тоталитарных структур — не более, чем миф. Эйхман смутно припоминал, как его подчиненные и советники по еврейскому вопросу в оккупированных и полунезависимых странах докладывали ему, «какие действия и в какой мере были целесообразными», а он, в свою очередь, готовил «отчеты, которые затем либо одобрялись, либо подвергались критике», после чего Мюллер подписывал соответствующие директивы. На практике это могло означать, что предложение, пришедшее из Парижа или Гааги, через две недели отправлялось обратно в Париж или Гаагу, уже в форму директивы, одобренной РСХА. Подразделение Эйхмана играло в системе ключевую роль, поскольку именно здесь решалось, какое количество евреев должно быть транспортировано, какие для этого существуют технические возможности, и здесь же определялись конкретные маршруты каждого эшелона, хотя общее направление перевозок задавалось на более высоких уровнях. Однако все сложности, связанные с координацией времени отправления и прибытия эшелонов, а также с увязкой графика движения эшелонов и существующего железнодорожного расписания, с получением у министерства транспорта достаточного количества вагонов, с направлением эшелонов в «центры уничтожения, имеющие в настоящий момент необходимую пропускную способность», с обеспечением достаточного количества евреев в каждой из точек маршрута, чтобы не допускать «холостых пробегов» подвижного состава, с соблюдением всех правил и требований, предъявляемых к перевозке разных категорий узников, которые были различными для каждой из стран и постоянно подвергались пересмотру — все это превратилось в рутинную работу, детали которой Эйхман забыл задолго до начала судебного разбирательства.

То, что для Гитлера, единоличного автора «окончательного решения» (если этот план и был «заговором», то ни один еще за-

говор в истории не знал столь малого числа заговорщиков при столь огромном числе исполнителей) было одной из главных и первоочередных задач войны, реализуемой без учета экономических, а порой и военных соображений, то, что для Эйхмана было работой, повседневной работой, со всеми ее плюсами и минусами, — все это стало для евреев концом света, в самом буквальном смысле слова. На протяжении многих веков они привыкли воспринимать свою историю (правильное это было восприятие или нет — другой разговор) как долгую цепь страданий, о чем, в частности, говорил и обвинитель в своей вступительной речи на процессе. Однако никакие страдания не могли поколебать их горделивой уверенности в том, что *«ам исраэль хай»*, народ израильский жив — евреи и их семьи могут погибнуть во время погромов, целые общины могут быть уничтожены, но народ будет жить. Перед еврейским народом никогда не стояла угроза геноцида. С древних времен, с начала европейской истории, евреи, нищие или процветающие, принадлежали к европейскому миру. На протяжении последних полутора веков их существование в целом изменилось к лучшему, и процветание стало восприниматься, главным образом, в Центральной и Западной Европе, скорее как норма. Уверенность в том, что еврейский народ будет жить всегда, стала сама собой разумеющейся для значительного числа еврейских общин. Еврейская жизнь представлялась им исключительно в рамках европейской цивилизации, а существование вне ее пределов было также немыслимо, как и жизнь Европы без евреев.

Конец света наступал в каждой из стран Европы по-своему, и это вряд ли могло удивить историков, знакомых со своеобычным развитием европейских наций и особенностями формирования национальных государственных систем — но явилось полной неожиданностью для нацистов, которые были искренне уверены, что антисемитизм может стать тем общим знаменателем, который в состоянии способствовать объединению всей Европы. Эта была чудовищная ошибка, и обошлась она им очень дорого. Скоро выяснилось, что на практике — хотя, может, теория этого и не предусматривала — существуют весьма большие различия между антисемитами разных стран. Самым неприятным сюрпризом для нацистов — хотя его-то как раз вроде бы и нетрудно предвидеть — было то, что «радикальный» немецкий антисемитизм оказалось свойственным лишь

тем народам, которых нацисты также относили к категории «недочеловеков» и варваров: украинцам, эстонцам, латышам, литовцам и отчасти румынам. Практически полное отсутствие враждебности по отношению к евреям проявили скандинавы, которых нацисты считали братьями по крови (Кнут Гамсун и Свен Гедин оказались исключением).

Конец света начался, разумеется, в Германском Рейхе, который включал тогда, помимо Германии, также Австрию, Моравию и Богемию, Чешский протекторат и аннексированные западные районы Польши, получившие название Вартегау. Именно оттуда евреи, наряду с поляками, были депортированы на восток (это было первое крупномасштабное переселение на восточные территории), а одновременно поляки немецкого происхождения (*Volksdeutsche*) были переселены на запад, «домой в рейх». Гиммлер поручил проведение «эмиграции и эвакуации» Гейдриху, и в январе 1940 г. было создано первое официальное место работы Эйхмана в рамках РСХА, отдел IV-D-4. Хотя с административной точки зрения эта должность оказалось для Эйхмана лишь ступенькой на пути в отдел IV-B-4, именно здесь он, занимая своей старой работой, принудительной эмиграцией, осваивал и свою будущую специальность — депортацию. Его первые депортации не относились к «окончательному решению», поскольку они производились до соответствующего приказа Гитлера. Можно сказать, что это были первые, пробные, действия нацистов, с которых начиналась Катастрофа европейского еврейства. На протяжении одной ночи 13 февраля 1940 г. были депортированы 1 300 евреев из Штеттина. Это была первая депортация немецких евреев, и Гейдрих распорядился относительно ее проведения под тем предлогом, что «их жилье срочно потребовалось по причинам, имеющим отношение к военной экономике». Штеттинские евреи были переселены в район Люблина в Польше, где условия жизни были совершенно невыносимыми. Вторая депортация была проведена осенью того же года. Всех евреев Бадена и Саар-Пфальца, примерно 7 500 мужчин, женщин и детей, отправили, как уже говорилось, в «свободную зону» Франции, что явилось неприятным сюрпризом для правительства «Виши», поскольку франко-германское перемирие не предусматривало такого рода действий. Эйхману пришлось сопровождать эшелон до границы и там лично убеждать французов, что речь идет о «немецком военном транспорте».

Эти две депортации не были «юридически подготовлены», потому что еще не были приняты соответствующие законы, на основании которых депортируемых евреев стали потом лишать гражданства в момент пересечения границ рейха; и вместо заполнения многочисленных хитроумных форм, на основе которых депортируемые лишались всей своей собственности, штеттинские евреи подписали лишь документ общего характера об отказе от всего, чем они владели. Несомненно, задачей этих первых депортаций не была проверка того, как функционирует административный аппарат — оценивалась общая политическая ситуация: можно ли заставить евреев самих идти навстречу своей гибели, в ночные часы, неся свои жалкие пожитки, как отреагируют соседи, обнаружив утром опустевшие дома, и — что также весьма немаловажно, в случае с евреями из Бадена, — как иностранное правительство отреагирует на неожиданное появление тысяч еврейских «беженцев». И нацисты могли без труда убедиться, что все прошло вполне успешно. В самой Германии наблюдалась некоторая реакция в отдельных случаях — например, когда поэт Альфред Момберт был вынужден эмигрировать в Швейцарию, — но в целом население продемонстрировало полное равнодушие. Возможно, именно тогда Гейдрих осознал, насколько важно будет отделить известных евреев, имеющих широкий круг знакомств, от всех остальных, и принял, с ведома и согласия Гитлера, решение о создании Терезиенштадта и Берген-Бельзена. Во Франции ситуация сложилась еще более благоприятным для нацистов образом: правительство «Виши» отправило 7 500 евреев из Бадена в печально известный концлагерь Гур у подножья Пиренеев, который первоначально был построен для бойцов Испанской республиканской армии, а с мая 1940 г. использовался для так называемых «беженцев немецкого происхождения», в большинстве своем, разумеется, евреев. (Когда Франция приступила к «окончательному решению», все заключенные концлагеря Гур были отправлены в Освенцим.) Нацисты, с их склонностью к обобщениям, полагали, что им удалось доказать две вещи: присутствие евреев «нежелательно» во всех странах и каждый нееврей — это фактический или потенциальный антисемит. А раз так — то зачем же создавать себе лишние хлопоты и почему бы не решить проблему «радикальным образом»? Все еще находясь под гипнозом обобщений, Эйхман снова и снова жаловался на суде, что ни одна страна не изъявляла готовности при-

нять евреев и что это, только это, стало причиной Катастрофы. (Можно подумать, что все эти тесно сплоченные европейские государства реагировали бы иначе, если бы им на голову свалилась какая-либо иная группа иностранцев, также без гроша, без паспортов, не говорящая на языке этого государства.) Тем не менее, к вящему удивлению нацистов, даже самые убежденные антисемиты в этих странах не проявили намерений «быть последовательными» в своем поведении и продемонстрировали достойную сожаления склонность уклоняться от принятия «радикальных» мер. Как сказал сотрудник посольства Испании в Берлине, выдавая испанские паспорта 600 евреям испанского происхождения, которые никогда не жили в Испании, «если бы только мы могли быть уверенными в том, что здесь их не ликвидируют». Немногие, правда, высказывались с такой прямоотой, но думали так многие и многие.

После этих первых пробных шагов депортации была временно приостановлена, и Эйхман использовал время вынужденного бездействия, занимаясь Мадагаскарским проектом. Но в марте 1941 г., в процессе приготовления к войне с СССР, Эйхман возглавил новое подразделение — строго говоря, его отделу было дано новое название: вместо «Отдела эмиграции и эвакуации» он стал именоваться «Отделом по еврейским делам и эвакуации». С этого момента Эйхман понял, даже еще не будучи знакомым с планом «окончательного решения», что период эмиграции безусловно кончился и настало время депортации. Однако Эйхман был не из тех, кто понимает намеки, и поскольку ему не было отдано четких указаний, он продолжал мыслить в терминах эмиграции. Так, на совещании с представителями министерства иностранных дел в октябре 1940 г., где было предложено лишить немецкого гражданства всех находящихся за границей немецких евреев, Эйхман высказал решительный протест, заявив, что «такой шаг может оказать негативное воздействие на позицию стран, которые, по состоянию на сегодняшний день, все еще готовы принимать еврейских эмигрантов и давать разрешение на въезд». Он всегда мыслил в узких рамках действующих на настоящий момент законов и распоряжений, а лавина новых антиеврейских законов обрушилась на евреев рейха только после того, как приказ фюрера об «окончательном решении» был доведен до исполнителей. Тогда же было принято решение относительно того, что территория рейха должна стать *юденрайн* в первую очередь и в

кратчайшие сроки. Можно только удивляться, что на это потребовалось почти два года. Предварительные законодательные меры, послужившие впоследствии образцом для других стран, включали, во-первых, введение отличительных знаков (1 сентября 1941 г.); во-вторых, изменение закона о гражданстве, предусматривающего, что евреи, живущие за пределами рейха, не могут считаться немецкими гражданами; в-третьих, принятие указа, согласно которому все имущество лишившихся гражданства евреев должно быть конфисковано в пользу рейха (25 ноября 1941 г.). В качестве заключительной меры было подписано соглашение между министром юстиции Отто Тиераком и Гиммлером, в рамках которого «поляки, русские, евреи и цыгане» передаются под юрисдикцию СС, поскольку «министерство юстиции не в состоянии принимать меры по их уничтожению [так!] в достаточно широких масштабах». (Такой откровенный язык в письме, направленном министром юстиции в октябре 1942 г. Мартину Борману, руководителю партийной Канцелярии, в высшей степени примечателен.) Евреи, депортированные в Терезиенштадт, были в ином положении — их не лишали немецкого гражданства, поскольку Терезиенштадт оставался территорией рейха. Однако по отношению к этим «привилегированным категориям» евреев применялся старый закон 1933 г., согласно которому допускалась конфискация собственности, если владелец этой собственности мог использовать ее для совершения действий, «враждебных народу и государству». На этом же основании конфисковалось имущество политических узников концлагерей. К осени 1942 г. евреев, относящихся к этой категории, на территории Германии и Австрии уже не оставалось, к этому времени даже концлагеря на этой территории стали *юденрайн*. Чтобы узаконить окончательную конфискацию еврейского имущества, понадобилось принять (в марте 1942 г.) всего лишь один дополнительное постановление, объявляющее всех депортированных евреев лицами, «враждебными народу и государству».

Нацисты относились к своему законодательству с полной серьезностью, и хотя в неофициальных разговорах речь могла идти о «гетто Терезиенштадта» или о «гетто стариков», официально Терезиенштадт числился по разряду концлагерей, и об этом не знали лишь сами узники — администрация лагеря «щадил их чувства», поскольку узники были евреями привилегированных категорий. А чтобы у посланных туда евреев не возника-

ло никаких подозрений, представительному органу евреев Германии (*Reichsvertretung*) было предписано заключать с каждым из направляемых туда евреев специальный договор «о приобретении местожительства» в Терезиенштадте. Будущий узник передавал все свое имущество в пользу *Reichsvertretung*, взамен на гарантированное обязательство, что в Терезиенштадте ему будут предоставлены, пожизненно, жилье, питание, медицинское обслуживание и одежда. Когда же, в конце концов, последние сотрудники *Reichsvertretung* сами были отправлены в Терезиенштадт, все накопленные таким образом средства были конфискованы в пользу рейха.

Вся депортация с запада на восток организовывалась и координировалась Эйхманом и его подчиненными из отдела IV-B-4 РСХА, и этот факт ни разу не подвергался сомнению в ходе всего процесса. Но для того, чтобы посадить евреев в вагоны, требовалась помощь полиции. В Германии эшелоны охраняла уголовная полиция, а на восточных территориях — политическая полиция (не следует путать со службой безопасности Гиммлера, СД). Полицейские встречали эшелоны непосредственно по прибытии и передавали заключенных лагерной администрации. Иерусалимский суд следовал установленным в Нюрнберге определениям «преступных организаций», согласно которым ни уголовная, ни политическая полиция не были включены в список таких организаций, хотя их активное вовлечение в действия по осуществлению «окончательного решения» было к этому времени достаточно образом подтверждено. Но даже если бы все полицейские силы были добавлены к числу тех четырех организаций, которые были определены как «преступные», а именно, верхушка Национал-социалистической партии, гестапо, СД и СС, все равно данные в Нюрнберге определения оказались бы недостаточными и неприменимыми в реальных условиях Третьего рейха. Дело в том, что в Германии, по крайней мере, на протяжении военных лет, не существовало ни единой организации или общественной структуры, которые не были бы замешены в преступной деятельности или операциях.

После того, как путем создания Терезиенштадта была решена судьба «известных евреев», еще две проблемы по-прежнему препятствовали осуществлению «радикального», или «окончательного» решения. Одна — это проблема «евреев наполовину» — которых «радикалы» предлагали депортировать вместе со

всеми остальными, а «умеренные» предлагали ограничиться стерилизацией, поскольку «убийство такого еврея означает убийство и той его половины, которая является немецкой» — как подчеркивал Штукарт из министерства внутренних дел на Ванзейской конференции. Фактически, никаких мер вообще не было предпринято по отношению к *Mischlinge*, то есть, тем евреям, которые состояли в смешанных браках; эта проблема была окружена, по словам Эйхмана, «целым лесом трудностей» — достаточно только упомянуть позицию их нееврейских родственников, а кроме того, немецкие медики, несмотря на все их многочисленные заверения, так и не нашли способ быстрой и массовой стерилизации. Вторая проблема состояла в том, что в Германии проживало несколько тысяч евреев-иностранцев, которых нацисты не могли лишиться гражданства путем депортации. Несколько сот американских и английских евреев были интернированы и содержались в специальном лагере для последующего обмена. При этом представляется весьма поучительным рассмотреть, как именно нацисты обращались с гражданами нейтральных или союзных государств, тем более что об этом шла речь и на процессе. Именно по отношению к этим людям Эйхман был обвинен в «чрезмерном рвении», поскольку он опасался, что хотя бы один еврей сможет «ускользнуть». Эти его опасения, по словам Джеральда Рейтлингера, «разделяли сотрудники министерства иностранных дел, которые не могли и в мыслях допустить, что хоть кто-то сможет избежать мучений и медленной смерти», и с которыми Эйхман постоянно консультировался, по каждому такому случаю. Что до Эйхмана, то для него простейшим и самым логичным решением была бы депортация всех евреев, вне зависимости от их гражданства. Согласно директивам Ванзейской конференции, созванной в лучшие дни гитлеровского режима, «окончательное решение» относилось ко всем европейским евреям, численность которых, согласно оценке, составляла 11 миллионов человек, а такие детали, как гражданство, или права граждан союзных либо нейтральных государств, просто не упоминались. Но Германия, даже на пике своих военных побед, вынуждена была считаться с мнением иностранных государств. Таким образом, опытные сотрудники МИДа Германии вынуждены были искать тропинки в этом «лесу трудностей», и наиболее изощренным оказался следующий способ, простой и тонкий одновременно, причем безусловно превосходящий интеллектуальные

возможности Эйхмана — о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что все документы, связанные с этим вопросом и направленные в министерство иностранных дел, были подписаны либо Мюллером, либо Кальтенбруннером. Итак, МИД официально обращается к властям соответствующих стран, извещая их, что Третий рейх претворяет в жизнь политику *юденрайн*, и потому представляется абсолютно необходимым отозвать граждан страны на родину, во избежание возникновения возможных проблем. Такое ультимативное письмо в действительности имело значительно более глубокий смысл. Как правило, все эти евреи-иностранцы были либо натурализованными гражданами, либо — что хуже — людьми без гражданства, приобретшими иностранные паспорта сомнительными способами. Чаще всего приобретались паспорта стран Латинской Америки, консулы которых торговали ими вполне открыто. Пока владельцы новых паспортов проживали за границей, никаких сложностей не возникало. Они пользовались всеми правами, включая даже консульскую поддержку — за исключением права вступить на территорию своей вновь обретенной «родины». Таким образом, требование министерства иностранных дел Германии имело своей целью вынудить правительства соответствующих стран фактически одобрить политику «окончательного решения», во всяком случае, по отношению к тем евреям, которые стали их гражданами лишь номинально. Таким образом, вполне логично было предположить, что правительство страны, продемонстрировавшей нежелание предоставить убежище нескольким сотням или нескольким тысячам евреев (которые все равно не смогли бы получить там право постоянного жительство), вряд ли выступит с серьезными возражениями в тот день, когда будет объявлено о высылке или уничтожении всего еврейского населения. Возможно, такой вывод звучал логично — но, как мы покажем ниже, он не был достаточно обоснованным.

Итак, 30 июня 1943 г. — значительно позднее, чем это должно было случиться по расчетам Гитлера — Германия, Австрия и Протекторат были объявлены *юденрайн*. Мы не располагаем точными цифрами относительно того, сколько именно евреев было фактически депортировано с этой территории, но мы точно знаем: из 265 тысяч евреев, согласно немецкой статистике, по состоянию на январь 1942 г., либо депортированных, либо подлежащих депортации, смогли спастись немногие — возможно, несколько сот

человек, максимум несколько тысяч, которым удалось спрятаться и пережить войну. О том, насколько просто было успокоить совесть их соседей, наилучшим образом свидетельствует официальное объяснение депортации, содержавшееся в циркулярном письме, разосланном Канцелярией Национал-социалистической партии осенью 1942 г.: «Несомненно, в порядке вещей, когда такие, весьма непростые, проблемы могут быть решены с учетом долгосрочных интересов нашего народа исключительно с *беспощадной твердостью* [rücksichtsloser Härte]» – *курсив мой*.

Х. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ – ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ

«Беспощадная твердость», свойство, пользовавшееся наивысшим уважением у правителей Третьего рейха, зачастую характеризуется в послевоенной Германии (где процветает замечательное умение сдержанно высказываться относительно нацистского прошлого) как *ingut* – то есть, «*нехорошее*», – как будто бы нельзя сказать ничего особенно дурного про тех, кто были наделены таким свойством, если не считать их достойной сожаления склонности не в полной мере следовать идеалам христианской любви. Во всяком случае, представители отдела Эйхмана, посылаемые за рубеж в качестве «советников по еврейскому вопросу», назначались на соответствующие посты при дипломатической миссии, армейском командовании или полицейском управлении именно потому, что обладали названным свойством в самой полной мере. На первых этапах, осенью 1941 – зимой 1942 гг., их основная задача состояла в установлении рабочих контактов с другими немецкими представителями в соответствующих странах, особенно с посольствами в номинально независимых странах и рейхскомиссариатами на оккупированных территориях, а также в сглаживании непрекращающихся конфликтов, связанных с

распределением полномочий между различными структурами при решении «еврейского вопроса».

В июне 1942 г. Эйхман вызвал своих представителей во Франции, Бельгии и Нидерландах, чтобы рассмотреть планы депортации евреев из этих стран. Гиммлер отдал распоряжение, чтобы Франции был предоставлен приоритет в деле «прочесывания Европы с запада на восток», отчасти потому, что стране было присуще осознание важности нации *par excellence* [в истинном смысле слова — *фр.*], а также потому, что правительство «Виши» продемонстрировало поистине удивительное «понимание еврейской проблемы», приняв, по собственной инициативе, антисемитское законодательство и учредив специальный Департамент по еврейским делам, во главе которого стояли сначала Ксавье Валлат, а затем Л. Даркье де Пеллеруа — оба имели репутацию закоренелых антисемитов. Учитывая специфику французского антисемитизма, который был тесно связан с явно выраженной ксенофобией, носящей, как правило, шовинистический характер и присущей всем категориям населения, было решено начать операцию с иностранных евреев, а поскольку в 1942 г. более чем половина иностранных евреев Франции не имела гражданства (речь идет о беженцах и эмигрантах из России, Германии, Австрии, Польши, Румынии, Венгрии, — стран, находившихся под властью Германии, либо стран, где антиеврейское законодательство было принято перед началом войны), то на первом этапе было депортировано около 100 тысяч евреев-апатридов. (Общая численность еврейского населения Франции на этот момент значительно превышала 300 тысяч человек; в 1939 г., накануне потока беженцев из Бельгии и Нидерландов, начавшегося весной 1940 г., число евреев в стране составляло около 270 тысяч человек, из которых по меньшей мере 170 тысяч были иностранными гражданами или родились не во Франции.) Предстояло как можно скорее эвакуировать по 50 тысяч человек из оккупированной зоны и из зоны правительства «Виши». Это была непростая задача, требовавшая не только согласия правительства «Виши», но и содействия французской полиции, для выполнения тех функций, которые в Германии возлагались на уголовную полицию. Сначала, казалось, трудностей не будет вообще, поскольку Пьер Лаваль, премьер-министр, подчеркнул, что «эти иностранные евреи всегда представляли проблему для Франции» и потому «Французское правительство радо, что изменение отношения к ним со

стороны Германии даст Франции возможность избавиться от них». Необходимо, однако, добавить, что как Петен, так и Лаваль полагали, что речь идет просто о переселении евреев на восток; они к тому времени еще не знали, что в действительности означает такое «переселение».

Два инцидента привлекли особое внимание иерусалимского суда, и оба имели место летом 1942 г., примерно через две недели после начала этой операции. Первый инцидент произошел в Бордо: эшелон, отправление которого было намечено на 15 июля, был отменен, потому что в Бордо оказалось только 150 евреев без гражданства, и этого было недостаточно для целого эшелона, полученного Эйхманом в министерстве транспорта только в результате значительных усилий. Не ясно, осознал ли Эйхман, что все с самого начала идет не столь гладко, как ожидалось, но он пришел в ярость и заявил своим подчиненным, что «это — вопрос престижа», причем не в глазах французов, а с точки зрения министерства транспорта, где может сложиться неправильное представление относительно эффективности его подразделения, и что «ему придется заново рассмотреть ситуацию и решить, не следует ли вообще отказаться от участия Франции в программе депортации», если нечто подобное повторится еще раз. На суде такое заявление Эйхмана было воспринято со всей серьезностью, как лишнее доказательство его значимости и могущества: стоит ему захотеть, и он может исключить Францию из «окончательного решения». В действительности это был очередной случай его смехотворного хвастовства — если что и произвело впечатление на французских подчиненных, так это угроза лишиться рабочих мест, неплохо оплачиваемых и вполне удобных, особенно в военное время. Но если первый случай, в Бордо, был скорее фарсом, то вторая история оказалась одной из самых страшных из числа рассмотренных на суде. Четыре тысячи детей, оторванных от родителей, которых уже отправили в Освенцим, оставались на французском сборном пункте, в концлагере Дранси, и 10 июля французский представитель Эйхмана, хауптштурмфюрер Теодор Даннекер, позвонил ему и спросил, что ему делать с этими детьми. Эйхман ответил только через 10 дней и велел Даннекеру «посадить детей в первый же эшелон, направляющийся в Генерал-губернаторство». Д-р Серватиус указал суду, что «события этого эпизода не связаны ни с действиями подсудимого, ни с действиями его подчиненных». К сожалению, никто не отметил следую-

щего обстоятельства: Даннекер проинформировал Эйхмана, что Лаваль сам предложил включить в число депортируемых детей младше 16 лет; таким образом, эта чудовищная история произошла даже не вследствие «приказа более высокой инстанции», а в результате соглашения между Францией и Германией на самом высоком уровне.

На протяжении лета и осени 1942 г. в Освенцим были депортированы 27 тысяч евреев без гражданства — 18 тысяч человек из Парижа и 9 тысяч из зоны «Виши». Во Франции оставалось еще примерно 70 тысяч евреев без гражданства, когда немцы допустили свою первую ошибку. Будучи уверенными, что депортация идет без сбоев и проблем, они решили, что французы не будут возражать, если они приступят к депортации также и французских евреев — это упростит решение ряда чисто административных проблем. И тут ситуация изменилась коренным образом: французы самым решительным образом отказались передать «своих» евреев немцам. И Гиммлер, будучи информированным о ситуации — не Эйхманом и не его подчиненными, а одним из старших офицеров СС — немедленно согласился оставить в покое французских евреев. Но было уже поздно. Первые известия о сути «переселения» достигли Франции. И хотя французские антисемиты, да и не антисемиты тоже, были бы рады, если бы «чужих» евреев отселили куда-нибудь подальше, но никто, включая антисемитов, не захотел стать соучастником массовых убийств. И французская сторона отказалась сделать следующий шаг, о котором шла речь совсем еще недавно: они решили не отменять разрешения о натурализации, выданные евреям после 1927 г., что могло бы привести к появлению в стране еще около 50 тысяч евреев, подлежащих депортации. Французы также стали чинить всяческие препятствия действиям немцев, связанным с депортацией евреев-иностранцев, и все многообещающие планы по «освобождению» Франции от евреев оказались действительно «поставленными под сомнение». Десятки тысяч евреев без гражданства нашли укрытие, преимущественно в сельской местности, а еще тысячи смогли добраться до зоны, оккупированной итальянцами, где они были в безопасности. Летом 1943 г. (когда Германия была объявлена *юденрайн*, а союзные войска уже высадились на Сицилии) было депортировано не более 52 тысяч евреев, то есть, безусловно, менее 20 % от их общего количества, причем французское гражданство имели менее чем 6 тысяч человек. В немец-

ких лагерях для интернированных солдат французской армии пленных-евреев не отделяли от остальных военнопленных. В апреле 1944 г., за два месяца до высадки союзников в Нормандии, в стране насчитывалось 250 тысяч евреев, и все они пережили войну. Как оказалось, когда нацисты столкнулись с осознанным противодействием, у них не хватило ни людских ресурсов, ни силы воли, чтобы продемонстрировать свою «беспощадную твердость». Более того, как мы увидим ниже, даже у гестаповцев и эс-совцев твердость сочеталась с мягкостью.

На совещании, состоявшемся в Берлине, в июне 1942., было определено количество евреев, подлежащих немедленной депортации из Бельгии и Нидерландов, и эти цифры оказались сравнительно небольшими — возможно, потому что высокими были соответствующие цифры для Франции. Речь шла о задержании и депортации 10 тысяч евреев из Бельгии и 15 тысяч евреев из Нидерландов. Для обеих стран эти цифры затем были увеличены — возможно, из-за трудностей, с которыми нацисты столкнулись во Франции. Ситуацию, сложившуюся в Бельгии, нельзя было не назвать специфической в разных смыслах. Страна находилась под управлением немецких военных властей, и местная полиция, как указывалось в документе, представленном в суд, «не пользовалась таким же авторитетом у немецкой администрации, как это имело место в других странах». (Бельгийский губернатор, генерал Александер фон Фалкенхаузен, в июле 1944 г. принимал участие в заговоре против Гитлера.) Местные коллаборационисты пользовались влиянием среди населения только во Фландрии; фашистское движение было распространено в незначительной степени среди франкоязычных валлонов. Бельгийская полиция практически не сотрудничала с немецкой; что касается бельгийских железнодорожников, то немцы не доверяли им эшелоны с депортированными без своего особого наблюдения, потому что бельгийцы либо оставляли вагонные двери незапертыми, либо имитировали засады на путях, чтобы евреи могли бежать. Весьма специфичным был также состав еврейского населения страны. До начала войны в стране было 90 тысяч евреев, в том числе около 30 тысяч беженцев из Германии и 50 тысяч беженцев из других стран Европы. К концу 1940 г. почти 40 тысяч евреев покинули страну, а из числа оставшихся 50 тысяч не более 5 тысяч составляли местные уроженцы. Поскольку в числе покинувших страну

были все более-менее значимые еврейские лидеры, то Еврейский совет не пользовался у бельгийских евреев никаким авторитетом. Не удивительно, что из страны было депортировано так мало евреев. Однако, недавно натурализовавшиеся или не имеющие гражданства евреи — в основном чешского, польского, российского и немецкого происхождения, особенно те, кто сравнительно недавно прибыл в страну, были на виду, и им было сложно скрываться в маленькой и практически полностью промышленной стране. К концу 1942 г. 15 тысяч были отправлены в Освенцим, и к осени 1944 г., когда войска союзников освободили страну, общее число убитых евреев составляло 25 тысяч человек. У Эйхмана имелся свой «советник» в Бельгии, но его роль, похоже, была незначительной; депортации в основном проводились военными властями, под активным нажимом министерства иностранных дел.

Депортация из Нидерландов, как практически везде, началась с евреев, не имеющих гражданства, в число которых входили в основном беженцы из Германии, которых довоенное голландское правительство официально объявило «нежелательными иностранцами». Общая численность еврейского населения страны составляла 140 тысяч человек, в том числе около 35 тысяч иностранных евреев. В отличие от Бельгии, страна находилась под управлением гражданской немецкой администрации, а в отличие от Франции, в стране не было своего правительства, поскольку и кабинет министров, и королевская семья находились в Лондоне. Нидерланды были практически полностью во власти нацистов. «Советник» Эйхмана, Вилли Цопф, в основном занимался тем, что писал отчеты в Берлин. Депортацией занимался адвокат Эрих Раякович, бывший юридический советник Эйхмана в Вене и Праге, принятый в СС по рекомендации Эйхмана, и направленный в Нидерланды в апреле 1941 г. по распоряжению Гейдриха. Эйхман был весьма огорчен тем, как складываются дела в Нидерландах: Гиммлер был явно им недоволен, да к тому же «амстердамская команда» создавала ему немалые трудности, внося сбои в составленный им график движения эшелонов и вообще обращая мало внимания на указания берлинских координаторов. Так, с самого начала они организовали депортацию 20 тысяч евреев, вместо запланированных 15 тысяч, и на Цопфа, как самого младшего по званию из всех, сидящих в Нидерландах, постоянно ока-

зывалось давление с требованием ускорить депортацию. Конфликты такого рода, связанные с разграничением сферы полномочий, постоянно мучили Эйхмана, и, похоже, никто не хотел слушать его разъяснений относительно того, что такие вещи «противоречат приказу рейхсфюрера СС [Гимmlера], и к тому же вмешательство других структур в решение «еврейского вопроса» на данной стадии нелогично». Последний конфликт, случившийся в Нидерландах в 1944 г., потребовал вмешательства Кальтенбруннера. Сефардские евреи испанского происхождения, жившие в Нидерландах, были исключены из списков на депортацию, хотя сефардов отправляли в Освенцим из других мест — даже из находящихся на европейской окраине Салоник. Однако 370 проживавших в Амстердаме сефардских евреев были — по неясным ни для кого причинам — оставлены в покое.

Мотивы, побуждавшие Гимmlера действовать в Нидерландах через старших офицеров СС, были достаточно простыми. Эти люди знали ситуацию в стране, а голландцы были тем народом, от которого можно было ждать разных неожиданностей. Нидерланды стали единственной европейской страной, где студенты устроили демонстрацию, протестуя против увольнения преподавателей-евреев; целая волна забастовок прокатилась по стране после самой первой депортации евреев в немецкие концлагеря — притом, что их отправили не в лагеря уничтожения, поскольку «окончательное решение» к тому времени еще не распространялось на Нидерланды. Как пишет де Йонг, немцы сделали для себя надлежащие выводы. После этого власти уже «не прибегали к помощи штурмовиков с дубинками... все распоряжения властей регулярно стали публиковаться в местной официальной прессе, и «Йодше веекблад» [газета на идиш] была обязана перепечатывать их». Прекратились полицейские облавы, и тогда прекратились забастовки и волнения. Однако, наряду с такими факторами, как активное неприятие голландцами антиеврейских мер, а также сравнительно низкий уровень антисемитизма в стране, имелись два других фактора, которые в конечном итоге оказались фатальными для евреев. Во-первых, в Нидерландах существовало очень сильное нацистское движение, и местным нацистам власти могли доверять проведение таких мер полицейского характера, как поиск скрывающихся евреев, их задержание и т. д.; во-вторых, местные евреи были весьма склонны проводить черту между собой и вновь

прибывшими евреями, что объяснялось как неблагоприятным отношением правительства Нидерландов к еврейским беженцам из Германии, так, возможно, и тем обстоятельством, что антисемитизм здесь, как и во Франции, был традиционно ориентирован на чужаков. Таким образом, нацисты с легкостью смогли сформировать Еврейский совет, члены которого в течение длительного времени тешили себя надеждой, что жертвами депортаций станут только иностранные, в первую очередь, немецкие евреи. Благодаря деятельности Совета эсэсовцам удалось заручиться, помимо помощи голландской полиции, также и содействием еврейских полицейских сил. Результатом стала катастрофа, не имевшая аналогов ни в одной европейской стране и сопоставимая разве что с уничтожением польского еврейства. Хотя, в отличие от Польши, голландцы предоставили укрытие большому числу евреев — речь идет о 20-25 тысячах, очень значительная цифра для такой маленькой страны, — но непропорционально большая доля скрывающихся евреев (никак не меньше половины) была рано или поздно схвачена — несомненно, благодаря действиям профессиональных и случайных осведомителей. К июлю 1944 г., 113 тысяч евреев было депортировано, большинство из них в Собибур, лагерь в Польше, у реки Буг, где нацисты вообще не отбирали узников для тяжелых работ. Три четверти всех живших в Нидерландах евреев было уничтожено, в том числе около двух третей уроженцев страны. Последние эшелоны отправлялись осенью 1944 г., когда передовые части союзников уже подходили к границам Нидерландов. Из 10 тысяч евреев, выживших в укрытиях, около 75 % были иностранцами — лишнее свидетельство того, что голландские евреи не желали смотреть в лицо действительности.

На Ванзейской конференции представитель министерства иностранных дел Мартин Лютер предостерегал участников относительно тех сложностей, с которыми можно будет столкнуться в Скандинавских странах, главным образом в Норвегии и Дании. (Швеция вообще не подверглась оккупации, а Финляндия, хотя и относилась к странам оси, но оставалась той страной, где нацисты в принципе не поднимали «еврейский вопрос»). Такая вызывающая удивление ситуация в Финляндии, где проживало около 2 тысяч евреев, возможно, объяснялась уважительным отношением фюрера к финнам и нежеланием проводить там политику угроз

и унижительного шантажа.) Лютер предложил пока отложить эвакуацию из Скандинавских стран, и это предложение было принято относительно Дании, поскольку в стране сохранилось свое независимое правительство, и нейтралитет Дании признавался воюющими сторонами (вплоть до осени 1943 г.), хотя эта страна, наряду с Норвегией, и была оккупирована немецкой армией в апреле 1940 г. В Дании практически не существовало ни фашистского, ни нацистского движения, и в стране не было коллаборационистов. В Норвегии же, напротив, немцы нашли полных энтузиазма сторонников. Имя Видкуна Квислинга, лидера пронацистской и антисемитской партии, премьер-министра страны в годы войны, стало нарицательным для обозначения предателя родины, сотрудничающего с национальным врагом. Основная доля от общего количества 1 700 норвежских евреев была лицами без гражданства, беженцами из Германии; они были арестованы и интернированы в ходе нескольких молниеносных операций в октябре и ноябре 1942 г. Однако когда из ведомства Эйхмана поступило указание о депортации их в Освенцим, это вызвало протесты в стране, и даже несколько членов правительства Квислинга ушли в отставку. Такая реакция не должна была удивить Лютера и его министерство иностранных дел, однако последующее развитие событий стало более серьезным и явно неожиданным: Швеция немедленно предложила всем преследуемым политическое убежище, а в ряде случаев и шведское подданство. Как известно, покинуть страну нелегальным образом было сравнительно легко, однако въехать в другую страну без разрешения, и тем более на законных основаниях, для беженца было практически невозможно. Таки образом, около 900 человек, то есть чуть более половины небольшой еврейской общины Норвегии, перебрались в Швецию.

Однако в самой полной мере предостережения министерства иностранных дел оправдались в Дании. История датских евреев была *sui generis* [единственной в своем роде — *лат.*], а поведение датчан и датского правительства не имело аналогов ни в одной из европейских стран — оккупированных, союзнических, держав оси или независимых. Хотелось бы включить рассказ об этих событиях во все хрестоматии по политологии и предложить его вниманию всех студентов, желающих узнать как можно больше о том громадном потенциале, который таит в себе политика ненасильственных действий, а также о возможностях такой

политики в деле противостояния значительно более могущественному противнику. Строго говоря, в Европе имелось еще несколько стран, продемонстрировавших отсутствие «должного понимания еврейского вопроса», притом, что большинство европейских стран не поддерживали идею «радикального» или «окончательного» решения. Швеция, Италия и Болгария, подобно Дании, продемонстрировали свой иммунитет к антисемитизму, но из тех трех стран, которые находились в сфере влияния Германии, лишь Дания взяла на себя смелость четко определить свою позицию. Италия и Болгария саботировали немецкие распоряжения, ведя сложную игру, построенную на хитростях и обмане, проявляя при спасении своих евреев чудеса ловкости и изобретательности, но при этом никогда не оспаривая нацистскую политику как таковую. Позиция Дании была принципиально иной. Когда немцы подняли, причем достаточно осторожно, вопрос об отличительных знаках, им был дан прямой ответ: король Дании первым в стране выйдет на улицу с желтой звездой Давида на груди, а члены кабинета ответят на эту и на прочие антиеврейские меры немедленной отставкой. В высшей степени важно также, что немцам так и не удалось вынудить датские власти провести формальное различие, столь важное для их целей, между датскими евреями, численность которых составляла примерно 6 400 человек, и 1 400 немецкими беженцами, которые нашли в стране убежище еще до войны и которых теперь немецкое правительство объявило лицами без гражданства. Отказ датских властей безгранично удивил немцев, поскольку им казалось «алогичным», что те же власти, которые до сих пор отказывали евреям не только в натурализации, но и в предоставлении права на работу, теперь защищают их. С точки зрения закона, довоенное положение беженцев в Дании было достаточно сходно с положением во Франции, если не считать того обстоятельства, что всеобщая коррумпированность должностных лиц Третьей республики давала возможность кое-кому приобретать, за взятки или благодаря «связям», документы о натурализации, и большинство беженцев во Франции работало нелегально, без формального разрешения. Но Дания, как и Швейцария, не была страной *pour se débrouiller* [для ловкачей — *фр.*]. Датчане объявили немцам, что, поскольку беженцы являются лицами без гражданства, и, таким образом, больше не являются немецкими гражданами, то их нельзя задерживать без согласия датских властей. Можно сказать, что это был

один из тех немногочисленных случаев, когда статус апатрида, лица без гражданства, оказался спасительным; но спасло евреев, разумеется, не наличие такого статуса, а твердая позиция датского правительства. Таким образом, нацистам не удалось осуществить ни одного из предварительных действий, столь важных для палаческой бюрократии, и депортация была отложена до осени 1943 г.

Все происшедшее затем было просто удивительным, все было совсем не так, как в других европейских странах. В августе 1943 г. — после того, как немецкое наступление в СССР захлебнулось, Африканский корпус сдался в Тунисе и силы союзников высадились в Италии — правительство Швеции отменило соглашение с Германией от 1940 г., в рамках которого немецкие войска имело право прохода через территорию Швеции. Вслед за этим датские рабочие также решили внести свой вклад: на судоверфях начались беспорядки, и докеры отказались ремонтировать немецкие суда. Немецкие военные власти объявили чрезвычайное положение и ввели законы военного времени. Тогда Гиммлер решил, что настало подходящее время снова поднять «еврейский вопрос». Но при этом он не учел целый ряд факторов — и это не считая такого значительного, как датское движение Соппротивления. Немецкие официальные лица, прожившие в Дании по несколько лет, были уже не теми, что раньше. Так, генерал фон Ханнекен, глава военной администрации, отказался предоставить войска в распоряжение полномочного представителя рейха, д-ра Вернера Беста; специальные части СС (*Einsatzkommandos*), расквартированные в Дании зачастую «высказывали свое несогласие относительно распоряжений, получаемых ими из центральных структур», как заявил Бест на Нюрнбергском процессе. Впрочем, и самому Бесту, старому гестаповцу, бывшему юридическому советнику Гейдриха, автору известной книги о действиях полиции, человеку, прекрасно проявившему себя в свое время в Париже, тоже нельзя было доверять — хотя сомнительно, чтобы в Берлине полностью осознали всю меру его ненадежности. Во всяком случае, стало ясно, что положение дел далеко от идеального, и Эйхман направил в Данию одного из лучших своих людей, Рольфа Гюнтера, которого никто еще не мог обвинить в недостатке «беспощадной твердости». Впрочем, Гюнтер не произвел в Дании никакого впечатления на своих коллег, а генерал фон Ханнекен теперь

уже отказывался даже подписать приказ о явке всех евреев на рабочие места.

Бест отправился в Берлин и там добился обещания, что все евреи из Дании, вне зависимости от того, к какой категории они принадлежат, будут посланы в Терезиенштадт — что, с точки зрения нацистов, было очень серьезной уступкой. На ночь 1 октября было назначено их задержание и немедленная отправка (суда уже стояли в порту, наготове), а поскольку нельзя уже было доверять никому — ни евреям, ни датчанам, ни даже расквартированным в Дании немецким солдатам, — то в страну прибыли специальные подразделения немецкой полиции, для проведения повсеместных обысков. И тут Бест довел до сведения немецких полицейских, что они не имеют права врывать в дома, потому что жители тогда вызовут датскую полицию, а в вооруженном конфликте с датчанами речи быть не может. Поэтому они могут арестовывать лишь тех евреев, которые добровольно откроют им двери. Из общего числа 7 800 евреев нашлось ровным счетом 477 человек, открывших двери и согласившихся впустить полицейских. За несколько дней до этой операции немецкий судебный агент Георг Ф. Дуквиц (не исключено, что проинформированный самим Бестом) поставил в известность датских официальных лиц о плане депортации, а датчане немедленно известили глав еврейской общины. Еврейские лидеры, чье поведение также разительно отличалось от еврейских функционеров в других европейских странах, без промедления довели эти сведения до всей общины, прямо в синагогах, во время новогодней литургии. У евреев было достаточно времени, чтобы оставить свои дома и уйти в укрытие, а в Дании это было нетрудно сделать, потому что, цитируя одного из судей, «весь датский народ, от короля до простого рабочего», был готов прийти им на помощь.

Они могли бы оставаться в укрытиях до конца войны, но было сочтено целесообразным переправить их в соседнюю Швецию, что и было сделано с помощью датских рыбаков. Стоимость переезда составляла около 100 долларов за человека, причем за переправу неимущих евреев заплатили, по большей части, датчане; это было едва ли не самое поразительное во всем деле, поскольку в эти дни евреи платили огромные суммы за официальное разрешение на выезд (в Нидерландах, Словакии, позднее в Венгрии), или в качестве взятки представителям местных властей, или при «улаживании вопроса» с эсэсовскими чиновниками, ко-

торые также продавали разрешения на выезд, но исключительно за твердую валюту (в Нидерландах, например, это могло стоить от пяти до десяти тысяч долларов за человека). Даже в странах, где отношение к евреям было неплохим, все равно приходилось платить, и шансы бедняков были близки к нулю.

Переправа евреев через пролив шириной от пяти до пятнадцати миль, отделяющий Данию от Швеции, заняла большую часть октября. В общей сложности шведы приняли 5 919 беженцев, из которых по меньшей мере тысяча человек были из Германии, 1 310 человек — евреи наполовину, и еще 686 человек — нееврейские супруги евреев. (Почти половина датских евреев осталась в стране и пережила войну в укрытиях.) Все евреи недатского происхождения получили разрешения на работу. Те несколько сот человек, которых удалось арестовать немецким полицейским, были отправлены в Терезиенштадт. Это были в основном пожилые или бедные люди, до которых предупреждение не дошло по той или иной причине. В Терезиенштадте они жили едва ли не лучше всех других узников, потому что об их судьбе постоянно заботились как датские официальные учреждения, так и частные лица. До конца войны не дожило 48 человек, и эту цифру надо воспринимать с учетом общего пожилого возраста группы. Подводя итоги, Эйхман сказал, что «антиеврейская операция в Дании закончилась, по целому ряду причин, полным провалом», тогда как д-р Бест выступил с заявлением, согласно которому «целью операции не был арест как можно большего числа евреев, а освобождение Дании от евреев, и эта цель была достигнута».

В плане как политическом, так и психологическом наибольший интерес представляет, пожалуй, поведение немецких официальных лиц в Дании, и в первую очередь их безусловный саботаж приказов, поступавших из Берлина. Это был единственный раз за весь период «окончательного решения», когда нацисты встретились с *открытым* сопротивлением местных жителей, и возникает ощущение, что такая реакция заставила некоторых из них задуматься. Похоже, что сами нацисты впервые восприняли мысль об уничтожении целого народа не как нечто само собой разумеющееся. Испытанное ими сопротивление было основано на определенных принципах, и в свете этих принципов их «беспощадная твердость» стала таять, как масло на солнце. Можно сказать, что идеал этой «твердости» для большинства из них (за исключением, разумеется, не вполне нормальных и ли-

шенных человеческого облика) был не более чем мифом, средством самообмана, за которым скрывалось страстное и столь же беспощадное стремление к принятию существующего порядка любой ценой.

Это было со всей ясностью продемонстрировано на Нюрнбергском процессе, где подсудимые обвиняли и предавали друг друга, уверяя весь мир, что они «всегда были против всего этого» или заявляя, что их лучшие свойства и качества были «употреблены во зло» их начальством. В Иерусалиме Эйхман обвинял «власти предержащие» в том, что они злоупотребляли его «склонностью к повиновению»; он говорил: «Граждане, имеющие хорошее правительство, счастливы; граждане, имеющие плохое правительство, несчастливы. Я счастлив не был». Ситуация изменилась коренным образом, и хотя большинство из обвиняемых осознавало, что они обречены, ни у кого язык не повернулся защищать нацистскую идеологию. Вернер Бест в Нюрнберге заявил, что ему довелось вести сложную двойную игру и что именно благодаря ему правительственные чиновники Дании были предупреждены о грозящей евреям катастрофе. Когда же были продемонстрированы имеющиеся документальные свидетельства, показавшие, что предложение о проведении депортации исходило как раз от него, он объяснил, что все это было составной частью двойной игры. Бест был выдан Дании и приговорен к смертной казни, но подал апелляцию — и результат был поразительный: «в связи со вновь выявившимися обстоятельствами» он был осужден всего на пять лет.

Италия была единственным реальным союзником Германии в Европе и пользовалась уважением, как равное, суверенное и независимое государство. Их союз, по всей вероятности, основывался на общих интересах самого высокого свойства, столь сблизивших эти две сходные, если не идентичные, новые формы правления, и к тому же Муссолини в свое время пользовался очень высоким авторитетом в нацистских кругах Германии. Но когда началась война, и Италия, не без некоторых колебаний, присоединилась к Германии, все эти сантименты уже были в прошлом. Нацисты твердо были уверены, что у них больше общего со сталинским вариантом коммунизма, нежели с итальянским фашизмом. Что же касается самого Муссолини, то он никогда особо не доверял Германии и не очень любил Гитлера. Все

это, разумеется, относилось к числу государственных тайн, особенно в Германии, и глубокая, принципиальная разница между тоталитарной и фашистской формами правления практически никогда и никем не осознавалась — во всяком случае, не осознавалась в полной мере. И, пожалуй, ни в чем эта разница не проявлялась столь заметно, как в отношении к еврейскому вопросу.

До переворота Бадольо в июле 1943 г. (в результате которого был смещен Муссолини), и захвата немцами Центральной (включая Рим) и Северной Италии, ведомству Эйхмана не было позволено активно действовать в стране. Впрочем, Эйхман и его люди сталкивались с итальянской системой *не* решать «еврейский вопрос» на оккупированных итальянцами территориях Франции, Греции и Югославии, поскольку преследуемые евреи старались скрыться именно на этих территориях, чтобы обрести, пусть и временное, прибежище. На значительно более высоких уровнях итальянский саботаж «окончательного решения» принял довольно значительные масштабы, главным образом в силу того влияния, которое Муссолини оказывал на другие фашистские правительства Европы — во Франции (Петен), Венгрии (Хорти), Румынии (Антонеску) и даже отчасти в Испании (Франко). Если Италия была вправе не трогать своих евреев, то и сателлиты Германии намеревались следовать итальянскому примеру. Так, Доме Стойаи, премьер-министр Венгрии, навязанный немцами диктатору Хорти, приступая к рассмотрению антиеврейских мер, всегда интересовался, каким образом аналогичные законы применяются в Италии. Непосредственный начальник Эйхмана, группенфюрер Мюллер, обратился по этому поводу в министерство иностранных дел с обстоятельным письмом, но мидовцы ничего внятного не смогли ему сказать, поскольку они и сами постоянно сталкивались с таким же едва завуалированным сопротивлением, с такими же обещаниями, которые потом так и не выполняются. Поведение итальянцев становилось все более раздражающим, поскольку они саботировали «окончательное решение» в открытую, да к тому же в манере, которую можно считать издевательской. Обещания давались либо самим Муссолини, либо высокопоставленными лицами из его непосредственного окружения, а когда итальянские генералы не выполняли обещаний, данных самим дуче, он же за них и извинялся, объясняя все «складом ума» своих военных. Случалось, хотя и редко, что нацисты сталкивались с откровенным отказом; например, генерал Роатта зая-

вил напрямую, что доставка евреев из оккупированного итальянцами района Югославии в указанное немцами место «несовместима с честью итальянского офицера».

Положение дел, однако, становилось еще менее терпимым, когда итальянцы делали вид, что выполняют свои обязательства. Один такой случай имел место после высадки союзников во Французской Северной Африке, когда вся Франция была оккупирована немцами, кроме Итальянской Зоны на юге страны, где нашло убежище около 50 тысяч евреев. Уступив сильному немецкому нажиму, итальянцы создали Комиссариат по еврейским делам, единственной задачей которого была регистрация всех находящихся в этом районе евреев, с последующей их высылкой. Действительно, 22 тысячи евреев были задержаны и переведены подальше от Средиземноморского побережья, вглубь Итальянской Зоны — часть из них, например, в Савойю, где их разместили на жительство в дорогах отелях. Взбешенный Эйхман послал одного из своих самых «беспощадно твердых» людей, Алоиса Бруннера, в Ниццу и Марсель с инспекцией, но когда он приехал туда, оказалось, что французская полиция уже успела уничтожить все списки зарегистрированных евреев. Осенью 1943 г., когда Италия вступила в войну с Германией, немецкие войска вошли в Ниццу, и Эйхман поспешил на Лазурный берег. Там ему сообщили (а он поверил!), что 10, а возможно и 15 тысяч евреев скрывались в Монако (карликовое княжество площадью около 2 квадратных километров, численность населения которого составляла примерно 25 тысяч человек). Все это выглядело как типичная итальянская шутка. Во всяком случае, евреи оттуда уже убыли, частично в Италию, частично, по горным дорогам, в Швейцарию и Испанию. Аналогичная вещь случилась при отступлении итальянцев из Югославии: евреи ушли вместе с итальянской армией.

Элемент фарса неизбежно присутствовал даже в самых серьезных попытках итальянцев следовать примеру своего могущественного друга и союзника. Когда Муссолини, под давлением немцев, принял в конце 30-х годов антиеврейское законодательство, в нем были предусмотрены обычные исключения: ветераны Первой мировой войны, кавалеры высших орденов и так далее. Но Муссолини добавил еще одну категорию: бывшие члены фашистской партии, вместе с их родителями, дедушками и бабушками, детьми и внуками. Не известно, существует ли статистика

на этот счет, но весьма вероятно, что на основании этого пункта из сферы действия законов исключалось большинство итальянских евреев. Вряд ли можно было тогда найти хотя бы одну еврейскую семью, в которой хотя бы один человек не состоял в фашистской партии, поскольку не только евреи, но и все итальянцы на протяжении почти 20 лет буквально валом валили в партию, так как невозможно было получить государственную должность, если человек не был членом фашистской партии. Те же немногие евреи, в основном социалисты и коммунисты, которые не принимали фашизм по идейным соображениям, давно уже покинули страну. Кажется, даже закоренелые итальянские антисемиты не в состоянии были воспринимать все это с полнейшей серьезностью; так, у Роберто Фариначчи, главы антисемитского движения Италии, секретарем был еврей. Собственно говоря, такие вещи случались и в Германии; Эйхман утверждал, и нет оснований ему не верить, что даже в числе рядовых ээсовцев были евреи — не говоря уж о еврейском происхождении Гейдриха, Мильха и ряда других. Только в Германии это было строжайшей тайной, известной ограниченному числу людей, тогда как в Италии из всего этого не делалось секрета. И тут нет никакой особой загадки: Италия — это одна из тех, пусть немногих, европейских стран, где антиеврейская политика была крайне непопулярной, поскольку, как сказал Галеаццо Чиано, министр иностранных дел Италии (и зять Муссолини), «нам пытались навязать проблему из числа тех, которые у нас, к счастью, никогда не существовали».

В Италии, еврейская община которой, восходящая к временам Римской империи, насчитывала более 50 тысяч человек, термин «ассимиляция» (не всегда употребляемый в полном соответствии с его смыслом) использовался лишь для констатации факта. Этот понятие в Италии не было ни идеологическим (принимаемым на веру — как в странах немецкого языка), ни мифологическим (то есть, самоочевидным самообманом — как в той же Франции). Итальянские фашисты еще до начала войны предпринимали попытки освободить страну от евреев иностранного происхождения, не имеющих гражданства. В этом они не очень преуспели, поскольку мелкие итальянские чиновники демонстрировали явное нежелание «проявлять твердость», и когда они осознавали, что речь идет о жизни и смерти, то ссылались на соображения национального суверенитета и вместо высылки отправляли иностранных евреев в свои итальянские лагеря, где те

могли считать себя в безопасности — до того момента, когда немцы оккупировали страну. Такого рода поведение итальянцев вряд ли можно объяснить исключительно причинами объективного характера (скажем, отсутствием в стране «еврейского вопроса»), поскольку эти чужаки, несомненно, создавали в Италии ряд проблем — как это было и в других европейских государствах, характеризующихся этнической и культурной однородностью. То, что в Дании определялось политическим здравомыслием, врожденным осознанием всех необходимых условий, прав и обязанностей независимого гражданина («для датчан еврейский вопрос был вопросом политическим, а не просто гуманитарным» — Leni Yahil), в Италии было следствием едва ли ни бессознательного гуманизма, свойственного древнему и цивилизованному народу.

Более того, итальянский гуманизм выдержал испытание террором, который обрушился на страну на протяжении последних полутора лет войны. В декабре 1943 г. министерство иностранных дел Германии адресовало итальянской стороне меморандум следующего содержания (имеющий целью оказать практическое содействие начальнику Эйхмана, Мюллеру): «Принимая во внимание недостаточное усердие, с которым итальянские должностные лица осуществляют рекомендованные дуче меры по решению еврейского вопроса, мы, министерство иностранных дел Германии, полагаем необходимым, чтобы такого рода меры осуществлялись под руководством немецких должностных лиц». После этого меморандума в Италию были направлены самые безжалостные убийцы из Польши, включая Одило Глобочника из лагеря уничтожения в районе Люблина, и главой военной администрации был назначен не армейский офицер, а бывший губернатор Галиции группенфюрер Отто Вехтер. Время «итальянских шуток» закончилось. Отдел Эйхмана разослал циркуляр, содержащий указание относительно того, чтобы по отношению к «евреям с итальянским гражданством» были незамедлительно приняты «необходимые меры», и первыми жертвами могли стать восемь тысяч римских евреев, для ареста которых прибыло немецкое подразделение полиции, поскольку итальянские полицейские были признаны ненадежными. Римских евреев, однако, смогли вовремя предупредить (причем зачастую предупреждения передавались старыми членами фашистского движения), и семи тысячам удалось скрыться. Немцы, как это нередко бывало с ними, когда они встречали сопротивление, пошли на попятный и

согласились, что итальянские евреи, в том числе и не принадлежащие к привилегированным категориям, не подлежат депортации, а должны быть просто заключены в итальянские концлагеря. Такое решение и было сочтено «достаточно окончательным» для Италии. Около 25 тысяч евреев Севера Италии были арестованы и посажены в концентрационные лагеря неподалеку от границы с Австрией. Весной 1944 г., когда Красная Армия заняла Румынию, а союзные войска были на подступах к Риму, немцы нарушили свои обязательства и начали транспортировать евреев из Италии в Освенцим. Всего было депортировано около 7 500 человек, из которых в живых осталось не более 600 человек. Согласно статистике, число жертв составило значительно менее 10% от всего числа проживавших в Италии евреев.

ХІ. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ БАЛКАНСКИХ СТРАН – ЮГОСЛАВИЯ, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, РУМЫНИЯ

У всех тех, кто внимательно следил за материалами обвинения и читал приговор суда, в котором запутанная и сбивающая с толку «общая картина», нарисованная обвинителем, была достаточно упорядочена, не могло не вызвать удивления, что там так и не была упомянута граница, явственно отделяющая находившиеся под контролем нацистов восточные и юго-восточные территории от стран Центральной и Западной Европы. Полоса со смешанным населением, простирающаяся от Балтийского моря на севере до Адриатического моря на юге, вся та зона, которая сейчас находится за Железным занавесом, тогда включала страны, образованные после Первой мировой войны государствами-победителями. Получил политическую независимость целый ряд этнических групп, которые на протяжении веков жили под гнетом империй – Российской империи на севере, Австро-Венгрии на юге и Османской империи на юго-востоке. Ни для одной из

новых стран никогда не была свойственна этническая однородность, характерная для старых европейских наций, по подобию которых они образовались. В результате в каждой из этих новых стран имелись значительные по численности этнические группы, настроенные весьма враждебно по отношению к центральному правительству, потому что их национальные чаяния были принесены в жертву интересам более многочисленных соседей. Если необходимо доказательство политической нестабильности этих вновь образованных стран, то достаточно рассмотреть пример Чехословакии. Когда Гитлер вошел в Прагу в марте 1939 г., его с энтузиазмом приветствовали не только судетские немцы, немецкое меньшинство страны, но и словаки, которых он «освободил», предложив им «независимое» государство. Точно такая же картина наблюдалась и в Югославии, где сербское большинство, управлявшее страной, рассматривалось немцами как враждебное, тогда как хорватское меньшинство получило свое национальное правительство. Более того, поскольку население этих регионов постоянно перемещалось с места на место, то не существовало естественных или исторически сложившихся границ, а границы, установленные в рамках таких соглашений, подводивших итоги Первой мировой войны, как Сен-жерменский мирный договор (1919 г.) и Трианонский мирный договор (1920 г.), были достаточно произвольными. Таким образом, Венгрия, Румыния и Болгария могли быть привлечены к партнерству со странами оси благодаря возможности значительно расширить свои границы. Что касается евреев, проживавших на этих аннексированных этими странами территориях, то они автоматически становились апатридами, лицами без гражданства, после чего их постигала участь беженцев из стран Западной Европы: они оказывались в числе первых, кого нацисты депортировали и ликвидировали.

Провалилась также вся тщательно разработанная система договоров, заключенных после Первой мировой войны, в той их части, которая определяла права национальных меньшинств. Согласно этим договорам, евреи стали официально признанными национальными меньшинствами во всех странах, образовавшихся после Первой мировой войны, причем этот статус ни в коей мере не был им навязан — их делегаты сами выступили с такого рода предложениями и требованиями на Версальской мирной конференции (1919 г.). Получение формального статуса национального меньшинства означало важный поворотный пункт

в истории еврейского народа, поскольку впервые западные, ассимилированные евреи не были признаны в качестве единственных выразителей интересов всего народа. Оказалось, к удивлению, а также отчасти и смятению прозападно ориентированной еврейской «аристократии», что значительное большинство народа желает социальной и культурной, но отнюдь не политической независимости. Юридически статус восточно-европейского еврейства ничем не отличался от статуса любого другого меньшинства, но при том политически — и это было существенно важным — они были единственной этнической группой региона, не имевшей «родины», то есть, территории, на которой они составляли бы большинство. При этом они жили достаточно замкнутыми общинами, в отличие от их собратьев в Западной и Центральной Европе, и хотя до прихода Гитлера считалось признаком антисемитизма называть еврея евреем, все же восточно-европейские евреи признавались, причем и друзьями, и недругами, как особый, непохожий народ. Восточную Европу (в отличие от Западной Европы, где ассимиляция, в той или иной форме и степени, была скорее правилом) ассимиляционные процессы практически не затронули, и это имело значительные последствия для статуса тех евреев Восточной Европы, которые *были* ассимилированными. В Восточной Европе практически не существовало еврейского среднего класса, столь характерного для Западной и Центральной Европы. Там имелась лишь весьма немногочисленная верхушка среднего класса, фактически принадлежащая к правящему классу, и степень их ассимиляции — посредством денег, крещения или смешанных браков — была гораздо большей, нежели на западе.

В числе первых стран, где нацисты столкнулись с таким положением дел в ходе реализации «окончательного решения», было марионеточное государство Хорватия, часть Югославии, со столицей в Загребе. Хорватское правительство, возглавляемое д-ром Анте Павеликом, послушно ввело антиеврейское законодательство через три недели после своего прихода к власти. Когда же их спросили, что делать с несколькими десятками хорватских евреев, живущих в Германии, то они ответили, что «предпочтительным решением является их депортация на восток». Рейхминистр внутренних дел потребовал, чтобы Хорватия стала *юденрайн* к февралю 1942 г., и Эйхман направил в Загреб хауптштурмфюрера Франца Абромейта для оказания содействия находящемуся

там представителю немецкой полиции. Депортация евреев в Хорватии проводилась самостоятельно, силами усташей, хорватского фашистского движения. Хорваты оплачивали расходы немцев, связанные с депортацией, из расчета 30 марок за каждого депортированного еврея, а взамен они получали все имущество депортированных. Это происходило в соответствии с официальным немецким «территориальным принципом», распространенным нацистами на все страны Европы, согласно которому государство наследовало имущество всех евреев, проживавших на их территории, вне зависимости от их гражданства. Надо сказать, что нацисты не всегда строго придерживались этого принципа, и существовало немало способов обойти его. Например, немецкие бизнесмены могли покупать еврейское имущество напрямую, без посредников, буквально накануне депортации, а министр оккупированных восточных территорий Розенберг, уполномоченный первоначально конфисковать все древнееврейские произведения искусства и памятники культуры для передачи в немецкие антисемитские исследовательские центры, довольно скоро «расширил» круг своей деятельности, включив в него живопись и скульптуру из еврейских коллекций, а также ценные предметы обстановки. Установленный для Хорватии крайний срок (февраль 1942 г.) не был соблюден, поскольку части евреев удалось скрыться на оккупированной итальянцами территории, но после переворота Бадольо (в июле 1943 г., когда был смещен Муссолини) в Загреб прибыл Герман Круми, сотрудник отдела Эйхмана, и к осени 1943 г. 30 тысяч евреев страны были депортированы в лагерь уничтожения.

Однако после этой высылки немцы обнаружили, что Хорватия так и не стала *юденрайн*. Выяснилось, что в принятое хорватами антиеврейское законодательство был включен пункт о «почетных арийцах», а таковым мог стать любой, в том числе и еврей, сделавший значительный взнос «на благо хорватского народа». Численность евреев, сделавших такие взносы, или, иными словами, добровольно расставшихся с большей частью своего имущества, значительно возросла за последнее время. Еще более интересным было то обстоятельство, что разведслужба СС (руководимая штурмбанфюрером Вильгельмом Хёттлем, который был сначала вызван в Иерусалим в качестве свидетеля защиты, но затем его письменные показания, данные под присягой, были использованы обвинением) обнаружила, что практически вся вер-

хушка Хорватии, включая главу правительства и лидера усташей, жената на еврейках. Пятнадцать тысяч хорватских евреев, переживших Катастрофу — пять процентов, согласно официальным югославским данным — практически все принадлежали к богатым и сильно ассимилированным семействам. А поскольку доля ассимилированных евреев в странах Восточной Европы оценивалась в те же самые пять процентов, то есть все основания сделать вывод, что ассимиляция в этих странах, если она была возможной, предоставляла значительно больше шансов выжить в Катастрофе, чем это было в других европейских странах.

Совершенно иная ситуация сложилась в соседней Сербии, где немецкая оккупационная армия, практически с первого же дня вторжения, столкнулась с партизанским сопротивлением, сопоставимым по интенсивности лишь с партизанской войной в российском тылу Восточного фронта. Причастность Эйхмана к ликвидации евреев в Сербии уже рассматривалась выше. Судьи признали, что «общая картина в связи с ликвидацией сербских евреев не представляется вполне ясной», а суть заключалась в том, что отдел Эйхмана не был непосредственно вовлечен в сербские дела, поскольку депортаций там не проводилось. Все «проблемы» решались на месте: под предлогом казни заложников, захваченных в ходе борьбы с партизанами, армия расстреливала евреев-мужчин, а женщины и дети передавались представителю полиции, д-ру Эмануэлю Шеферу, доверенному лицу Гейдриха, который организовывал их массовые убийства в «душегубках». В августе 1942 г. государственный советник Харальд Турнер, глава гражданского отдела военного правления, отправляя «душегубки» назад, в Берлин, с гордостью докладывал, что Сербия «является единственной страной, где решены проблемы как евреев, так и цыган». Единственным способом спасения в Сербии был уход в партизаны, и, согласно оценке, в партизанских отрядах сражалось не менее пяти тысяч евреев.

Шефер предстал перед немецким уголовным судом после войны. За убийство в газовых камерах 6 280 женщин и детей он был приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения. Военный губернатор Сербии Франц Боме покончил жизнь самоубийством, а государственный советник Турнер был передан в руки югославского правосудия и приговорен к смертной казни. Все та же история повторялась снова и снова: те, кто избежал

Нюрнбергского трибунала и не был выдан правосудию стран, в которых они совершили свои преступления, либо вообще не были отданы под суд, либо получили наказание, никак не совместимое со своими деяниями. Все это, к величайшему сожалению, напоминало ситуацию в Веймарской республике, где суды регулярно оправдывали политические убийства, если убийцы принадлежали к одной из экстремистских правых группировок.

Болгария, получив весьма щедрые территориальные прибавки за счет Румынии, Югославии и Греции, казалось бы, больше всех других Балканских стран имела основания быть благодарной нацистской Германии. Однако Болгария никак не выразила свою благодарность — ни правительство Болгарии, ни болгарский народ не проявили склонности к пресловутой «беспощадной твердости». И речь при этом идет не только о «еврейском вопросе». У болгарского монархического режима не было причин опасаться местного фашистского движения, поскольку оно было немногочисленным и политически малозначимым, тогда как болгарский парламент сохранял свой авторитет и действовал совместно с царем. Таким образом, болгары, не колеблясь, отказались объявить войну Советскому Союзу и не послали на Восточный фронт даже незначительного по численности, чисто символического «добровольческого» воинского подразделения. Но удивительнее всего было следующее обстоятельство: в стране с этнически разнородным населением, большинству групп которого был свойственен воинствующий антисемитизм, притом, что антисемитизм был также и официальной государственной политикой еще до прихода Гитлера, в целом так и не было проявлено «понимания относительно еврейского вопроса». Действительно, болгарская армия согласилась на депортацию всех евреев (общей численностью около 15 тысяч человек) со всех аннексированных ими территорий, где было введено военное правление и коренное население которых отличалось антисемитизмом, но представляется сомнительным, чтобы они знали истинный смысл формулировки «переселение на восточные территории». Несколько ранее, в январе 1941 г., правительство согласилось также на проведение некоторых законодательных мероприятий антисемитского характера. Впрочем, с точки зрения немецкой стороны, суть этих мероприятий была просто смехотворной: около шести тысяч физически крепких евреев были мобилизованы на

физические работы, но при этом в их число не были включены крещенные евреи, причем вне зависимости от даты крещения, что вызвало буквально эпидемию обращения в христианство; еще пять тысяч евреев (и это из общего числа почти 50 тысяч) получили различного рода привилегии; для еврейских врачей и деловых людей были установлены квоты, причем довольно значительные, поскольку их размер рассчитывался исходя не из средней доли еврейского населения по стране вообще, а из доли евреев в городском населении. После того, как все названные меры были реализованы, болгарское правительство официально заявило, что обстановка в стране, к всеобщему удовлетворению, стабилизировалась. Очевидно, что в нацистских структурах осознавалась необходимость как детально разъяснить болгарским властям должное понимание идеи «решения еврейского вопроса», так и преподать им урок относительно того, что юридическая стабильность вряд ли совместима с принципами тоталитаризма.

Немецкие власти, по всей видимости, имели некоторое представление о стоящих перед ними трудностях. В январе 1942 г. Эйхман направил письмо в министерство иностранных дел, в котором сообщал, что «существуют значительные возможности для приема евреев из Болгарии». При этом он предложил обратиться к правительству Болгарии по официальным каналам и заверил МИД, что полицейский представитель в Софии «возьмет на себя всю техническую сторону депортации». (Судя по всему, расчет на полицейского представителя не оправдался, и вскоре Эйхман был вынужден послать в Софию находившегося тогда в Париже своего «советника» Теодора Даннекера.) Содержание этого письма, интересно отметить, полностью противоречило инструкциям, которые Эйхман послал за несколько месяцев до того в Сербию, где утверждалось, что он «не располагает никакими возможностями для приема евреев с восточных территорий» и что даже евреи из рейха «не могут быть в настоящее время депортированы». Особый приоритет, который нацистские власти придавали вопросу о превращении Болгарии в страну, «очищенную» от евреев, объясняется, возможно, полученной в Берлине достоверной информацией, что достижение там результатов возможно лишь при условии, что необходимые действия будут предприняты незамедлительно. Посольство Германии в Софии обратилось к болгарским властям, которые практически полгода спустя предприняли первый шаг в направлении осуществления

«радикальных» мер: евреев обязали носить отличительный знак. Этот шаг ни в коей мере не мог удовлетворить Берлин; во-первых, как немедленно было доложено, знак представлял собой лишь «шестиконечную звезду очень небольшого размера», во-вторых, большинство евреев просто не носило его, а в-третьих, носившие «становились объектами симпатии со стороны населения, причем в такой степени, что этот знак, по сути дела, превратился в предмет гордости», — как писал Вальтер Шелленберг, шеф контрразведки РСХА, в своем докладе от ноября 1942 г., адресованном министерству иностранных дел. Вскоре правительство Болгарии отменило распоряжение об отличительном знаке. Под нажимом немецких властей болгарское правительство затем приняло решение выслать всех евреев из Софии в сельскую местность, но это явно не соответствовало намерениям нацистов о концентрации евреев, поскольку, напротив, только рассеивало их.

Эта высылка стала поворотным пунктом во всей ситуации, поскольку болгары вышли на улицы столицы, чтобы воспрепятствовать отправке евреев на железнодорожный вокзал, а затем провели демонстрацию протеста возле царского дворца. Немцы явно были уверены, что во всем происходящем виновен в первую очередь сам царь Борис, и потому не лишены основания предположения, что он был убит агентами немецких секретных служб. Однако ни смерть монарха, ни прибытие Даннекера в начале 1943 г. не внесли ни малейших изменений в общую ситуацию, поскольку и парламент, и население явным образом оставались на стороне евреев. Даннекер пришел к соглашению с Комиссаром по еврейским делам Болгарии о высылке шести тысяч «еврейских лидеров» в Треблинку, но ни один из этих евреев так и не покинул страну. Это соглашение представляет интерес также и потому, что свидетельствует о провале попыток властей наладить сотрудничество, в своих интересах, с руководством общины. Главный раввин Софии нашел убежище у софийского митрополита Стефана, который заявил публично, что «Господь определил судьбу евреев, и не человеку ее изменить» — одно это заявление было более значимым, чем все действия Ватикана. И в конечном итоге ситуация в Болгарии стала аналогичной положению дел в Дании: немецкие власти, находящиеся в Софии, потеряли уверенность в себе и на них уже нельзя было положиться. Сказанное относилось и к полицейскому представителю, эсэсов-

цу со стажем, в чьи задачи входило отслеживание и арест евреев, и к послу Германии в Софии Адольфу Бекерле, который в июне 1943 г. писал своему начальству, что «ситуация безнадежна, поскольку болгары слишком долго жили с армянами, греками и цыганами, чтобы в полной мере осознать еврейскую проблему», что было, разумеется, чистой воды нонсенсом, поскольку то же самое, *mutatis mutandis* [с соответствующими изменениями — лат.], можно было сказать и про ситуацию в любой стране Восточной или Юго-Восточной Европы. Именно Бекерле официально информировал РСХА, причем в весьма раздраженном тоне, что ничего больше в этой стране поделать невозможно. Таким образом, ни один болгарский еврей не был депортирован из страны и не умер не своей смертью, а в августе 1944 г., когда Красная Армия приближалась к границе, антиеврейское законодательство было отменено.

· Мне не известно ни одного серьезного исследования, в которой объяснялось бы поведение болгарского народа, столь непохожее на поведение всех своих соседей. Но не будем забывать про Георги Димитрова, болгарского коммуниста, который находился в Германии во времена прихода нацистов к власти и которого они обвинили в поджоге Рейхстага 27 февраля 1933 г. Он предстал перед Верховным судом Германии и благодаря его бескомпромиссному поведению все обвиняемые, кроме ван дер Люббе, были оправданы. Его поведение на суде заслужило ему уважение всего мира, включая и Германию. Немцы говорили: «В Германии есть один-единственный человек, да и то болгарин».

Поскольку север Греции был оккупирован немцами, а юг — итальянцами, страна вроде бы не представляла особых проблем и могла подождать своей очереди стать *юденрайн*. В феврале 1943 г. два сотрудника Эйхмана, хауптштурмфюрер Дитер Вислицени и хауптштурмфюрер Алоис Бруннер, прибыли в Грецию, чтобы провести подготовку к депортации евреев из Салоник, поскольку в этом городе проживало две трети всех греческих евреев (примерно 55 тысяч человек). В тесном сотрудничестве с представителем военной администрации, д-ром Максом Мертенем, они сразу же создали Еврейский совет, во главе которого был поставлен рабби Корец. Вислицени, возглавивший все операции в Салониках, ввел опознавательные знаки и явственно дал понять, что ни о каких исключениях речи идти не может. Д-р Мертен сконцен-

трировал все еврейское население в гетто, возле железнодорожной станции, так что с его эвакуацией не должно было возникнуть никаких проблем. В числе привилегированных оказались лишь евреи с иностранными паспортами и, как обычно, члены *юденрата*, общей численностью не более нескольких сот человек, которые были в конечном итоге отправлены в Берген-Бельзен, лагерь для «обменных евреев». Существовала возможность убежать на юг, в итальянскую зону, поскольку итальянцы, как и повсюду, отказывали немцам в выдаче евреев, но итальянская зона вскоре прекратила свое существование. Сами греки, как минимум, проявляли равнодушие к судьбе евреев; имелись, впрочем, партизанские группы, которые относились к антиеврейской политике нацистов «не без одобрения». На протяжении двух месяцев вся община Салоник была депортирована, поезда в Освенцим отправлялись практически ежедневно, увозя всякий раз по две-две с половиной тысячи евреев в товарных вагонах. Осенью этого года, когда итальянцы оставили юг страны, оттуда были депортированы остальные 13 тысяч греческих евреев, в том числе из Афин и Греческого архипелага.

В Освенциме многие греческие евреи входили в состав «*зондеркоммандо*» («специальных групп»), работавших в газовых камерах и крематориях, и они оставались в живых еще в 1944 г., когда уже были уничтожены венгерские евреи и ликвидировано гетто Лодзи. К концу лета, когда стали распространяться слухи о том, что газовые камеры вскоре будут разрушены, члены *зондеркоммандо*, узнав о намерении немцев ликвидировать их, подняли восстание — одно из немногих восстаний, организованных в лагерях. В живых после этого восстания остался лишь один заключенный, который и рассказал эту историю.

Безразличие греков к судьбам евреев во время войны осталось таким же и после ее окончания. Д-р Мертен, свидетель защиты на процессе Эйхмана, сегодня высказывает две противоречивые версии: что он ничего не знал о происходящем в военные годы и что он помогал евреям избежать судьбы, о которой он якобы ничего не знал. Он вернулся в Грецию после войны, в качестве представителя туристического агентства, был арестован, но вскоре его освободили и позволили уехать в Германию. Впрочем, это довольно редкий случай, потому что суды в других странах, вне Германии, обычно приговаривали военных преступников к суровым наказаниям. Что же касается его показаний на

процессе Эйхмана, данных им в Берлине под присягой, в присутствии представителей как защиты, так и обвинения, они также заслуживают особого внимания. Он заявил, что Эйхман предпринимал всяческие попытки спасти жизни 20 тысяч женщин и детей в Салониках и что все зло исходило от Вислицени. В конечном итоге он, однако, признал, что к нему обращался брат Эйхмана, адвокат из Линца, а также немецкая организация, представляющая интересы бывших эсэсовцев. Сам же Эйхман просто отрицал все: он никогда не был в Салониках и знать не знает доброго доктора Мертена.

Эйхман неоднократно заявлял, что его организационные способности, его усилия по координации процессов эвакуации и депортации фактически были на пользу его жертвам, потому что облегчали их судьбу. Если все происходившее было неизбежным, то уж лучше, чтобы все это было сделано быстро и эффективно. В ходе процесса никто, включая его защитника, просто не обращал внимания на эти высказывания, относившиеся, несомненно, к той же категории его неумных, упорно повторяемых, заявлений, что он спас жизни сотням тысяч евреев путем организованной им «принудительной эмиграции». И все же, нельзя не задуматься над этими высказываниями, в свете того, что происходило в Румынии. А в Румынии все было не так, как везде — только в отличие от Дании, где эсэсовцы дошли до саботажа приказов, поступающих из Берлина, здесь даже эсэсовцы были поражены, а порой и потрясены, всеми ужасами безудержных погромов, и они, случалось, вмешивались, чтобы спасти евреев от резни и чтобы предоставить им возможность умереть цивилизованным, по их представлениям, образом.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что Румыния была одной из самых антисемитских стран в довоенной Европе. Еще в рамках Берлинского трактата (1878 г.) великие державы предприняли попытку заставить румынское правительство признать проживающих там евреев румынскими гражданами, пусть бы они даже оставались гражданами второго сорта. Но из этих попыток ничего не вышло, и к концу Первой мировой войны все румынские евреи — за исключением нескольких сот сефардских семей и некоторого числа евреев немецкого происхождения — по-прежнему имели статус «иностранца, постоянно проживающего в стране». Понадобились значительные усилия представи-

телей великих держав, чтобы «убедить» румынское правительство дать евреям статус «национального меньшинства». Этот законодательный акт был отменен в 1937 г., когда Румыния, отдавшись во власть гитлеровской Германии, почувствовала, что может заявить о том, что этот Акт был ей навязан, вопреки ее суверенным правам, и таким образом лишить несколько сот тысяч евреев, примерно четвертую часть всего еврейского населения страны, их гражданства. Два года спустя, в августе 1940 г., за несколько месяцев до вступления Румынии в войну на стороне гитлеровской Германии, маршал Йон Антонеску, глава диктаторского режима «Железной гвардии», объявил всех евреев страны апатридами — за исключением нескольких сот семейств, имевших румынское гражданство еще до мирных договоров, которые подвели итоги Первой мировой войны. В том же августе Антонеску принял антиеврейское законодательство, ставшее самым жестоким во всех европейских странах, не исключая Германию. Привилегированные категории, включая ветеранов Первой мировой войны и евреев, имевших румынское гражданство до 1918 г., составляли не более 10 тысяч человек, то есть не более одного процента всех евреев страны. Сам Гитлер признал, что Румыния может превзойти Германию, и он посетовал Геббельсу в августе 1941 г., через несколько недель после отдачи распоряжения об «окончательном решении», что «люди вроде Антонеску продвигаются в нужном направлении значительно более радикальным образом, чем это удавалось нам до сих пор».

Румыния вступила в войну в феврале 1941 г., и Румынский легион стал той военной силой, которая сыграла немалую роль после начала войны с СССР. В Одессе румынские солдаты учинили резню, убив 60 тысяч человек. В отличие от правительств других Балканских стран, правительство Румынии с самого начала располагало точной информацией о массовых убийствах евреев на восточных территориях, и его действия были беспрецедентными даже для этих жестоких времен. При депортации охрана набивала в эшелон до пяти тысяч человек, и затем поезд медленно тащился по пригородным линиям, день за днем, пока люди не умирали от удушья и жажды. Любимым занятием охранников было затем выставлять трупы в еврейских мясных лавках. Ужасы румынских концлагерей, создаваемых на территории страны, превосходили любые зверства немецких лагерей. Советник Эйхмана по еврейским вопросам Густав Рихтер, по прибытии в Буха-

рест, сообщил, что Антонеску намеревается отправить 110 тысяч евреев «в два лесных массива по ту сторону реки Буг», то есть, на оккупированную немцами советскую территорию, для ликвидации. Немцы были поражены и немедленно стали принимать соответствующие действия во всех инстанциях: армейское командование, министерство оккупированных восточных территорий, министерство иностранных дел, посол Германии в Бухаресте барон Манфред фон Киллингер (бывший высокопоставленный ээсовский офицер, личный друг Рёма и тем самым подозрительный человек в глазах нынешнего ээсовского руководства, находящийся, возможно, под особым наблюдением Рихтера). Эйхман обратился в министерство иностранных дел с убедительной просьбой прекратить действия румын, неорганизованные и преждевременные на этой стадии, заявляя, что румын надо заставить осознать: «эвакуация евреев из Германии, осуществляемая в настоящее время, имеет приоритетное значение», и заключил письмо угрозой «передать вопрос в ведение политической полиции».

Немцы очень не хотели предоставлять румынам безусловный приоритет в том, что касается «окончательного решения», но вынуждены были пересмотреть свою политику, чтобы избежать кровавого хаоса, и потому в середине августа (когда румыны уже уничтожили около 300 тысяч своих евреев, в основном без немецкой помощи), министерство иностранных дел достигло соглашения с Антонеску «относительно эвакуации евреев из Румынии, с использованием немецкого подвижного состава», и Эйхман приступил к переговорам с министерством транспорта относительно предоставления вагонов для перевозки 200 тысяч евреев в район Люблина. И тут-то, когда практически все уже было договорено, румыны совершили поворот на сто восемьдесят градусов. Как гром среди ясного неба, пришло послание из Бухареста от верного Рихтера: маршал Антонеску изменил свою позицию; как сообщает посол фон Киллингер, маршал теперь желает избавиться от своих евреев «цивилизованным образом». Немцы явно не учли, что Румыния – это не только страна с ненормально большим числом откровенных убийц, но и самая коррумпированная страна на Балканах. И когда выяснилось, что существует возможность продавать евреев за границу, принимая оплату в твердой валюте, по 1 300 долларов за человека, Румыния сделалась самым убежденным сторонником еврейской эмиграции. Таким образом, из

Румынии открылся один из еврейских путей в Палестину — и это в самый разгар войны. А по мере приближения Красной Армии к границе Антонеску становился все более и более сговорчивым, и в конце концов согласился отпустить евреев вообще безо всякой компенсации.

Следует заметить, что Антонеску, с самого начала, вовсе не был (вопреки мнению Гитлера) более радикальным, чем нацисты — он просто опережал их. Он первым лишил евреев гражданства; он первым начал массовую бойню открыто, не боясь ничьего мнения — когда немцы только делали свои первые, пробные шаги. Он первым начал претворять в жизнь идею торговли евреями — за год до того, как Гиммлер выступил с идеей сделки «товары за кровь». В августе 1944 г. части Красной Армии вошли в Румынию, и Эйхман, как специалист по эвакуации, был послан туда, чтобы выручить кое-кого из «этнических немцев» — впрочем, безрезультатно. Около половины из 850 тысяч румынских евреев пережили войну, и значительная их часть — несколько сот тысяч человек — смогли перебраться в Израиль. Никому не известно, сколько евреев живет в Румынии сейчас. Ни один из румынских палачей не ушел от возмездия; Киллингер покончил с собой, чтобы не попасть в руки русских. И только хауптштурмфюрер СС в отставке Рихтер, который, правда, ничего не успел натворить в Румынии, мирно жил в ФРГ до 1961 г., когда он был арестован немецкими властями в связи с процессом Эйхмана.

ХII. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ — ВЕНГРИЯ И СЛОВАКИЯ

Венгрия, о которой уже шла речь ранее, в связи с непростым вопросом относительно совести Эйхмана, была, по сути своей, монархией без монарха. Хотя эта страна не имеет ни выхода к морю, ни военно-морских сил, ни торгового флота, тем не менее, ею правил — а точнее, осуществлял полномочия от имени несуществующего короля — регент, контр-адмирал Миклош Хорти.

Давным-давно император Священной Римской империи был королем Венгрии, а в более близкие к нам времена на Дунае существовала двуединая монархия, Австро-Венгрия, созданная в результате преобразования Австрийской империи Габсбургов на основе соглашения 1867 г. между Австрией и Венгрией, во главе с австрийским императором (кайзером), он же венгерский король. В 1918 г. империя распалась, и Австрия стала республикой, которую через пару десятилетий ожидал *аншлюс* (присоединение) к рейху. Отто фон Габсбург жил в изгнании, не говоря уж о том, что мадьяры, неистовые националисты, вряд ли позволили бы ему занять венгерский трон; что же касается истинно венгерской королевской семьи, то ее следы затерялись в истории. Таким образом, лишь контр-адмиралу Хорти было известно, что же представляет собой Венгрия с точки зрения формы правления.

За призраком королевского величия скрывалась унаследованная феодальная структура, со всей нищетой безземельных крестьян и роскошью немногих аристократических семейств, которые в самом буквальном смысле владели этой страной, причем и нищета, и роскошь были еще более заметны, чем в каком-либо другом углу этого «отечества пасынков Европы». Именно этот фон нерешенных социальных проблем вкупе с общей отсталостью и составлял неповторимую специфику будапештского общества, как будто бы венгры были собранием иллюзионистов, столь долго живших самообманом, что потеряли всякое чувство абсурдности. В самом начале 30-х годов, под влиянием итальянских фашистов, они также сформировали сильное фашистское движение, партию «Скращенные стрелы», а в 1938 г., как и в Италии, они приняли первое антиеврейское законодательство. Несмотря на значительное влияние в стране католической церкви, действие законодательства было распространено и на евреев, принявших католичество (сделавших это после 1919 г.). Но при этом, несмотря на всеобъемлющий антисемитизм, основанный на расовых принципах, одиннадцать евреев по-прежнему заседали в верхней палате венгерского парламента, а Венгрия была единственной из стран оси, пославшей еврейское подразделение, численностью 130 тысяч человек, на Восточный фронт — они служили во вспомогательных частях, но носили венгерскую военную форму. Это объясняется тем, что Венгрия, несмотря на официальную позицию по отношению к евреям, при этом — и в большей степени, чем другие страны — проводила различие между

евреями местного происхождения и *Ostjuden* [восточными евреями — нем.], между «мадьяризированными» евреями «Трианонской Венгрии» (то есть, Венгрии в границах, определенных Трианонским мирным договором 1920 г.) и евреями с недавно аннексированных территорий. Правительство Третьего рейха уважало суверенитет Венгрии до марта 1944 г., благодаря чему венгерские евреи жили как на острове безопасности «в океане гибели и разрушения». В тех условиях, когда Красная Армия уже была в Карпатах, а венгерское правительство лихорадочно пыталось, следуя итальянскому примеру, заключить сепаратное перемирие, вполне объяснимым выглядело решение нацистского правительства оккупировать Венгрию, но трудно поверить, что в такой международной обстановке «основным пунктом повестки дня по-прежнему оставался еврейский вопрос», и его радикальное решение было, цитируя докладную записку д-ра Веесенмайера, направленную в МИД в декабре 1943 г., «основной предпосылкой вовлечения Венгрии в войну». Ведь такое «решение» требовало депортации 800 тысяч евреев плюс примерно 100-150 тысяч евреев-католиков.

Во всяком случае, как уже говорилось выше, масштабность задачи потребовала перевода Эйхмана со всем его отделом в Будапешт в марте 1944 г., причем он мог без проблем собрать воедино всех сотрудников, потому что к этому времени они уже выполнили свои задачи во всех других странах. Он отозвал Дитера Вислицени и Алоиса Бруннера из Словакии и Греции, Франца Абромейта из Югославии, Теодора Даннекера из Парижа и Болгарии, Зигфрида Зейдля с поста коменданта Терезиенштадта, а из Вены — Германа Круми, сделав его своим заместителем по Венгрии. Из Берлина он привез своих основных сотрудников — Рольфа Гюнтера, своего постоянного заместителя, Франца Новака, своего эксперта по вопросам депортации, и Отто Хунше; своего юридического советника. Таким образом, *Sondereinsatzkommando Eichmann* (Специальная оперативная группа Эйхмана), в составе десятка человек, плюс несколько технических сотрудников, обосновалась в Будапеште. В первый же вечер по прибытии Эйхман с сотрудниками пригласили глав еврейской общины на совещание, где их убедили сформировать *юденрат*, еврейский совет, через посредство которого будут передаваться все распоряжения, а в сферу полномочий которого включается вся еврейская жизнь страны.

Добиться такого согласия было нелегко — и в таком месте, и в такое время, когда, по словам папского нунция, «весь мир знал, что означает депортация на практике». Безусловно, нечто большее, нежели якобы «гипнотическая сила» Эйхмана, потребовалось, чтобы убедить присутствующих, что нацисты будут уважать принятые в стране различия между «мадьяризированными» и восточными евреями. Развившееся в высшей степени искусство самообмана позволило главам еврейской общины поверить, что «у нас это невозможно» («Да как же они смогут выслать венгерских евреев за пределы Венгрии?»), и продолжать верить, даже когда происходившее изо дня в день лишало веры всех остальных. Истинная подоплека всего происшедшего выяснилась из показаний Пинхаса Фройдигера, бывшего достаточно высокопоставленным членом венгерского юденрата, до которого дошли сведения из соседней Словакии, что Вислицени, участник нынешних переговоров, охотно берет взятки. «И мне стало ясно, — заключил Фройдигер, — что следует всеми способами установить контакты с этим самым Вислицени».

Эйхман дал указания своим сотрудникам вести себя в ходе этих непростых переговоров таким образом, чтобы у еврейской стороны создалось ощущение, будто вся немецкие представители достаточно коррумпированы — и это был весьма тонкий ход. Главе еврейской общины Самуилу Штерну, члену Тайного совета Хорти, были оказаны все знаки внимания, и он согласился возглавить юденрат. На членов юденрата произвело очень благоприятное впечатление, когда немцы, на первых же порах, обратились с просьбой дать им не только пишущие машинки и зеркала, но также одеколон, дамское белье, картину Ватто (подлинник, разумеется) и восемь пианино (впрочем, хауптштурмфюрер Новак немедленно возвратил семь инструментов, со словами: «Но, господа, я же не собираюсь открывать музыкальный магазин — я просто попросил пианино для себя, чтобы играть...»). Эйхман сам посетил Еврейскую библиотеку и Еврейский музей, заверив, что все изытия являются, безусловно, временными. Вскоре коррумпция, первоначально вроде бы деланная, превратилась в настоящую, но ее результаты оказались далекими от ожидаемых. Нигде прежде евреи не платили такие деньги, не получая взамен ровным четом ничего. Все это подтвердилось на процессе Эйхмана, благодаря показаниям Пинхаса Фройдигера, а также свиде-

тельству Иоэля Бранда, представлявшего в Венгрии альтернативную структуру, сионистский Фонд помощи и спасения. Круми получил от Фройдигера в апреле 1944 г. не менее 250 000 долларов, а Сионистский фонд заплатил 20 000 долларов только за право встретиться с Вислицени и несколькими сотрудниками контрразведки СС. В ходе этой встречи каждый из присутствовавших получил дополнительно по тысяче долларов, а Вислицени в который раз поставил на обсуждение предложенный им еще в 1942 г. так называемый Европейский план, согласно которому Гиммлер якобы готов позволить выезд всех евреев, кроме польских, за выкуп размером два-три миллиона долларов. В рамках этого плана (давно уже отвергнутого высшим руководством) евреи начали делать выплаты в пользу Вислицени. В этом краю неслыханной щедрости пошатнулись даже «идеалистические устои» Эйхмана. Хотя обвинитель и не смог доказать, что Эйхман брал деньги, подобно всем своим подчиненным, но он детально описал его будапештский быт: номер в одной из лучших гостиниц города, автомобиль (класса «амфибия», дар его старинного недруга Бехера) с водителем, охота, верховая езда и прочие, ранее неведомые ему символы шикарной жизни — все за счет его новых друзей из венгерских правительственных структур.

В стране, однако, имелась немалая группа евреев, чьи лидеры были не столь подвержены самообману. Сионистское движение в Венгрии было традиционно сильным, и они имели представителей в недавно образованном Комитете помощи и спасения (*Ваадат Эзра ва-Хацала*), который, благодаря тесным контактам со своей штаб-квартирой в Палестине, оказывал помощь беженцам из Польши и Словакии, Югославии и Румынии; Комитет поддерживал тесную связь с Джойнтом, который финансировал его деятельность, и он, время от времени, переправлял, как легально, так и нелегально, евреев в Палестину, пусть и в небольших количествах. Теперь, когда беда пришла в их страну, члены Комитета приступили к изготовлению свидетельств о крещении, поскольку с такими, даже поддельными, документами было легче скрываться в подполье. Иоэль Бранд, который должен был передать представителям союзников, в самый разгар войны, предложение Гиммлера об обмене одного миллиона еврейских жизней на десять тысяч грузовиков, являлся одним из руководителей Фонда помощи и спасения. Он, как и его бывший соперник, Пинхас Фройдигер, прибыл в Иерусалим для дачи показаний о

своих контактах с Эйхманом. В то время, как Фройдигер (его, кстати, Эйхман совсем не помнил), рассказывал о грубом приеме, который он встретил во время своих переговоров с Эйхманом, Бранд в своих показаниях фактически подтвердил многое из рассказанного Эйхманом относительно его контактов с сионистами. Одна весьма интересная деталь: нельзя было не заметить, что ни Эйхман, ни кто-либо членов его оперативной группы при переговорах с сионистами не прибегали к откровенной лжи, которую они прибегали для представителей *юденрата*. Они не пользовались даже «языковыми правилами» и предпочитали называть вещи своими именами. Более того, когда речь заходила о серьезных вещах — о стоимости каждого разрешения на выезд, о сделке «товары за кровь», — то как Эйхман, так и другие члены оперативной группы (Вислицени, Бехер, представители контрразведки, с которыми Иоэль Бранд каждое утро встречался в кафе) в основном предпочитали обращаться к сионистам. Причина была весьма простой: Фонд помощи и спасения имел соответствующие международные связи и, таким образом, располагал твердой валютой, тогда как *юденрат* не имел ничего, кроме двусмысленного покровительства адмирала Хорти. Ясно было также, что сионистские функционеры в Венгрии располагали более значительными привилегиями, чем временное освобождение от ареста и депортации, данное членам *юденрата*. Сионисты могли передвигаться практически без ограничений, они были освобождены от обязанности носить отличительные знаки, они получали разрешения на посещение узников венгерских концлагерей. Впоследствии д-р Кастнер, основатель Фонда помощи и спасения, получил право ездить по территории нацистской Германии, не будучи обязанным предъявлять документ о своей еврейском происхождении.

Для Эйхмана, с его опытом, накопленным в Вене, Праге и Берлине, организация *юденратов* была рутинной задачей, требующей не более двух недель. Вопрос сейчас заключался в том, сможет ли он самостоятельно заручиться помощью и поддержкой венгерских официальных лиц для выполнения столь крупномасштабной операции. Для него это было новым делом. Во всех предыдущих случаях эти вопросы традиционно относились к компетенции министерства иностранных дел — в данном случае, ими должен был заниматься д-р Эдмунд Веесенмайер. Но Эйхман не собирался действовать в качестве «советника» при д-ре Веесенмайере, потому хотя бы, что этот пост предусматривал чин

хауптштурмфюрера, то есть, капитана, а Эйхман был оберштурмбанфюрером, подполковником. Великим триумфом Эймана стало установление в Венгрии своих собственных контактов. Речь идет о следующих троих официальных лицах: Ласло Эндере, госсекретарь по политическим делам Венгрии, занимавшийся делами евреев, которого даже Хорти называл «сумасшедшим» за его безудержный антисемитизм; Ласло Баки, заместитель министра внутренних дел, которому была подведомственна венгерская полиция; подполковник полиции Ференци, который был назначен ответственным за депортацию. Опираясь на их помощь, Эйхман мог быть уверен, что весь процесс, от подготовки необходимых документов и до концентрации евреев в провинции, удастся реализовать с «молниеносной быстротой». Он провел в Вене специальное совещание с руководством немецких железных дорог, поскольку речь шла о транспортировке почти полумиллиона человек. Гесс, комендант Освенцима, был проинформирован через своего непосредственного начальника, генерала Рихарда Глюкса из ВФХА, и распорядился о строительстве новой железнодорожной ветки, которая обеспечивала бы подъезд эшелонов практически вплотную к крематориям, а также об увеличении численности членов «зондеркоммандо», работавших в газовых камерах, с 224 до 860 человек — иными словами, все было готово для того, чтобы обеспечить убийство от шести до двенадцати тысяч человек в день. Когда в мае 1944 г. начали прибывать первые эшелоны, некоторое количество узников было отобрано для работ на расположенном в Освенциме предприятии концерна Круппа по производству снарядных трубок.

Вся «венгерская операция» продолжалась менее двух месяцев и была остановлена в самом начале июля. Благодаря усилиям сионистов мир узнал о новых массовых убийствах, и канцелярия Хорти оказалась буквально затопленной протестами нейтральных стран и Ватикана. Впрочем, папский нунций считал целесообразным пояснить, что протест Ватикана не основан «на ложно понимаемом чувстве сострадания» — фраза, которая может послужить вечным памятником тому пределу нравственного падения, до которого политика постоянных моральных компромиссов с адептами «беспощадной твердости» может довести церковных сановников. Опять Швеция оказалась первой страной, предложившей венгерским евреям разрешения на въезд, ее примеру последовали Швейцария, Испания и Португалия, и скоро около 33

тысяч венгерских евреев уже были поселены в специально арендованных для этой цели домах, под защитой и покровительством нейтральных стран. Союзники получили по своим каналам и немедленно предали гласности список из 70 человек, несущих персональную ответственность за эти массовые убийства, и Рузвельт направил ультиматум, гласивший, что «если депортация не прекратится, Венгрию постигнет судьба, которой еще не знала ни одна цивилизованная нация». В подтверждение серьезности сказанного авиация союзников в ночь 2 июля подвергла Будапешт небывало сильному бомбовому удару. Оказавшись под таким массивным давлением, Хорти приказал прекратить депортацию. И потому одним из самых изобличающих Эйхмана свидетельств стал его отказ подчиниться этому распоряжению «старого дурака» и последовавшая в середине июля дополнительная депортация 15 тысяч евреев, находившихся в концлагере неподалеку от Будапешта. А чтобы еврейские представители обеих структур, и *юденрата*, и Фонда помощи и спасения, не смогли проинформировать об этом Хорти, Эйхман пригласил их к себе и поручил д-ру Хунше под различными предлогами удерживать их там до тех пор, пока эшелон не пересек венгерскую границу. На процессе Эйхман заявил, что совсем не помнит этого эпизода; судьи утверждали, что подсудимый «не может не помнить своей победы, одержанной над Хорти», но мне такое утверждение не представляется убедительным, поскольку Хорти не был для Эйхмана столь уж значимой фигурой.

Этот эшелон в середине июля 1944 г. был последним, отправленным из Венгрии в Освенцим. В августе 1944 г. части Красной Армии уже были в Румынии, и Эйхмана срочно послали туда, чтобы выручить кое-кого из «этнических немцев». Когда он вернулся в Венгрию, Хорти и его советники, набравшись мужества, потребовали отозвать «Специальную оперативную группу Эйхмана», и Эйхман сам попросил об этом Берлин, отметив, что пребывание его группы здесь «является излишним». Но в Берлине никак не откликнулись ни на одно из этих обращений, а к середине октября ситуация изменилась коренным образом. Когда Красная Армия была чуть более чем в ста пятидесяти километрах от Будапешта, нацисты устроили в стране переворот и, свергнув правительство Хорти, сделали главой государства Ференца Саллаши, лидера фашистской партии «Скрещенные стрелы». Эшелоны в Освенцим больше не отправлялись, потому что к этому

времени уже начался демонтаж газовых камер. В это время начал ощущаться критический дефицит рабочей силы в Германии, и теперь уже Веесенмайер, уполномоченный рейха в Венгрии, обратился к венгерскому министерству внутренних дел с просьбой направить в рейх 50 тысяч евреев, мужчин в возрастах 16-69 лет и женщин до 40 лет, а в своем письме в Берлин он отметил, что Эйхман намеревается прислать еще 50 тысяч человек. Поскольку железная дорога была полностью выведена из строя, евреев отправили пешком, и эти марши были остановлены лишь личным приказом Гиммлера. Евреи, которых отправили таким образом, арестовывались венгерскими полицейскими без учета даже официальных критериев и требований (возраст, принадлежность к определенной категории и т.д.). Конвоиры, члены партии «Скрещенные стрелы», подвергали их всяческим унижениям, избивали и грабили. Таков был конец еврейской общины страны. Из общего числа 800 тысяч венгерских евреев, лишь около 160 тысяч остались в живых в Будапештском гетто (вся страна, кроме столицы, была *юденрайн*), и евреи гетто также становились жертвами спонтанных погромов. Конец войны для Венгрии наступил 13 февраля 1945 г.

Все главные венгерские преступники, виновные в массовых убийствах венгерских евреев, были судимы, приговорены к смертной казни и повешены. Ни один из немецких преступников, кроме Эйхмана, не получил более нескольких лет тюремного заключения.

Словакия, как и Хорватия, была создана решением министерства иностранных дел Германии. Словаки прибыли в Берлин обсуждать вопрос своей «независимости» еще до того, как немецкие войска оккупировали Чехословакию в марте 1939 г., и тогда же они дали Герингу обязательство следовать немецким путем в деле решения еврейского вопроса. Но в те времена еще никто не слышал об «окончательном решении». Маленькая страна с бедным аграрным населением численностью около двух с половиной миллионов (численность еврейского населения составляла 90 тысяч) была промышленно неразвитой, отсталой и глубоко клерикальной. Главой государства был католический священник Йозеф Тисо. Даже фашистское движение Словакии, Глинковская гвардия, было католическим по своему мировоззрению, и безумный антисемитизм этих клерикальных фашистов или фашист-

вующих клерикалов, отличался как по сути, так и по форме от ультрасовременного расизма их немецких хозяев. Во всем правительстве Словакии был один-единственный современный антисемит, добрый друг Эйхмана, министр внутренних дел Сано Мах. Все остальные члены кабинета были (или считали себя) христианами, тогда как нацисты были настроены не только антиеврейски, но и антихристиански. Христианство словаков находило свое выражение, во-первых, в том, что они подчеркивали наличие существенного различия между евреями и крещеными евреями (нацисты считали это различие устаревшим и потому не имеющим практического значения), а во-вторых, в том, что «еврейский вопрос» они рассматривали, оставаясь на средневековой платформе. Для словаков «решение» означало высылку евреев и овладение их собственностью, но отнюдь не систематическое «уничтожение», хотя в принципе они и не возражали против случайных убийств. Самый главный грех евреев заключался не в том, что они принадлежали к «чужой» расе, а в том, что они были богаты. Словацкие евреи были не очень-то обеспечены, по западным меркам, но когда 52 тысяч евреев должны были декларировать свое состояние, поскольку оно превышало 200 долларов в стоимостном выражении, и это составляло суммарную собственность свыше 100 миллионов долларов, то для любого словака каждый еврей считался обладателем несметных богатств.

На протяжении первых полутора лет своей «независимости» словаки пытались решить «еврейский вопрос», исходя из своих привычных понятий. Они передавали крупные еврейские предприятия в руки неевреев, принимали антиеврейские законы, которые, по мнению немцев, имели один основной недостаток: из сферы их действия исключались евреи, принявшие христианство до 1918 г., планировали создание гетто «по примеру, предлагаемому немецким правительством», и мобилизовали евреев на принудительные работы. На довольно раннем этапе, еще в сентябре 1940 г., в Словакию был назначен советник по еврейским вопросам хауптштурмфюрер Дитер Вислицени, некогда начальник и приятель Эйхмана. Вислицени не был женат, что препятствовало его продвижению по службе, и Эйхман вскоре обошел его и стал, в свою очередь, его начальником, что, возможно, объясняет те обличительные показания, который дал Вислицени против Эйхмана на Нюрнбергском процессе. Впрочем, возможно, он просто-напросто спасал свою шкуру. Вислицени не был похож на

Эйхмана; он принадлежал к «образованным», дома у него было много книг и грампластинок, в Венгрии он требовал, чтобы местные евреи называли его «бароном», и он интересовался в первую очередь деньгами, а лишь потому карьерой. Вислицени был в числе первых эсэсовцев, усвоивших идеи «умеренности».

Ничего особенного не происходило в Словакии на протяжении первых лет войны, до марта 1942 г., когда Эйхман прибыл в Братиславу с целью отбора 20 тысяч «молодых и крепких евреев для физических работ». Через четыре недели в Братиславу приехал сам Гейдрих, чтобы убедить премьер-министра Войтеху Туку в целесообразности переселения всех евреев, включая и евреев-католиков, на восточные территории. Правительство изменило свою точку зрения относительно евреев-католиков, узнав, что «немецкая сторона не выдвигает никаких претензий относительно имущества переселяемых евреев и требует лишь оплаты расходов в сумме 500 рейхсмарок за каждого человека», а также что «евреи, выезжающие из Словакии, остаются на восточных территориях навсегда, и им не будет предоставлена возможность вернуться в Словакию». Для подтверждения этих договоренностей, достигнутых на высшем уровне, Эйхман вторично прибыл в Словакию (этот визит как раз совпал с покушением на Гейдриха), и к июню 1942 г. 52 тысячи евреев были депортированы, силами словацкой полиции, в центры уничтожения в Польше.

В стране оставалось еще около 35 тысяч евреев, принадлежащих к привилегированным категориям: еврей-католики и их родители, специалисты в ряде определенных областей, молодежь, занятая в трудовой армии, небольшое число предпринимателей. В это время братиславский Комитет помощи и спасения, организация, родственная будапештской, установила контакт с Вислицени, который пообещал замедлить темпы депортации, а также предложил им так называемый Европейский план, с которым он потом выступит и в Будапеште. Крайне маловероятно, что Вислицени сделал для них что-либо, но так совпало, что вскоре Ватикан информировал словацкое духовенство относительно подлинного значения слова «переселение». Затем посол Германии в Братиславе Ганс Элард Лудин направил в МИД докладную записку, извещающую, что правительство Словакии стало выступать с требованиями позволить их представителям «посетить переселенческие центры». В декабре 1943 г. в Братиславу был послан д-р Эдмунд Веесенмайер, человек Гиммлера в МИДе,

с заданием передать Йозефу Тисо слова Гитлера относительно того, что пора бы «спуститься с облаков на землю». Тисо пообещал посадить от 16 до 18 тысяч евреев из числа не принявших христианство в концлагеря и учредить специальный лагерь для 10 тысяч евреев-католиков, но категорически отказался продолжать депортацию. В июне 1944 г. Веесенмайер, тогда уже полномочный представитель рейха в Будапеште, снова приехал в Братиславу, чтобы убедить словаков включить до сих пор остающихся в стране евреев в венгерскую операцию, и Тисо снова наотрез отказался.

В августе 1944 г. Красная Армия подошла к границам Словакии. В стране вспыхнуло Словацкое национальное восстание, и для его подавления немцы оккупировали страну. К этому времени Вислицени находился в Венгрии; РСХА направило в Братиславу Алоиса Бруннера, с заданием арестовать и депортировать оставшихся в стране евреев. Сначала Бруннер депортировал членов братиславского Комитета помощи и спасения, а затем, с привлечением эсэсовских частей, депортировал 12-14 тысяч человек. Когда части Красной Армии вошли в Братиславу 4 апреля 1945 г., в стране оставалось приблизительно 20 тысяч переживших Катастрофу евреев.

ХIII. ЦЕНТРЫ УНИЧТОЖЕНИЯ НА ВОСТОКЕ

Когда нацисты говорили о востоке, или восточных территориях, они имели в виду очень большой регион, включавший Польшу, страны Балтии и оккупированные советские территории. Весь регион подразделялся на четыре административных единицы: (1) Вартегау, включавшую аннексированные западные районы Польши, под управлением гаулейтера Артура Грейзера; (2) Остланд, с административным центром в Риге, включавшую Литву, Латвию и Эстонию, а также некоторую часть Белоруссии; (3) Генерал-губернаторство центральной Польши, главой адми-

нистрации которого был Ганс Франк; (4) Украина, под управлением министра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга. Обвинитель начал судебное заседание с показаний свидетелей, относящихся к этому региону, тогда как в решении суда эти вопросы нашли отражение в заключительных пунктах.

Несомненно, как обвинение, так и судьи имели свои основания для такой последовательности. Восток был центром еврейского страдания, страшным конечным пунктом всех депортаций, местом, откуда не было возврата, где число выживших едва составило пять процентов. Восток был и центром еврейской довоенной жизни: более трех миллионов евреев жило в Польше, 260 тысяч в странах Балтии и более половины от трех миллионов (цифра согласно оценке) «русских» евреев жило в Белоруссии, Украине и Крыму. Поскольку основной вопрос, рассматривавшийся обвинением — это страдания еврейского народа, то для обвинителя логичным было начать с событий на этих территориях, а затем переходить к вопросу о степени виновности подсудимого во всех этих злодеяниях. Проблема заключалась в том, что свидетельства относительно преступлений Эйхмана на восточных территориях были весьма ограниченными, в первую очередь потому, что архивы гестапо, и особенно архивы отдела Эйхмана, были уничтожены нацистами. Недостаточное количество документированных доказательств дало обвинителю вполне обоснованный повод пригласить многочисленных свидетелей, которые могли бы представить происходившее на восточных территориях, хотя это был не единственный повод для выбора такой тактики обвинения. Обвинитель — и об этом говорилось на процессе — находился под давлением граждан Израиля, переживших Катастрофу, численность которых составляет около 20 % всего населения страны. Они обращались и непосредственно в адрес процесса, и в Яд ва-Шем, Израильский национальный институт памяти жертв Катастрофы, на который была официально возложена подготовка документальных свидетельств, предлагая себя в качестве свидетелей. Суд отстранил целый ряд «свидетелей», утверждавших, что видели Эйхмана в тех местах, где он заведомо не был и не мог быть, но, тем не менее, для дачи показаний было приглашено 56 свидетелей (которых суд назвал «свидетелями страданий еврейского народа»), а не 15-20 «свидетелей, могущих дать общую картину событий», как это планировалось с самого начала. Из обще-

го числа 121 судебного заседания, 23 судебных заседания были посвящены исключительно «показаниям, дающим общую картину событий», то есть, иными словами, показаниям, не связанных напрямую с делом Эйхмана. Хотя свидетели обвинения не подвергались перекрестному допросу ни защитой, ни судьями, суд не признавал связь показаний с делом Эйхмана, если такие показания не подтверждались другими свидетельствами. Так, судьи отказались обвинить Эйхмана по следующим пунктам: убийство еврейского мальчика в Венгрии; провоцирование событий «Хрустальной ночи», как в Германии, так и в Австрии, о которых он, несомненно, не знал ничего в то время, да и в ходе иерусалимского процесса выяснилось, что он информирован об этом хуже любого добросовестного историка; убийство 93 детей из Лидице, которых после покушения на Гейдриха депортировали в Лодзь; чудовищные действия Команды 1005, которая извлекала трупы из мест массовых захоронений и уничтожала их, с целью сокрытия следов преступления, и действиями которой руководил штандартенфюрер Пауль Блобель, получавший распоряжения непосредственно от Мюллера, главы Отдела IV РСХА; эвакуация в последние месяцы войны оставшихся в живых узников лагерей уничтожения в концлагеря на территории Германии, в частности, в Берген-Бельзен, проводившаяся в нечеловеческих условиях. Что касается сути свидетельских показаний, дававших «общую картину событий» относительно польских гетто, лагерей уничтожения, трудовых лагерей и уничтожения узников путем непосильного труда, то по всем этим вопросам свидетели не добавили ничего из того, что не было бы уже известно суду. Если имя Эйхмана и упоминалось этими свидетелями, то лишь в самом общем контексте. Таким образом, эти свидетельства, будучи «показаниями с чужих слов» и «доказательствами, основанными на слухах», не имели юридической силы. Показания свидетелей, утверждавших, что они «видели Эйхмана своими собственными глазами», рушились после первого же заданного им вопроса, и суд пришел к выводу, что «центр действий Эйхмана был в рейхе, Протекторате, в Западной, Северной, Южной, Юго-Восточной и Центральной Европе» – иными словами, везде, кроме восточных территорий. Почему же в таком случае суд не отклонил все эти слушания, длившиеся недели и месяцы? Судьи, обсуждая этот вопрос, заняли едва ли не защитительную позицию и в конечном итоге дали ответ, на удивление непоследовательный: «Поскольку

обвиняемый отверг все пункты обвинения, суд не мог не принять во внимание показания, дающие общую картину событий». Обвиняемый, однако, вовсе не отрицал факты, представленные в обвинительном заключении, он просто заявил, что «не виновен по сути предъявленного обвинения».

Собственно говоря, судьи столкнулись с весьма неприятной дилеммой. В самом начале процесса д-р Серватиус попытался оспорить непредвзятость судей — ни один еврей, по его мнению, не может судить события, связанные с «окончательным решением». На это председательствующий ответил: «Мы — профессиональные судьи, привыкшие и умеющие взвешенно относиться к представляемым нам доказательствам, мы выполняем свои обязанности открыто и готовы к критике со стороны... Судьи, принимающие участие в судебном заседании, это живые люди, из плоти и крови, мыслящие и чувствующие, но закон обязывает их обуздывать свои чувства. В противном случае невозможно было бы найти судью, готового к разбирательству дела, которое вызывает у него чувство омерзения... Невозможно отрицать, что память о Катастрофе европейского еврейства отзывается в сердце каждого еврея, но при рассмотрении этого дела, вынесенного на наше суждение, наш долг — сдерживать свои чувства, и мы повинемся этому долгу». Это было честное и справедливое заявление — если только д-р Серватиус не имел в виду, что евреи могут не осознавать должным образом ту проблему, которую вызывает само их присутствие в этом мире, в окружении других народов, и таким образом не в состоянии осознать суть ее «окончательного решения». Но ирония судьбы заключалась в том, что данный конкретный обвиняемый, согласно его собственным, неоднократно и настойчиво повторенным заявлениям, почерпнул все свои знания по еврейскому вопросу из еврейских и сионистских источников, из книг Теодора Герцля и Адольфа Бёма. Кому же еще и судить его, как не этим троим людям, которые были сионистами со времен своей юности?

Для самих судей, людей, живущих в стране, каждый пятый гражданин которой пережил Катастрофу, ощущение своего еврейства стало особенно острым и мучительным не в результате общения с обвиняемым, а в ходе общения со свидетелями, «дававшими общую картину событий». Обвинитель, Гидеон Хаузер, собрал в зале суда «свидетелей страданий еврейского народа», каждый из которых просто не мог не воспользоваться этой

неповторимой возможностью, каждый из них был убежден в том, что настал его день, и он имеет право высказать все наболевшее. Судьи могли спорить с обвинителем (они и спорили с ним) относительно того, насколько разумно и, более того, насколько уместно использовать судебные заседания для того, чтобы «рисовать общие картины», но как только свидетель занимал свое место и начинал давать показания, было невозможно перебить или прервать его, «из уважения к свидетелю и ввиду значимости вещей, о которых он говорит», — как сказал судья Ландау. Разве могли судьи, чисто по-человечески, подвергать сомнению достоверность и точность «всего того, что исходило из самой глубины души», пусть даже сказанное ими могло быть использовано на процессе лишь как «информация общего характера»?

Были и еще проблемы. В Израиле, как и в большинстве стран, предстающий перед судом человек считается невиновным, пока не будет доказано обратное. Однако в данном случае это положение было не более чем юридической фикцией. Если бы он не был признан виновным еще до появления в зале иерусалимского суда, причем виновным вне всякого сомнения, израильтяне никогда не решились бы, не рискнули бы его похитить. Премьер-министр Израиля, разъясняя в своем письме президенту Аргентины от 3 июня 1960 г. причины, по которым Израиль «формально нарушил аргентинский закон», подчеркивал, что «это был Эйхман, организовавший массовое убийство евреев во всех странах Европы, в неслыханных масштабах». В отличие от обычных арестов по подозрению в совершении обычных уголовных деяний, когда подозрение вины должно быть достаточным и обоснованным, но не без обоснованных сомнений, незаконный арест Эйхмана мог быть оправданным, да и был оправдан в глазах всего мира, одним только фактом, что исход суда являлся предвиденным. Роль Эйхмана в осуществлении «окончательного решения», как выяснилось в ходе судебного разбирательства, была в немалой степени преувеличена — отчасти ввиду его собственного хвастовства, отчасти потому, что подсудимые на Нюрнбергском процессе и других послевоенных процессах, предпринимая многочисленные попытки оправдаться, сваливали на него всю вину, а главное потому, что именно он общался со всеми еврейскими функционерами, будучи единственным немецким должностным лицом, считавшимся «экспертом по еврейскому вопросу» и только по этому вопросу. Обвинитель, основывая судебное

разбирательство на показаниях о страданиях, которые ни в коей мере нельзя назвать преувеличенными, при этом занимался преувеличением показаний и преувеличил их сверх всякого предела — или казалось, что сверх предела, пока не был вынесен вердикт Апелляционного суда, в котором говорилось: «Несомненно, что обвиняемый не получал никаких «приказов вышестоящих лиц». Он сам себе был вышестоящим лицом, и он отдавал все приказы, имеющие отношение к еврейским делам». Именно таковой и была аргументация обвинения, которую не приняли судьи Иерусалимского окружного суда, но которую — при всей ее бесосновательности — полностью одобрил Апелляционный суд. В немалой степени принятию аргументации способствовали показания американского судьи Майкла А. Мусманно, автора книги «Десять дней смерти», который принимал участие в качестве судьи в Нюрнбергском процессе и который прибыл в Иерусалим как свидетель обвинения. Судья Мусманно председательствовал на процессах по делам лагерной администрации и персонала, обслуживавшего «душегубки», и хотя имя Эйхмана упоминалось в ходе его процессов, но в его судебных решениях оно было названо только однажды. Мусманно, однако, довелось поговорить с рядом обвиняемых в нюрнбергской тюрьме, и как-то Риббентроп сказал ему, что Гитлер если в чем и виновен, так в том, что попал под влияние Эйхмана. Разумеется, Мусманно не верил всему, что он слышал от нацистских главарей, но он не сомневался, что Эйхман получил свои самые широкие полномочия непосредственно от Гитлера и что он «озвучивал свои идеи через Гимmlера и через Гейдриха». Через несколько заседаний в качестве свидетеля обвинения был вызван Густав М. Гилберт, профессор психологии Университета Лонг-Айленда, автор книги «Нюрнбергский дневник» (который, кстати, и предоставил Мусманно возможность поговорить с обитателями нюрнбергской тюрьмы). Профессор Гилберт был более осторожен в своих высказываниях, чем судья Мусманно; он, в частности, сказал, что «главные нацистские военные преступники не были особо высокого мнения об Эйхмане» и что тогда, в Нюрнберге, они с Мусманно не упоминали Эйхмана в своих беседах, тем более что оба считали его погибшим. Судьи Иерусалимского окружного суда, видя все преувеличения обвинителя и не желая представлять Эйхмана в качестве вдохновителя Гитлера и руководителя Гимmlера, вынуждены были взять подсудимого под защиту. Эта попытка, при всей ее

непривлекательности, к тому же не оказала никакого воздействия на приговор, поскольку «юридическая и моральная ответственность того, кто доставляет жертву к месту смерти, ни в коей мере не меньше, если даже не больше ответственности, лежащей на том, кто убивает жертву».

Судьи нашли выход из всех этих трудностей путем компромисса. Решение суда было разделено на две части, и существенно большая по объему часть представляла собой переработанный материал обвинителя. Судьи подчеркнули свой принципиально иной подход к делу: они начали с Германии и закончили восточными территориями, продемонстрировав, таким образом, что намерены сосредоточиться на фактических деяниях обвиняемого, а не на общей картине страдания евреев. Будучи решительно несогласными с обвинителем, они прямо сказали, что о таких «мучительных и невыносимых страданиях», которые находятся «вне пределов человеческого осознания и суждения», должны говорить великие поэты и писатели, а в суде должны рассматриваться лишь деяния и их побудительные мотивы, которые человек может осознать, а осознав, в состоянии осудить. Далее они заявили, что намерены основывать свои выводы на собственных материалах, которые и были представлены аудитории. Судьи детально изучили всю сложную и запутанную систему нацистского механизма уничтожения, что позволило им уяснить место обвиняемого в рамках этой системы. В отличие от вступительной речи Гидеона Хаузнера, которая была уже издана в виде книги, решение суда может служить весьма полезным учебным пособием для всех, кто интересуется данным историческим периодом. Решение суда, к числу достоинств которого относится также полное отсутствие дешевых ораторских украшательств, могло бы свести на нет усилия обвинителя, если бы судьи не признали целесообразным возложить на Эйхмана определенную долю ответственности за преступления на восточных территориях, в дополнение к главному его преступлению, в совершении которого он признался — в том, что он отправлял людей на смерть, полностью осознавая все последствия своих действий.

Дискуссия шла по четырем аспектам. Первый — это вопрос относительно участия Эйхмана в массовых убийствах, совершавшихся *эйнзацгруппен* на восточных территориях. Формирование этих групп было утверждено Гейдрихом на совещании в марте

1941 г., и Эйхман на нем присутствовал. Командование *эйнзацгруппен* принадлежало к элите СС, тогда как рядовые были либо откровенными уголовниками, либо солдатами-штрафниками — во всяком случае, добровольцев там не было. Участие Эйхмана на этой стадии «окончательного решения» было достаточно пассивным — к нему сходились отчеты убийц, он обобщал их и рассылал руководству для сведения. Такие документы относились к категории «совершенно секретно»; они размножались на ротаторах и рассылались в 50-70 организаций рейха. Имелось также показание судьи Мусманно, утверждавшего, что Вальтер Шелленберг, шеф контрразведки РСХА, рассказывал ему о соглашении, подписанным им, Гейдрихом и армейским генералом Вальтером фон Браухичем, согласно которому *эйнзацгруппен* получали полную свободу «в осуществлении своих планов относительно гражданского населения» — иными словами, возможность бесконтрольно убивать гражданских лиц. При этом Шелленберг заверил, что Эйхман «контролировал осуществление этих операций» и даже «лично руководил» ими. Судьи, исходя «из соображений осторожного отношения к неподтвержденным свидетельствам», не приняли этого утверждения. Таким образом, подтвержденные свидетельства говорили только об осведомленности Эйхмана относительно происходившего на восточных территориях — а это никем не подвергалось сомнению. Судьи пришли к выводу, что эти свидетельства являются достаточными для признания участия Эйхмана в массовых убийствах, совершавшихся *эйнзацгруппен*.

Второй аспект дискуссии — участие Эйхмана в депортации евреев из польских гетто в центры уничтожения. Было вполне «логичным» предположить, что «эксперт по вопросам транспортировки» принимал активное участие в этих действиях на территории Генерал-губернаторства. Однако, нам известно, причем из целого ряда источников, что «вопросами транспортировки» на этой территории занимались старшие офицеры СС и полиции — к недовольству генерал-губернатора Ганса Франка, который в своих дневниках неоднократно высказывал свое негодование таким положением дел, но при этом имя Эйхмана в дневниковых записях Франка не упоминается ни разу. Франц Новак, сотрудник Эйхмана, отвечавший за транспортировку, выступая в качестве свидетеля защиты, подтвердил версию Эйхмана: время от времени они, разумеется, проводили рабочие

встречи с руководством *Ostbahn*, Восточной железной дороги, поскольку перевозки с запада на восток необходимо было координировать с местными перевозками. (Вислицени, давая показания на Нюрнбергском процессе, в деталях описал эти контакты. Новак связывался с министерством транспорта, где, в свою очередь, должны были получить согласие армии, если эшелоны входили в зону театра военных действий, и при этом военные могли налагать запрет на движение конкретных эшелонов. Вислицени, однако, умолчал об одной интересной подробности: армия использовала свое право вето лишь в первые военные годы, когда немецкие войска наступали. Однако, в 1944 г., когда депортация из Венгрии приводила к многочисленным сбоям в графике движения, и это в первую очередь отражалось на передислокации отступающих частей, не было отмечено ни одного случая запрета со стороны армии.) Но когда в 1942 г. эвакуировали Варшавское гетто, по пять тысяч человек в день, Гиммлер лично вел переговоры с железнодорожными властями — вопрос был слишком масштабным, чтобы доверить его решение Эйхману или его подчиненным. Судьи в конечном итоге вернулись к показаниям, данным свидетелями на процессе Гесса, коменданта Освенцима: некоторое число евреев из Генерал-губернаторства было доставлено в Освенцим вместе с евреями из Белостока, польского города, включенного в немецкую провинцию Восточной Пруссии и тем самым оказавшегося в рамках юрисдикции Эйхмана. Однако даже в Вартегау, то есть, на территории рейха, вопросы депортации находились в ведении не РСХА, а гаулейтера Грейзера. И хотя в январе 1944 г. Эйхман приезжал в гетто Лодзи (самое больше на восточных территориях, которое было ликвидировано в последнюю очередь), тем не менее, приказ о его ликвидации был отдан месяц спустя, лично Гиммлером. Таким образом, если не принимать во внимание абсурдное высказывание обвинения, что Эйхман был в состоянии манипулировать Гиммлером, то следует признать: сам факт депортации евреев в Освенцим не может служить доказательством того, что все евреи, доставленные в Освенцим, были депортированы им и только им. Эйхман решительно отвергал обвинения в этой части, которые к тому же не были подтверждены из других источников, однако решение суда по этому вопросу было не в его пользу, то есть, суд действовал, исходя из принципа *in dubio contra reum* [сомнение не в пользу подсудимого —

лат.; саркастически трансформированный автором принцип римского права «сомнение в пользу подсудимого»].

Третий аспект дискуссии — ответственность Эйхмана за происходившее в лагерях уничтожения, где, согласно обвинению, он располагал значительной властью. То обстоятельство, что судьи отклонили всю совокупность показаний, данных свидетелями по этому вопросу, говорит об их высочайшей справедливости и независимости. Их аргументация была безупречной и свидетельствовала об истинном понимании положения дел. Они начали с разъяснения того, что в лагерях существовали две категории евреев: «депортированные», составлявшие большинство заключенных, которые не совершили никаких правонарушений, даже с точки зрения нацистской системы, и «взятые под стражу», то есть, нарушившие закон тем или иным образом. Поскольку вся мощь нацистского режима была направлена именно на «ни в чем не повинных», то фактические нарушители закона содержались в лучших условиях, несмотря на то, что их также отправили в лагерь на восточных территориях, дабы сохранять «свободными от евреев» даже концлагеря на территории рейха. (По свидетельству Раи Каган, давшей очень точные показания об Освенциме, «это был страшный парадокс: к уголовникам здесь относились лучше, чем к другим заключенным»; они не подвергались селекции и в большинстве своем выжили.) Что касается «взятых под стражу», то Эйхман вообще не имел к ним никакого отношения. Он отвечал только за «депортированных», то есть за людей, фактически приговоренных к смерти. В решении суда было отмечено: Эйхман, разумеется, знал, что жертвы депортации в большинстве своем обречены на смерть (за исключением примерно четвертой части узников, физически сильных людей, которых можно было отобрать для работ). Однако отбор для физических работ проводили эсэсовские врачи непосредственно в лагере, а общие списки депортируемых составлялись *юденратами* в странах депортации, либо полицией, но никогда не Эйхманом и не его подчиненными. Таким образом, истина заключалась в том, что Эйхман не только не имел никакой власти решать, кто будет жить, а кто умрет, — он даже не мог знать этого. Другой вопрос: солгал ли он, заявив: «Я никогда не убивал ни одного еврея, равно как и ни одного нееврея — я вообще никогда не убивал людей. Я никогда не отдавал приказов убивать евреев или неевреев, я просто-напросто никогда не делал ничего подобного». Обвинитель постоянно

предпринимал попытки доказать хотя бы один случай, когда Эйхман лично убил человека, не будучи в состоянии понять, как это человек, обвиняемый в массовых убийствах, сам никого не убивал (а у Эйхмана, вероятно, и духу бы не хватило на убийство).

Итак, мы подошли к четвертому аспекту дискуссии — относительно власти, которой Эйхман располагал на восточных территориях: речь идет о его ответственности за условия жизни в гетто, за все те лишения, выпавшие на долю узников гетто, и за ликвидацию узников — о чем говорили многие и многие свидетели. Разумеется, и в данном случае Эйхман был полностью осведомлен о всем происходившем, но гетто не входили в круг его непосредственных обязанностей. Обвинитель предпринял все от него зависящее, чтобы доказать обратное, поскольку Эйхман неоднократно признавал, что всякий раз, когда изменялись директивы вышестоящих органов, именно ему приходилось принимать решения относительно дальнейшей судьбы евреев с иностранным гражданством, оказавшихся в момент начала войны на территории Польши. Он подчеркивал, что это было «вопросом национального значения», выходящим за пределы компетенции местных властей. Что касается этих евреев, то во всех учреждениях рейха существовали две тенденции: «радикальная», сторонники которой предпочитали игнорировать всяческие нюансы, потому что «еврей — он и есть еврей», и «умеренная», согласно которой целесообразно было «приберечь» этих евреев на случай возможного обмена. (Идея обмена принадлежала Гимmlеру; после вступления Америки в войну он писал Мюллеру, в декабре 1942 г., что «все евреи, имеющие влиятельных родственников в США, должны быть посажены в специальный лагерь, и им безусловно следует сохранить жизнь». И далее: «Этих евреев следует рассматривать как бесценных заложников. Их число, по моим оценкам, составляет примерно десять тысяч».) Надо ли уточнять, что Эйхман принадлежал к лагерю «радикалов» и был против всяческих исключений и уступок — как по административным, так и по «идеалистическим» соображениям. Однако когда он писал в апреле 1942 г. в МИД, что «в будущем на всех иностранных граждан должны распространяться меры, предпринимаемые полицией в Варшавском гетто», где до того времени евреи с иностранными паспортами содержались отдельно и на особых условиях, то вряд ли следует считать его письмо документом, «опре-

деляющим политику РСХА» на восточных территориях, и он, безусловно, не располагал там «правом принятия окончательных решений». И уж тем более малозначимыми были те отдельные случаи, когда Гейдрих или Гиммлер использовали его фактически в качестве курьера для передачи распоряжений местному руководству.

В известном смысле фактическая ситуация была еще менее однозначной, нежели предполагали иерусалимские судьи. Гейдрих, отмечалось в решении суда, являлся главным исполнителем «окончательного решения», без каких-либо территориальных ограничений, и таким образом, Эйхман, его основной помощник в этой сфере, также нес ответственность за все действия на всех территориях. Сказанное справедливо относительно «окончательного решения», но, хотя представитель генерал-губернатора Ганса Франка и был приглашен на Ванзейскую конференцию для обеспечения координационных функций, «окончательное решение» как таковое не относилось к восточным оккупированным территориям — по той очевидной причине, что судьба евреев там уже была предрешена. Массовые убийства польских евреев начались по распоряжению Гитлера не в мае-июне 1941 г., когда было принято «окончательное решение», но в сентябре 1939 г., как судьям было известно из показаний, данных на Нюрнбергском процессе Эрвином Лахаузенем, сотрудником немецкой контрразведки. (В Генерал-губернаторстве ношение отличительных знаков было вменено евреям в обязанность в ноябре 1939 г., тогда как на территории рейха — только в 1941 г., с принятием «окончательного решения»). Судьи имели в своем распоряжении протоколы двух конференций, прошедших в начале войны; одна была созвана Гейдрихом 21 сентября 1939 г., с приглашением «глав департаментов и командиров *зйнзацгруппен*», на которой Эйхман, еще в чине хауптштурмфюрера, представлял Берлинский центр эмиграции; другая конференция прошла 30 января 1940 г., и на ней рассматривались «вопросы эвакуации и переселения». В ходе обеих конференций обсуждалась судьба всего коренного населения оккупированных территорий — иными словами, решение как «польского, так и еврейского вопроса».

Уже на той, относительно ранней стадии, «решение польского вопроса» было однозначным: из всех «политических лидеров» в живых должно было остаться не более трех процентов, и они должны быть отправлены в концлагеря». Представители

среднего класса должны быть зарегистрированы и арестованы — речь идет об «учителях, священнослужителях, аристократии, юристах, отставных офицерах и т. д.», тогда как «простые люди» должны использоваться в качестве рабочей силы и при этом подлежат «эвакуации» из своих домов. «Задача формулируется следующим образом: поляки должны навсегда стать сезонными рабочими, а их постоянное место жительства должно быть определено в районе Кракова». Евреи должны быть сконцентрированы в городах и «помещены в гетто, где бы они оставались под контролем, а в дальнейшем могли быть с легкостью эвакуированы». Те восточные территории, которые подлежат включению в состав рейха — Вартегау, Западная Пруссия, Данциг, Познань и Верхняя Силезия — должны быть безоговорочно освобождены от всех евреев, а последние, вместе с 30 тысячами цыган, должны быть вывезены в товарных вагонах в Генерал-губернаторство. Приказы относительно эвакуации больших групп польского населения с польских территорий, аннексированных рейхом, отдавал Гиммлер. Выполнение этих приказов было возложено на Эйхмана, как на руководителя отдела IV-D-4 РСХА, функции которого определялись как «эмиграция и эвакуация». (Существенно важно иметь в виду, что так называемая «отрицательная демографическая политика» не стала импровизированным результатом победных действий Германии на востоке. Эта политика была определена еще в ноябре 1937 г. в секретной речи, которую Гитлер произнес перед представителями немецкого верховного командования. Он указал, что речь не идет о «покорении чужих народов» и что на востоке ему нужно «жизненное пространство» (*volkloser*, то есть, «свободное от населения»), для расселения немцев. Его слушатели не могли не отдавать себе отчет в том, что такого «свободного от населения пространства» не существует; таким образом, они не могли не осознать, что победоносные военные действия на востоке будут автоматически означать «эвакуацию» всего местного населения. Меры, направленные против восточно-европейских евреев, не были только лишь следствием антисемитской политики — они были составной частью всеобъемлющей демографической политики, в рамках которой, если бы Германия выиграла войну, поляков постигла бы та же участь, что и евреев: геноцид. Это не простые предположения: поляков в Германии уже заставляли носить отличительные знаки, с латинской буквой «R»

вместо звезды Давида, а это, как мы знаем из истории, всегда было первым шагом на пути к уничтожению.)

Циркулярное письмо, разосланное всем командирам *эйнзацгруппен* после сентябрьской конференции, было рассмотрено на процессе. В нем речь идет только «о еврейском вопросе на оккупированных территориях», и там проводится различие между «окончательной целью», которая должна храниться в секрете, и «предварительными мерами» для ее достижения. В числе мер такого рода документ называет концентрацию евреев в местах, близких к железнодорожным путям. Следует заметить, что формулировка «окончательное решение» здесь еще не фигурирует. «Окончательная цель», по всей видимости, означает уничтожение польских евреев, и это не являлось новостью для участников конференции. Новым элементом была намечаемая эвакуация евреев, живших на недавно аннексированных территориях, в Польшу, поскольку это был первый шаг на пути к Германии, свободной от евреев — то есть, шаг к «окончательному решению».

Если говорить об Эйхмане, то из этих документов со всей ясностью видно: даже на этой стадии он практически не имел отношения к ситуации на восточных территориях. Его роль была все той же: эксперт по вопросам «транспортировки» и «эмиграции»; здесь, на восточных территориях, не было необходимости в «экспертах по еврейским вопросам», не требовалось никаких специальных «директив» и не существовало никаких «привилегированных категорий». Уничтожению подлежали даже члены *юденратов* — на самом последнем этапе, после ликвидации гетто. Ни о каких исключениях речи не шло, поскольку судьба отобранных для физических работ означала ту же смерть, только медленную. Поэтому еврейские функционеры, чья роль была столь значительной, что возникла необходимость создания «совета старейшин», не были нужны для таких задач, как задержание евреев и отправка их в места концентрации. По всей видимости, массовые расстрелы за линией фронта должны были прекратиться, еще и потому, что армейское командование протестовало против массовых казней гражданского населения. Гейдрих пришел к соглашению с армейской верхушкой, определив принцип «полного «очищения», раз и навсегда» — и от евреев, и от польской интеллигенции, и от католических священнослужителей, и от польской аристократии, но при этом, оценивая масштабы задачи (два миллиона польских евреев),

принял решение на первых этапах ограничиться концентрацией евреев в гетто.

Признав Эйхмана не виновным по этим пунктам обвинения, связанным с чудовищными показаниями свидетелей о событиях на восточных территориях, судьи все равно не пришли бы к другому приговору, и Эйхман не мог избежать смертной казни. Но в таком случае все обвинительное заключение, в том виде, как его представил обвинитель, было бы сведено на нет, полностью и окончательно.

ХІV. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СВИДЕТЕЛИ

Последние недели войны эсэсовские чиновники занимались в основном изготовлением поддельных удостоверений личности и уничтожением гор документов, обличающих их в бесчисленных убийствах на протяжении шести военных лет. Отдел Эйхмана преуспел в этом больше многих и сжег свои архивы — что, впрочем, не очень помогло, поскольку сохранилась вся переписка с другими государственными и партийными структурами, чьи архивы попали в руки союзников. Документальных свидетельств в распоряжении суда было более чем достаточно, причем многие были известны еще со времени Нюрнбергского процесса и ряда последующих процессов. Имелись показания, в том числе и полученные под присягой, данные свидетелями и обвиняемыми на предыдущих процессах, причем некоторых из них уже не было в живых. (Все это, равно как и часть свидетельских показаний с чужих слов, было признано на процессе Эйхмана в качестве доказательств, согласно Статье 15 Закона от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников, на основании которого судили Эйхмана. Эта статья гласит, что суд «может отступать от доказательственного права», при условии, что «причины, послужившие основой такого рода отступлений», вносятся в протокол судебного заседания.) Письменные доказательства были

представлены на основе показаний, данных за рубежом, в судах Германии, Австрии и Италии, шестнадцатью свидетелями, которые не могли явиться в Иерусалим потому, что генеральный прокурор объявил о своем «намерении возбудить против них дела по обвинению в преступлениях против еврейского народа». Хотя на первом судебном заседании он заявил, что если «у защиты имеются свидетели, готовые прибыть на суд и выступить здесь, то я не стану чинить им препятствий», но затем он отказался гарантировать им неприкосновенность. Поскольку вряд ли существовала вероятность прибытия этих шестнадцати свидетелей в Иерусалим (потому хотя бы, что семеро из них отбывали сроки тюремного заключения), то все это следовало рассматривать как аспект чисто формальный, но вместе с тем имеющий существенное значение. Таким образом, была продемонстрирована несостоятельность израильских утверждений относительно того, что израильский суд являлся, по крайней мере, в техническом плане, «самым подходящим местом для проведения процесса по делу исполнителей «окончательного решения», поскольку именно в Израиле имеются соответствующие документы и свидетели, причем их здесь «больше, чем в какой-либо иной стране». Что касается утверждения относительно документов, то уж оно-то, во всяком случае, было сомнительным, поскольку израильский архив Яд ва-Шем (Израильский национальный институт памяти жертв Катастрофы) был создан сравнительно недавно, и вряд ли можно утверждать, что он в чем-то превосходит другие архивы. Довольно скоро выяснилось, что Израиль — это единственная страна, где свидетели защиты не могут быть заслушаны на судебном заседании, а защитник не может повергнуть перекрестному допросу некоторых свидетелей обвинения, из числа тех, кто давал письменные показания под присягой на предыдущих процессах. И ко всему этому, обвиняемый и защитник действительно «не имели возможности получить свои документы защиты». (Д-р Серватиус представил 110 документов, тогда как обвинение представило 1 500 документов, но из общего числа документов, представленных д-ром Серватиусом, не более десяти исходили от защиты, причем это в основном были фрагменты из книг Полякова [Poliakov] и Рейтлингера [Reitlinger]; все же остальное, за исключением 17 многоцветных схем, нарисованных самим Эйхманом, было позаимствовано из того богатого материала, который собрали обвинение и израильская полиция. Очевидно, что защите

доставались лишь крохи с барского стола.) На самом деле, у защиты не хватало «ни средств, ни времени» вести дело должным образом; в их распоряжении не было «архивов всего мира и возможностей, которыми располагают правительственные учреждения». Аналогичные упреки делались в свое время и в отношении Нюрнбергского процесса, на котором неравенство обвинения и защиты еще больше бросалось в глаза. Главной трудностью защиты, как в Нюрнберге, так и в Иерусалиме, была нехватка квалифицированных помощников, которые должны заниматься сбором и изучением многочисленных документов с целью поиска доказательств, необходимых для процесса.

Впрочем, д-р Серватиус не мог не быть осведомленным о неблагоприятном положении защиты на таком процессе, поскольку он уже выступал в качестве защитника на Нюрнбергском процессе. Здесь со всей очевидностью встает вопрос: почему он вообще предложил свои услуги? На это он отвечал, что его интерес был «чисто деловым» и что он «надеялся получить хорошие деньги», но, опять-таки из своего нюрнбергского опыта, он не мог не знать, что сумма, уплаченная правительством Израиля, которую он сам и назвал — двадцать тысяч долларов — будет смехотворно малой за такую работу, даже если учесть, что родные Эйхмана из Линца заплатили еще пятнадцать тысяч марок. Едва ли не с первого дня процесса он начал сетовать, что ему недоплачивают, а вскоре он стал открыто поговаривать о своем намерении получить выгоду от продажи мемуаров Эйхмана, которые тот писал в заключении «для будущих поколений». Оставляя в стороне вопрос об этической стороне таких планов, скажем только, что ему пришлось разочароваться в своих ожиданиях: израильское правительство конфисковало все, написанное Эйхманом в тюремной камере. (В настоящее время эти документы находятся в Государственном архиве.)

Что касается подсудимого, то суд располагал его подробными показаниями, данными израильским следователям, а также его письменными дополнениями и уточнениями, которые он делал в течение одиннадцати месяцев, потребовавшихся для подготовки процесса. Ни у кого не возникало сомнений, что это были добровольные заявления, поскольку многие из них даже не являлись ответами на конкретные вопросы суда. Эйхману было предъявлено примерно 1 600 документов, некоторые из которых, как выяснилось, он видел раньше, ознакомившись с ними во вре-

мя аргентинского интервью, взятого у него Сассеном. Гидеон Хаузер совершенно справедливо назвал это интервью «генеральной репетицией» процесса. Однако всерьез он начал работать с ними только в Иерусалиме, и когда ему было предоставлено слово, то выяснилось, что он не терял времени даром: теперь он был хорошо знаком с предъявляемыми ему документами, отчасти даже лучше, чем его защитник. Показания Эйхмана стали одним из самых важных доказательств в ходе судебного разбирательства. Защитник вызвал его для дачи показаний 20 июня, на семьдесят пятом заседании суда, и допрашивал его почти без перерывов в течение четырнадцати заседаний, до 7 июля. В этот же день, на восьмьдесят восьмом заседании суда, начал свой перекрестный допрос обвинитель, и вел его на протяжении семнадцати заседаний, до 20 июля. Не обошлось и без инцидентов: как-то раз Эйхман пригрозил «рассказать все», в стиле Московских процессов, другой раз он пожаловался, что его «допрашивали с пристрастием», но в основном он сохранял самообладание. Эйхман сказал судье Халеви, что он рад «возможности отделить истину от той напраслины, которую возводили на меня все эти пятнадцать лет». После краткого, занявшего меньше, чем одно заседание, повторного допроса защитника настала очередь судей, и им удалось, на протяжении двух с половиной судебных заседаний, получить от подсудимого больше информации, чем смог сделать обвинитель на протяжении семнадцати заседаний.

Эйхман давал показания с 20 июня по 24 июля, на протяжении тридцати трех с половиной судебных заседаний. На протяжении почти вдвое большего числа заседаний (шестьдесят два из ста двадцати одного) давали свои показания свидетели обвинения, жители разных стран, каждый из которых рассказывал свою ужасающую, трагическую историю. Их показания продолжались с 24 апреля по 12 июня. Далее, до 20 июня, суду представлялись документы, большинство которых обвинитель зачитывал для протокола судебного заседания. Все протоколы раздавались представителям прессы ежедневно. Большинство свидетелей были израильтянами, отобранными из сотен и сотен пожелавших выступить на суде. Девяносто свидетелей пережили Катастрофу в самом прямом смысле слова, будучи в военные годы в руках нацистов. Не разумнее ли было заниматься не отбором свидетелей из огромного числа желающих, а поисками среди тех, кто сам не выразил своего желания! Как бы в подтверждение сказанного,

обвинитель пригласил в качестве свидетеля человека, хорошо известного по обе стороны Атлантики под именем Кацетник — сленговое слово, обозначающее заключенного концентрационного лагеря, — автора нескольких книг об Освенциме, в которых действуют проститутки, гомосексуалисты и прочие герои, «представляющие интерес для широкого читателя». Он начал с того, что принялся разяснять смысл своего имени, которое, как он подчеркнул, не является псевдонимом. «Я должен нести это имя до тех пор, пока мир не очнется после распятия целого народа — как род людской очнулся после распятия одного человека». Затем он сделал небольшой экскурс в астрологию: «звезда, оказывающая такое же воздействие на нашу судьбу, как и пепел Освенцима, обращена сейчас к нашей планете...» Затем он перешел к «сверхъестественным силам Природы», которые поддерживают его силу духа, и тут он сделал паузу, первую за все время своего выступления, которой воспользовался обвинитель, чтобы очень вежливо, очень робко спросить: «Может быть, я задам вам несколько вопросов, с вашего позволения?» И тут же председательствующий поддержал его: «Господин Динур, пожалуйста, пожалуйста, послушайте, что говорит господин Хаузнер...» — после чего свидетель потерял весь свой запал и отказался отвечать на заданные вопросы.

Такое выступление, разумеется, было исключением, но исключением, скорее подтверждающим правило. Немногие свидетели могли изложить свои показания таким образом, чтобы отделить свои воспоминания о событиях порой двадцатилетней давности от того, что они впоследствии слышали или читали об этих событиях. С этой проблемой, разумеется, ничего нельзя было поделать, но существовали и другие проблемы, не менее серьезные, в частности, стремление обвинителя уделить основное внимание свидетелям с именем, авторам книг воспоминаний, которые пересказывали свои публикации, причем уже далеко не в первый раз. Обвинитель, стараясь придерживаться хронологического порядка, пригласил сначала восьмерых свидетелей из Германии; все они были людьми вполне рассудительными и сдержанными, но ни один из них не принадлежал к «пережившим Катастрофу». Это были высокопоставленные еврейские функционеры, занимающие теперь видное положение в израильской общественной жизни, и все они покинули Германию еще до начала войны. За ними последовали пятеро свидетелей из Праги и всего один сви-

детель из Австрии. Затем выступили по одному свидетелю от Франции, Нидерландов, Дании, Норвегии, Люксембурга, Италии, Греции и СССР; двое от Югославии; по трое от Румынии и Словакии и тринадцать от Венгрии. Но основное количество свидетелей, 53 человека, представляли Польшу и Литву, где Эйхман, по сути дела, не совершил практически никаких деяний. (И ни одного свидетеля не было приглашено ни от Бельгии, ни от Болгарии.) По большей части это были свидетели, «дававшие общую картину событий», и к той же категории следует отнести 16 мужчин и женщин, которые свидетельствовали об Освенциме (10 человек), Треблинке (четыре человека), Хелмно и Майданеке. К другой категории надо отнести свидетелей, рассказывавших о Терезиенштадте, «гетто стариков» на территории рейха, за происходившее в котором Эйхман нес прямую ответственность. На суде выступило четверо свидетелей из Терезиенштадта и один из Берген-Бельзена, лагеря для «обменных евреев».

Подводя итог этим свидетельским показаниям, «Бюллетень» Яд ва-Шем подчеркнул, что «свидетели заслужили свое право говорить о вещах, не относящихся впрямую к делу»; эти показания подошли к концу на семьдесят третьем заседании суда, и последним свидетелем обвинения выступил Аарон Хотер-Ишай, бывший боец Еврейской бригады, еврейской воинской части в составе британской армии в годы Второй мировой войны, а ныне адвокат. В послевоенное время ему была поручена координация всех действий в европейских странах по поиску евреев, переживших Катастрофу, что осуществлялось в рамках программы нелегальной иммиграции (так называемая *Алия Бет*). Евреи, пережившие Катастрофу, были рассеяны среди восьми миллионов перемещенных лиц со всех концов Европы, и администрация союзников хотела как можно скорее вернуть их всех по домам. Однако для евреев проблема заключалась в том, что таким образом их могли отправить на прежнее место жительства. Аарон Хотер-Ишай рассказал, что они называли себя представителями «борющегося еврейского народа», и с какой радостью их встречали, и как «достаточно было нарисовать звезду Давида на листке бумаги», чтобы люди очнулись от апатии и глаза их загорелись огнем. Он рассказывал, как люди приезжали из лагеря для перемещенных лиц на родину, чтобы только увидеть, что в их маленьком польском городке из шести тысяч евреев в живых осталось пятнадцать человек. Или как четверо из переживших Ката-

строфу и вернувшихся домой были убиты поляками. Он описал попытки предвосхитить отправку евреев на прежнее место жительства, хотя зачастую это было слишком поздно: «В Терезиенштадте в живых осталось 32 тысячи человек, но когда мы прибыли туда несколько недель спустя, там уже находилось всего четыре тысячи — остальные были отправлены на прежнее место жительства. Но этих людей нам удалось переправить на родину — то есть, в Палестину, которая должна была вскоре стать Израилем». Это свидетельство было, пожалуй, одним из самых пропагандистских, не говоря уж о неточном изложении фактов. В ноябре 1944 г., после отправки последнего эшелона в Освенцим из Терезиенштадта, там оставалось всего около 10 тысяч заключенных. В феврале 1945 г. там оказалось еще от шести до восьми тысяч человек, еврейские супруги смешанных пар, которых нацисты успели туда отправить буквально накануне полного развала железнодорожной сети страны. Все остальные — примерно еще 15 тысяч человек — прибыли туда в апреле 1945 г., либо в открытых грузовиках, либо пешком, когда в лагере уже были представители Красного Креста. Это были узники Освенцима, в основном граждане Польши и Венгрии. Когда советские солдаты освободили лагерь 9 мая 1945 г., многие чешские евреи тут же его покинули — ведь они были у себя дома. В лагере вспыхнула эпидемия тифа, и когда через соответствующее время карантин был снят, лагерь покинуло большинство узников. Таким образом, посланники *Алии Бет* нашли в Терезиенштадте только тех, кто не ушел — или не был отправлен — по ряду причин; это были люди больные, пожилые или те, кто знали, что дома у них уже нет и им некуда возвращаться. Но вместе с тем Аарон Хотер-Ишай сказал чистую правду: у всех тех, кто выжил в гетто и лагерях, кто пережил кошмар беспомощности и заброшенности, было лишь одно желание — оказаться там, где они никогда больше не увидят ни одного нееврея. Они были рады встретиться с посланцами еврейского народа Палестины — но с одной лишь целью: убедиться, что они могут попасть туда, легально или нелегально, какими угодно путями, и что их там ждут. Они не нуждались ни в уговорах, ни в убеждениях.

И все-таки хорошо, что Гидеону Хаузнеру удалось поставить судью Ландау перед необходимостью выслушать показания свидетелей, дававших лишь «общую картину событий». Тем более что первый свидетель обвинения был вовсе не похож на

человека, отобранного из огромного числа тех, кто желал выступить на суде. Это был старик, носящий кипу, с редкими седыми волосами, небольшого роста, хрупкого телосложения, но держащийся очень прямо и твердо. Его фамилия была более чем известной, и ясно было, почему обвинитель решил приступить к рисованию «общей картины событий» именно с его помощью. Это был Циндл Гриншпан, отец Гершла Гриншпана, человека, который 7 ноября 1938 г. проник в посольство Германии в Париже и выстрелил в Эрнста фон Рата, третьего секретаря посольства, умершего от раны через два дня. Это покушение послужило поводом для волны погромов, прокатившихся по всей Германии и Австрии, в ночь с 9 на 10 ноября, которая получила название «Хрустальной ночи» и, по сути дела, стала прелюдией к «окончательному решению» — хотя Эйхман не имел к этим конкретным событиям непосредственного отношения. Мотивы поступка семнадцатилетнего Гриншпана так до конца и не были выяснены, и его брат, также приглашенный в качестве свидетеля обвинения, продемонстрировал явное нежелание говорить на эту тему. Суд признал, как само собой разумеющееся, что это был акт мести за высылку 17 тысяч польских евреев (включая семейство Гриншпанов) с территории Германии в конце октября 1938 г., хотя и известно, что такое объяснение вряд ли правдоподобно. Гершл Гриншпан был психически неуравновешенным человеком, который так и не окончил школу. Он годами слонялся по Парижу и Брюсселю и в конечном итоге был выдворен из обоих городов. Его адвокат попытался выступить с неясной историей о гомосексуальных отношениях между убийцей и жертвой. Немецкие власти (которые впоследствии добились его экстрадиции) тогда не отдали его под суд. По слухам, он пережил войну — что вполне соответствует «парадоксу Освенцима» относительно евреев, совершивших уголовные преступления. Фон Рат был человеком, в высшей степени неподходящим для такого покушения — потому хотя бы, что он находился под наблюдением гестапо в связи с его откровенно антинацистскими взглядами и явно выраженной симпатией к евреям; вполне вероятно, что история о гомосексуальных отношениях была сфабрикована гестаповцами. Не исключено, что Гриншпан, сам того не зная, сыграл на руку парижским агентам гестапо, которые одним выстрелом поразили две цели: создали предлог для волны погромов и избавились от антинацистски

настроенного государственного чиновника. Они, правда, не задумались о двусмысленности ситуации: если фон Рат состоял в непристойной связи с еврейским мальчишкой, то вряд ли он годился на роль мученика, жертвы «всемирного еврейства». Однако и это сошли им с рук.

Осенью 1938 г. правительство Польши специальным декретом объявило, что все польские евреи, проживающие в Германии, с 29 октября лишаются польского гражданства (возможно, поляки проводили о намерениях немецких властей выслать евреев в Польшу и решили предупредить этот ход). В высшей степени сомнительно, чтобы люди вроде Циндла Гриншпана вообще знали о существовании такого декрета. Циндл Гриншпан приехал в Германию в 1911 г., в возрасте 25 лет, открыл в Ганновере бакалейную лавку и родил восьмерых детей. К 1938 г. он прожил в Германии 27 лет и, как многие, никогда не задумывался о смене гражданства. Свою историю он рассказывал ясным и твердым голосом, избегая многословия и украшательства, сдержанно и осмотрительно отвечая на вопросы обвинителя.

«В четверг вечером, 27 октября 1938 г., в восемь часов, пришел полицейский и велел нам всем пойти в полицейский участок. Он сказал: «Это не надолго, вас тут же отпустят, не берите с собой ничего, кроме паспортов». И Гриншпан отправился, с женой, сыном и дочерью. Когда они пришли в полицию, там было «много народу, кто-то сидел, кто-то стоял, многие плакали. Полицейские оралы: «Подписывай! Подписывай!» Я подписал, и многие тоже подписали. Потом они отвели нас в большой зал, где уже набралось много народу со всего города. Мы пробыли там до вечера пятницы, почти сутки... Потом они посадили нас в полицейские фургоны, по двадцать человек в каждый, и отвезли на железнодорожную станцию. А на улицах стояли толпы, и все кричали: «*Juden raus* [Евреи, убирайтесь — нем.] в Палестину!» Они отвезли нас на немецко-польскую границу. Мы приехали туда в шабат утром, в шесть утра. Поезда прибыли отовсюду — из Лейпцига, Кельна, Дюссельдорфа, Эссена, Бремена. Там было не меньше двенадцати тысяч человек. Был шабат, 29 октября. Когда мы прибыли на границу, нас обыскали, и если у кого-то было больше десяти марок, то все остальное отбирали. Это был немецкий закон — из Германии нельзя было вывозить более десяти марок. Потом они погнали нас к польской границе. Идти надо было километра полтора. Эсэсовцы подгоняли нас, кричали: «Бегом!

Бегом!» И они начали бить нас. Я упал в канаву, сын помог мне подняться. И сказал: «Побежали, а иначе они нас убьют». Польские пограничники ничего не знали. Пришли польские офицеры, посмотрели на наши паспорта, увидели, что мы — польские граждане, и впустили нас в страну. Нам некуда было деваться, мы просто шли и шли по дороге. Начался сильный дождь. Очень хотелось есть — мы не ели с четверга. Наконец, мы дошли до военного лагеря, и нас разместили в конюшнях. В воскресенье прибыл грузовик с хлебом из Познани...»

Весь рассказ занял не более десяти минут, бесхитростный рассказ о том, как жизнь длиной в двадцать семь лет была разрушена за двадцать четыре часа, и мне подумалось: каждый должен иметь право рассказать о своих горестях в суде. И еще: что для такого рассказа нужна чистая душа, искреннее сердце и незамутненный ум праведника. И еще: что никто, ни один из последующих свидетелей, не говорил с такой искренностью, как Циндл Гриншпан.

В рассказе Гриншпана не было ни одного «драматического момента», но такой момент возник несколько недель спустя, когда судья Ландау предпринял очередную попытку ввести слушание в рамки нормальной судебной процедуры. Показания давал Абба Ковнер, поэт и прозаик, который не столько свидетельствовал, сколько выступал перед аудиторией, как человек, привыкший к публичным выступлениям и непривычный к тому, чтобы его прерывали слушатели. Председательствующий попросил его быть кратким, что ему явно не понравилось, а Хаузнеру, заступившемуся за свидетеля, судья сказал, что «защита вряд ли может жаловаться на отсутствие терпения у суда», что не понравилось и обвинителю. И в этот довольно напряженный момент свидетель упомянул имя Антона Шмидта, фельдфебеля немецкой армии — имя, отчасти знакомое аудитории, поскольку в «Бюллетене» Яд ва-Шем был напечатан материал о нем, и на основе этого материала было несколько публикаций в американских газетах на идиш. Антон Шмидт возглавлял патрульное подразделение, занимавшееся поиском отставших от части немецких солдат в Польше; как-то в ходе поисков он столкнулся с еврейской подпольной группой, в состав которой входил Абба Ковнер, и стал помогать еврейским партизанам, предоставляя им поддельные документы и транспорт. Он оказывал им помощь на протяжении пяти месяцев, с октября 1941 г. по март 1942 г., после чего он был

арестован и казнен. (Обвинитель остановил свой выбор на этой истории, поскольку Ковнер утверждал, что в первый раз услышал имя Эйхмана именно от Шмидта, который сказал ему, что в армии говорят, будто «все это» устроил Эйхман.)

Не в первый раз на процессе зашла речь о помощи извне, со стороны мира неевреев. Судья Халеви столь же часто спрашивал свидетелей о том, не получали ли евреи какой-либо помощи, как Гидеон Хаузнер задавал свидетелям вопрос: «Почему вы не взбунтовались?» Ответы были самые разные и неубедительные: «Весь мир был против нас», «Число христианских семей, прятавших евреев, можно было пересчитать по пальцам одной руки»; при этом ситуация в Польше, как не странно, была лучше, чем в любой другой восточно-европейской стране (как уже отмечалось, на процессе не было свидетелей от Болгарии). Один еврей, живущий в Израиле и женатый на полячке, свидетельствовал, что жена прятала его и еще двенадцать евреев в военные годы; другой рассказывал, что у него был друг-христианин с довоенных времен, к которому он пришел, убежав из лагеря, и который помог ему, а впоследствии был казнен за оказание помощи еврею. Еще один свидетель рассказывал, как польские подпольщики снабжали еврейское сопротивление оружием и спасли тысячи еврейских детей, отдав их в польские семьи. Все они очень сильно рисковали: один свидетель рассказал о том, как всю польскую семью подвергли страшной казни за то, что те приютили шестилетнюю еврейскую девочку. Но Антон Шмидт был первым и единственным немцем, помогавшим евреям, о котором говорилось на процессе.

На протяжении тех нескольких минут, в течение которых Абба Ковнер рассказывал историю о помощи, которую они получали от немецкого фельдфебеля, в зале суда воцарилась тишина, как будто присутствующие почувствовали необходимость почтить минутой молчания память этого человека по имени Антон Шмидт. И невольно в голову пришла мысль: насколько иной была бы жизнь в Израиле, в Германии, во всей Европе, во всем мире, если бы на свете было больше таких людей.

Нетрудно назвать целый ряд причин того, почему таких людей столь мало на свете. Я могу, в частности, сослаться на одну, субъективно искреннюю, книгу военных мемуаров, опубликованную в Германии. Автор, Петер Бамм [Peter Bamm], военный врач, служил в части, воевавшей на Восточном фронте. Он рас-

сказывает об убийствах евреев в Севастополе, которые совершали «те, другие» (так он называет *эйнзацgruppen*, чтобы отличать их от солдат): как их собрали в здании городской тюрьмы, как потом загоняли в «душегубку», как они умирали, а потом водитель вывозил трупы за город и сваливал их в противотанковые рвы. «Мы все знали. И мы ничего не могли поделать. Всякий, кто вздумал бы протестовать, был бы арестован в течение суток и исчез бы из жизни. Это политика тоталитарных правителей нашего времени: они не дают своим противникам умереть достойной смертью, стать мучениками за свои убеждения. На такую смерть могли бы пойти многие из нас. Но в тоталитарном обществе противники режима умирают анонимно. И потому нет сомнения, что всякий, кто предпочел бы скорее умереть, нежели быть молчаливым свидетелем преступлений, отдал бы свою жизнь напрасно. Нельзя сказать, что такая жертва была бы бессмысленной с точки зрения морали. Просто она была бы бесполезной в чисто практическом смысле. Ни у кого из нас нет таких благородных моральных принципов, чтобы принести себя в жертву во имя высших идеалов».

Нельзя, однако, не отметить фатальный изъян в этой, столь правдоподобно звучащей — с первого взгляда — аргументации. Действительно, тоталитарный режим стремится к созданию черных дыр забвения, в которых исчезают все дела и поступки, как добрые, так и преступные. Но как были безнадежны все попытки нацистов, начиная с июня 1942 г., полностью скрыть следы своих преступлений, своих массовых убийств, используя для этого не менее зверские способы — сжигая жертвы в крематориях, во рвах, огнеметами, используя взрывчатку, точно также были обречены на провал все их усилия, прилагаемые к тому, чтобы противники режима «умирали анонимно». Черных дыр забвения не существует. На свете живет слишком много людей, чтобы забвение было физически возможным. Обязательно останется в живых хотя бы один человек, который поведаст миру правду. Поэтому не существует ничего, что было бы «бесполезным в чисто практическом смысле» — во всяком случае, в долгосрочной перспективе. Для современной Германии, например, «в чисто практическом смысле» было бы весьма небесполезно — и для ее международного престижа, и для морального климата внутри страны — если бы в годы войны было бы побольше таких людей, как Антон Шмидт. Мораль такого рода историй проста и доступна каждому. С точки

зрения политической, в условиях террора большинство людей можно принудить к повиновению, *но некоторых людей принудить нельзя*, о чем свидетельствует вся история «окончательного решения». Это «было возможно» в большинстве стран, но кое-где люди заявляли: *«у нас это невозможно»*. А с точки зрения чисто человеческой, ничего более и не требуется, чтобы наша планета осталась местом, пригодным для жизни человеческих существ.

XV. ПРИГОВОР, АПЕЛЛЯЦИЯ И КАЗНЬ

Последние месяцы войны Эйхман провел в Берлине, имея особых занятий, оторванный от всей верхушки РСХА: они все вместе обедали в том же здании, где была его канцелярия, но его не пригласили ни разу. Он занимался тем, что готовил свою канцелярию к «последней битве за Берлин», а также, выполняя свои основные служебные обязанности, сопровождал представителей Красного Креста, посещавших Терезиенштадт. Именно им, за неимением другой, более подходящей аудитории, он изливал душу, жалуясь на новую «умеренную» политику Гиммлера по еврейскому вопросу, предусматривавшую «в следующий раз» создание концентрационных лагерей «по английскому образцу» (согласно тому, как англичане действовали во время Англо-бурской войны 1899–1902 гг.). В апреле 1945 г. Эйхмана вызвал Гиммлер (это была последняя из весьма немногочисленных их личных встреч) и приказал «отобрать в Терезиенштадте пару сотен наиболее достойных евреев», отвезти их в Австрию и поселить в гостинице — чтобы Гиммлер мог использовать их как «заложников для обмена» в ходе его предстоящих переговоров с Эйзенхауэром. Эйхман, даже не задумываясь обо всей абсурдности этого поручения, отправился его выполнять «с печалью в сердце, поскольку мне пришлось оставить свой проект по сооружению защитных укреплений». Он, разумеется, не добрался до Терезиенштадта, поскольку дороги уже были блокированы наступающими частями Красной Армии. Вместо этого он оказался в Австрии, у Кальтенбруннера, который велел ему за-

быть о «достойных евреях» Гиммлера и приступить к формированию отряда для партизанской войны в горах Австрии. Эйхман встретил этот приказ с нескрываемым энтузиазмом («Наконец-то у меня снова появилось достойное дело!»), но едва он успел сколотить малопригодную к боевым действиям группу (кое-кто из них ни разу не держал в руках огнестрельного оружия), как получил последний адресованный ему приказ Гиммлера, категорически запрещающий какие-либо действия против американских или английских войск. Это был конец. Он отправил своих бойцов по домам, а свой переносной сейф, содержащий бумажные деньги и золотые монеты, отдал на сохранение своему юридическому советнику Отто Хунше, «потому что, сказал я сам себе, он все-таки высокопоставленный государственный чиновник, он сможет должным образом управлять этими средствами, он будет вести отчетность... потому что я не сомневался: рано или поздно мне надо будет представить соответствующий финансовый отчет».

Этими словами Эйхман закончил свою автобиографию, и этот текст он отдал следователю. Весь текст занимал не более 315 страниц из общего числа 3 564 страниц расшифрованного текста магнитофонных записей его показаний. Эйхман не собирался останавливаться на этом, и он, несомненно, полностью рассказал историю своей жизни следователю, но по ряду причин суд решил не принимать к рассмотрению все его показания, относящиеся к послевоенному периоду. Однако, основываясь на письменных показаниях, сделанных под присягой на Нюрнбергском процессе, а также на материалах книги Моше Перлмана (Moshe Pearlman) о поимке Эйхмана, представляется возможным завершить этот рассказ. Книга Перлмана, по всей очевидности, основанная на материалах Бюро 06, подразделения полиции, готовившего процесс Эйхмана, вышла в свет в Лондоне за месяц до начала процесса. (Утверждение автора, что он ушел в отставку за три недели до похищения Эйхмана и писал книгу как «частное лицо», не представляется убедительным.) Публикация вызвала известное замешательство в Израиле, не только потому, что автор преждевременно предал гласности информацию о важных документах обвинения и подчеркнул, что суд уже пришел к выводу о недостоверности показаний подсудимого, но также и потому, что сообщение подробностей похищения Эйхмана в Буэнос-Айресе вряд ли могло понравиться соответствующим властям.

Рассказ Перлмана существенно менее захватывающий, по сравнению с различными слухами, циркулировавшими ранее. Эйхман не был на Ближнем Востоке, он не был связан ни с одной из арабских стран, он не возвращался в Германию из Аргентины, он никогда не был ни в какой другой латиноамериканской стране, он не принимал участие в деятельности послевоенных нацистских организаций. В последние дни войны он предпринял еще одну попытку связаться с Кальтенбруннером, но его бывший начальник не захотел его видеть, поскольку «у этого человека не было больше никаких шансов». (Сказанное справедливо и по отношению к самому Кальтенбруннеру, который был повешен по приговору Нюрнбергского процесса.) Вскоре после этого Эйхман попал в руки американцев и был помещен в специальный лагерь для эсэсовцев, где в ходе многочисленных допросов следователи так и не смогли его опознать. Он вел себя очень осторожно, не вступал в контакты с семьей и делал все от него зависящее, чтобы его сочли мертвым; его жена даже пыталась получить свидетельство о его смерти, но попытка не увенчалась успехом, поскольку единственным «очевидцем» его гибели был брат Эйхмана. Она осталась без денег, но семья Эйхманов в Линце поддерживала ее и троих детей.

В ноябре 1945 г. начался процесс в Нюрнберге, и имя Эйхмана стало упоминаться с пугающей частотой. В январе 1946 г. Вислицени, выступая в качестве свидетеля обвинения, дал свои обличающие показания, и Эйхман понял, что ему надо уходить в укрытие. С помощью солагерников ему удалось бежать. Он нашел приют у брата одного из солагерников, в деревушке в 80 километрах от Гамбурга, и работал лесорубом. Там, под именем Отто Хенингера, он провел четыре года, и все ему опостылело до смерти. В начале 1950 г. он смог установить контакты с тайной организацией ОДЕССА [*ODESSA, Organization der ehemaligen SS-Angehörigen* – «Организация бывших членов СС» – нем.], и в мае того же года его переправили из Австрии в Италию, где священник-францисканец, полностью осведомленный о том, с кем он имеет дело, снабдил Эйхмана фальшивым паспортом на имя Рихарда Клемента и отправил его в Буэнос-Айрес. Он прибыл туда в середине июля и вскоре без труда получил удостоверение личности и разрешение на работу; теперь он был Рикардо Клемент, католик, холостяк, без гражданства, 37 лет (на семь лет меньше, чем в действительности).

По-прежнему соблюдая все меры предосторожности, он отправил письмо жене (написав его, однако, своим почерком), где сообщил, что «дядя ее детей» жив. Эйхман сменил много мест работы, был коммивояжером, работал в прачечной, разводил кроликов на ферме. Платили ему плохо, но, тем не менее, летом 1952 г. к нему прибыли его жена и дети. Жена получила немецкий паспорт в Цюрихе (Швейцария), несмотря на то, что в это время она постоянно проживала в Австрии, причем на свою настоящую фамилию, как разведенная жена некоего Эйхмана. Как ей все это удалось, остается тайной — дело с ее заявлением и документами непонятным образом исчезло из консульства Германии в Цюрихе. После приезда семьи в Аргентину Эйхман нашел свою первую постоянную работу на заводе «Мерседес-Бенц» в пригороде Буэнос-Айреса, сначала в качестве механика, потом сменного мастера. Когда у них родился четвертый сын, он повторно женился на своей жене, очевидно, под фамилией Клемент. Впрочем, ребенок был зарегистрирован как Рикардо Франциско (по-видимому, в знак благодарности священнику-францисканцу) Клемент Эйхман. Видимо, Эйхман и в самом деле сказал детям, что он — брат Адольфа Эйхмана, хотя не вполне ясно, как дети, жившие в Линце с дедом, бабкой и дядями, поверили в это, особенно старший сын, которому было девять лет, когда он в последний раз видел отца в Европе, и который должен был бы узнать его семь лет спустя, в Аргентине. Что касается жены Эйхмана, то в ее аргентинском удостоверении личности неизменно значилось «Вероника Либл де Эйхман». Более того, в 1959 г., когда умерла мачеха Эйхмана, и год спустя, когда умер его отец, в сообщениях относительно их смерти, опубликованных газетами Линца, имя Вероники Эйхман было названо в числе родственников покойных. В начале 1960 г., за несколько месяцев до ареста, Эйхман, с помощью старших сыновей, построил в бедняцком пригороде Буэнос-Айреса кирпичный домик, практически без удобств.

Семья жила в бедности и безотрадно. Единственной утехой Эйхмана было общение с членами многочисленной нацистской колонии, причем он не скрывал своего настоящего имени. В 1955 г. голландский журналист Вильгельм Сассен, также бывший эсэсовец, приговоренный заочно к смертной казни в Бельгии за военные преступления и скрывающийся от правосудия, взял у Эйхмана интервью. Готовясь к этому интервью, Эйхман сделал

многочисленные записи, которые Сассен затем переписал, всячески дополнив и изукрасив. Сами записи, сделанные рукой Эйхмана, были потом использованы на процессе в качестве письменных доказательств. Интервью было напечатано, сначала в сокращенной форме, в немецком иллюстрированном журнале *Der Stern* в июле 1960 г., а затем в ноябрьском и декабрьском номерах журнала *Life*. Кроме того, Сассен — несомненно, с ведома Эйхмана — предложил этот материал еще в 1956 г. корреспонденту *Life-Time* в Буэнос-Айресе, и хотя имя Эйхмана было бы исключено из текста, все содержание материала с достаточной очевидностью указывало на исходный источник информации. Дело в том, что это была бы не первая попытка Эйхмана раскрыть свою анонимность, и вообще довольно странно, что израильским секретным службам понадобилось так много времени — до августа 1959 г., — чтобы узнать, что Адольф Эйхман проживает в Аргентине под именем Рикардо Клемент. Израильцы никогда не раскрывают свои источники информации, и потому сегодня не менее пяти человек заявляют, что именно они выследили Эйхмана, тогда как «информированные круги» в Европе утверждают, что Эйхмана «сдала» советская внешняя разведка. Загадка, собственно говоря, заключается не в том, каким образом это было сделано, а в том, почему это не было сделано намного раньше — если, конечно, израильцы и в самом деле искали его все эти годы.

Не существует, однако, никаких сомнений относительно личности людей, похитивших Эйхмана. Все разговоры о «частных лицах, движимых чувством личной мести», были опровергнуты с самого начала заявлением Бен-Гуриона, который сказал 23 мая 1960 г. в Кнессете, что Эйхман «обнаружен израильскими секретными службами». Д-р Серватиус прилагал большие усилия, как в Иерусалимском окружном суде, так и в Апелляционном суде, чтобы вызвать в качестве свидетелей Цви Тохара, пилотировавшего самолет израильской авиакомпании Эль-Аль, которым Эйхман был доставлен из Аргентины в Израиль, и Яда Шимони, представителя авиакомпании в Аргентине, на что он получал неизменный ответ: премьер-министр сказал, что Эйхман был «обнаружен израильскими секретными службами», однако не шло речи о том, что он был похищен правительственными агентами. В действительности, как представляется, дело обстояло как раз наоборот: секретные агенты не «обнаружили» его, а именно что похитили, предварительно проверив достоверность полученной

ими информации о личности подозреваемого. Но даже это было выполнено не вполне профессионально, поскольку Эйхман ощущал ведущуюся за ним слежку: «Я знал, что меня выследили. Соседи говорили, что их расспрашивают якобы торговцы недвижимостью, которые намереваются скупить жилье в округе и построить завод по производству швейных машин. Позже стало ясно, что эти люди — евреи из Северной Америки. Мне ничего не стоило ускользнуть, но я этого не сделал, а продолжал жить обычной жизнью. Я мог бы без труда найти другое место работы, с моими документами и моим опытом, но я не хотел этого».

Были даже разговоры о том, что Эйхман сам хотел предстать перед судом в Израиле. Защитник особо подчеркивал то обстоятельство, что подсудимый был «похищен и насильно привезен в Израиль», а это нарушало международное законодательство и тем самым давало защите возможность поставить под сомнение право данного суда судить обвиняемого. Вместе с тем, ни обвинитель, ни судьи, хотя и не признавали, что похищение относилось к категории «государственных действий», но и не отрицали этого. Аргументация сводилась к тому, что нарушение международного законодательства не нарушало прав обвиняемого, а являлось делом двух стран — Аргентины и Израиля, но этот конфликт был разрешен путем совместного заявления правительств двух стран от 3 августа 1960 г., согласно которому «инцидент, возникший вследствие нарушения гражданами Государства Израиля основных прав Аргентинской республики» считался исчерпанным. Суд пришел к выводу, что при этом не существенно, являлись ли эти израильтяне правительственными агентами или частными лицами. Ни защита, ни суд, однако, не отметили, что Аргентина вряд ли поступилась бы своими правами с такой легкостью, имея Эйхман аргентинское гражданство. Фактически он жил в стране под вымышленным именем и тем самым лишал себя права на получение защиты со стороны государства — во всяком случае, как Рикардо Клемент, родившийся 23 мая 1913 г. в Больцано (Южный Тироль) — согласно записям в его удостоверении личности. И он никогда не поднимал вопроса относительно убежища — что, кстати, все равно ему не помогло бы, поскольку Аргентина, хотя фактически и давшая приют многим известным нацистским преступникам, тем не менее, относилась к числу стран, подписавших Международную конвенцию, согласно которой лица, совершившие преступления против человечности, «не

могут рассматриваться как политические преступники». Все это, хотя и не превращало Эйхмана в апатрида, не лишало его немецкого гражданства в установленном законом порядке, но, тем не менее, давало властям ФРГ удобный предлог не распространять на него действие обычных мер защиты, на которые вправе рассчитывать граждане страны, находящиеся за границей. Иными словами, несмотря на обширную юридическую документацию, основанную на таком количестве прецедентов, что начинаешь думать, будто похищение представляет собой одну из наиболее распространенных форм ареста, именно фактический статус Эйхмана как апатрида, и ничто иное, дал возможность провести его процесс в Иерусалиме. Хотя Эйхман и не был юристом, но весь опыт, накопленный в военные годы, должен был подсказать ему, что с людьми без гражданства любой может делать все, что заблагорассудится — недаром евреев прежде всего лишали гражданства, а потом уже их можно было депортировать и физически уничтожить. Эйхман, однако, не был предрасположен к подобного рода рассуждениям, и все разговоры о том, что он сам хотел предстать перед судом в Израиле, являлись не более чем выдумкой. Другое дело, что он практически не препятствовал этому. Можно сказать, что вовсе не препятствовал.

Итак, 11 мая 1960 г., в половине седьмого вечера, когда Эйхман сошел с автобуса, на котором он обычно возвращался домой с работы, к нему подошли три человека, и меньше чем через минуту его впихнули в машину, ожидавшую у обочины. Никаких наручников, никаких веревок, никаких наркотиков. Эйхман сразу же понял, что имеет дело с профессионалами, поскольку ему не причинили никакой ненужной боли. На вопрос об имени и фамилии он немедленно ответил: «*Ich bin Adolf Eichmann*», и добавил: «Я понимаю, что нахожусь в руках израильтян». В течение восьми дней, пока израильтяне ждали самолета, который должен был доставить их пленника в Израиль, Эйхман лежал, привязанный к кровати — это была, кстати, единственная вещь, на которую он жаловался впоследствии. На второй день ему было предложено написать, что он не возражает предстать перед израильским судом. Заявление, разумеется, было уже готово, ему надо было только переписать его. Однако, ко всеобщему удивлению, он высказал пожелание написать свой собственный текст (хотя, по всей очевидности, заимствовал несколько первых фраз из предложенного его вниманию документа): «Я,

нижеподписавшийся, Адольф Эйхман, настоящим заявляю, по своей доброй воле, что теперь, когда моя личность установлена, я полагаю бесполезным и далее уклоняться от судебного разбирательства. Настоящим я изъявляю свою готовность отправиться в Израиль и там предстать перед полномочным судом. Я понимаю, что мне будет предложена соответствующая юридическая помощь [до этого места он, судя по всему, пользовался предложенным ему образцом], и я намерен предпринять попытку описания фактов, связанных с моей деятельностью в Германии на протяжении последних нескольких лет, без прикрас и искажений, чтобы последующие поколения имели перед собой правдивую картину. Настоящее заявление я делаю по доброй воле, не под давлением или вследствие угроз. Я хочу, наконец, жить в мире с самим собой. Поскольку я не в состоянии помнить все подробности и тем самым могу исказить факты, я прошу оказать мне помощь, предоставив в мое распоряжение соответствующие документы и данные под присягой показания, чтобы облегчить мои усилия в поисках истины». Подпись: «Адольф Эйхман, Буэнос-Айрес, май 1960 г.» Этот документ, безусловно подлинный, имеет одну интересную деталь: указаны только месяц и год, без даты. Опущенная дата заставляет предположить, что письмо было написано не в Буэнос-Айресе, а в Иерусалиме, куда Эйхман был доставлен 22 мая. Это письмо нужно было не столько для суда, хотя обвинитель и представил его в качестве свидетельства, сколько для подтверждения позиции правительства Израиля, изложенной в соответствующей официально ноте правительству Аргентины, к которой письмо было приложено. Серватиус, задав Эйхману вопрос относительно письма, не стал интересоваться отсутствием даты, тем более что Эйхман, после наводящих вопросов, дал понять, хотя и в неявной форме, что письмо было написано им не без принуждения, в то время, когда он лежал, привязанный к кровати, в Буэнос-Айресе. Обвинитель, разумеется, не стал поднимать этот вопрос вообще, справедливо полагая, что чем меньше сказано по этому поводу, тем лучше.

Эйхман представил два объяснения относительно своего поистине удивительного сотрудничества с судебными властями. В Аргентине, за несколько лет до его поимки, он писал, что устал от чувства своей обезличенности, и это чувство становилось все сильнее, по мере того, как он все больше и больше читал о себе в прессе. Его второе объяснение, данное в Израиле, звучало еще

более драматично: «Весной 1959 г. я слышал от знакомого, который ездил в Германию, что некоторые группы немецкой молодежи охвачены чувством вины... и я воспринял появление этого комплекса вины как некий поворотный пункт в истории — не менее значимый по-своему, чем высадка человека на Луне. Это стало и поворотным пунктом в моей внутренней жизни, и я начал задумываться о многом. Вот почему я даже не попытался скрыться, когда почувствовал, что кольцо вокруг меня смыкается. Когда я узнал о том, что немецкая молодежь испытывает чувство вины, я понял, что не могу больше скрываться. Потому я и предложил описать события своей жизни, чтобы сделать их достоянием широкой общественности. Я хотел внести свой вклад в дело освобождения немецкой молодежи от чувства вины, потому что эти молодые люди не могут отвечать за то, что делали их отцы во время последней войны» — которую он, кстати, в другом контексте по-прежнему называл «войной, которую навязали немецкому рейху». Разумеется, все это были лишь пустые разговоры. Что мешало ему, в конце концов, самому вернуться в Германию и сдать властям? Ему был задан именно этот вопрос, на который он ответил, что, по его мнению, немецкие суды недостаточно объективны, особенно когда речь идет о таких людях, как он. Но если он предпочитал предстать перед израильским судом — как он давал иногда понять, — то что же мешало ему избавить правительство Израиля от ненужных усилий по его поиску? Мы уже говорили, что такого рода разговоры преисполняли его гордостью и позволяли ему испытывать душевный подъем. Это даже позволяло ему говорить о своей смерти с достойной удивления невозмутимостью: «Я знаю, что мне уготовлен смертный приговор», — заявил он в самом начале следствия.

И все-таки что-то стояло за всеми этими пустыми разговорами, и это нашло свое отражение в выборе подсудимым своего защитника. По вполне очевидным причинам правительство Израиля решило пригласить иностранного адвоката, и 14 июля 1960 г., через полтора месяца после начала следствия, Эйхмана поставили в известность о наличии трех кандидатур, на его выбор: д-р Серватиус, рекомендованный его родственниками (фактически Серватиус сам предложил свои услуги, позвонив сводному брату Эйхмана в Линц), еще один немецкий адвокат, проживавший в Чили, и нью-йоркская адвокатская контора, к которой обратилась администрация суда. Существовала, разумеется, воз-

возможность рассмотрения и других кандидатур, и Эйхману неоднократно было сказано, что он может не торопиться с выбором. Он, напротив, поторопился остановить свой выбор на д-ре Серватиусе, поскольку тот вроде бы был знаком с его сводным братом и к тому же имел опыт защиты других военных преступников. Сделав выбор, Эйхман настоял на том, чтобы немедленно подписать все необходимые документы. Примерно через полчаса он осознал, что процесс может принять «глобальный размах», что в нем будут участвовать несколько обвинителей и что Серватиус в одиночку просто не сможет «переварить весь материал». Ему напомнили, что Серватиус намеревался «возглавить группу адвокатов» (этого так и не произошло), и один из следователей добавил: «Разумеется, д-р Серватиус не будет работать в одиночку — это физически невозможно». Но д-р Серватиус, как выяснилось, большую часть времени работал в одиночку. Таким образом, Эйхману пришлось взять на себя функции главного помощника своего собственного адвоката и, наряду с написанием книги, «обращенной к грядущим поколениям», трудиться без устали на протяжении всего процесса.

Через 11 недель после начала процесса, 29 июня 1961 г., закончилось выступление обвинения, и д-р Серватиус начал выступление защиты; 14 августа, после 114 судебных заседаний, рассмотрение дела закончилось, и суд прекратил слушания на четыре месяца, после чего 11 декабря возобновил судебное заседание для зачитания приговора. На протяжении двух дней, разделенных на пять заседаний, судьи зачитывали 244 параграфа решения суда. Не согласившись с предъявленным обвинителем пунктом о «преступном сговоре», что сделало бы Эйхмана «главным военным преступником», несущим ответственность за все, связанное с «окончательным решением», суд признал Эйхмана виновным по всем 15 пунктам обвинительного заключения, притом, что он был оправдан по некоторым частностям. В числе прочего, он был обвинен в «преступлениях против еврейского народа», то есть, в преступлениях против евреев, *целью которых было уничтожение всего народа*, по четырем пунктам: (1) способствовал убийству миллионов евреев; (2) способствовал тому, чтобы миллионы евреев оказались в условиях, которые стали причиной их смерти; (3) способствовал нанесению тяжелых и опасных телесных и психических травм; (4) отдавал рас-

поражения относительно запрета рождаемости и искусственно-го прерывания беременности еврейских женщин (в Терезиенштадте). Эйхман, однако, был оправдан по названным пунктам обвинения за период до августа 1941 г., то есть, до того момента, когда ему был сообщен приказ Гитлера об «окончательном решении»: его деяния до этого момента, в Берлине, Вене и Праге не имели целью «уничтожение еврейского народа». Таковы были первые четыре пункта обвинительного заключения. Пункты с пятого по двенадцатый были связаны с «преступлениями против человечности» — странная концепция израильского законодательства, поскольку в категорию «преступления против человечности» включены геноцид неевреев (в случае Эйхмана, цыган и поляков), равно как и прочие преступления, включая убийство, совершенные в отношении как евреев, так и неевреев, но не имеющие целью уничтожение всего народа. Таким образом, все, что делал Эйхман до получения приказа фюрера, и все его деяния против неевреев сведены вместе, в категорию «преступления против человечности», к которым добавлены снова все его последующие преступления против евреев, поскольку они относились также и к категории обычных преступлений. Иными словами, по пункту 5 он обвинялся в тех же преступлениях, что и по пунктам 1 и 2; пункт 6 содержал обвинения «в преследовании евреев по расовым, религиозным и политическим причинам»; пункт 7 — обвинения «в грабеже еврейской собственности, сопряженном с убийством»; пункт 8 включал все эти преступления снова, в качестве «военных преступлений», поскольку они по большей части совершались в военное время. Пункты 9-12 включали преступления против неевреев: пункт 9 говорил о «выселении сотен тысяч поляков из их домов»; пункт 10 — о «высылке 14 тысяч словенцев» из Югославии; пункт 11 — о депортации «десятков тысяч цыган в Освенцим». Однако в решении суда отмечается: «не было доказано, что обвиняемый знал, что цыгане депортируются с целью уничтожения» — иными словами, Эйхман не был обвинен в геноциде никаких других народов, кроме евреев. Такая позиция суда трудно объяснима, поскольку, во-первых, факт уничтожения цыган является общеизвестным, а во-вторых, Эйхман признал в ходе следствия, что ему было известно о намерениях уничтожения цыган: он вспомнил, хотя и не с полной уверенностью, о приказе Гимmlера, причем никаких «директив» относительно цыган

не существовало (в отличие от директив по «еврейскому вопросу»), равно как и не проводились «исследования по цыганскому вопросу», относительно «их происхождения, обычаев, привычек, фольклора, экономики, организационных структур». Его отделу было поручено «эвакуировать» 30 тысяч цыган с территории рейха, а детали он помнил не очень хорошо. Впрочем, он не сомневался, что цыган депортировали, как и евреев. Таким образом, он был виновен в уничтожении цыган точно так же, как и евреев. Пункт 12 говорил о депортации 93 детей из Лидице, чешской деревушки, все жители которой были уничтожены после покушения на Гейдриха. Однако, по обвинению в убийстве этих детей он был оправдан. Согласно последним трем пунктам, ему вменялось членство в трех из четырех организаций, которые на Нюрнбергском процессе были отнесены к категории «преступных»: СС, Служба безопасности (СД) и тайная государственная полиция (гестапо). (Четвертой преступной организацией в Нюрнберге было признано руководство Национал-социалистической партии, но до этого уровня Эйхман явно не дотягивал.) Его членство в названных организациях до мая 1940 г. попадает под действие закона о сроке давности (20 лет), установленного для менее серьезных преступлений. (Закон от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников, на основании которого Эйхман был привлечен к судебной ответственности, предусматривает, что для более серьезных преступлений этой категории не может быть установлен срок давности, а также что к ним неприменим принцип *res judicata* [решенное дело — *лат.*] — иными словами, правонарушитель может предстать перед судом в Израиле, несмотря на то, что «он уже был судим за рубежом, либо международным трибуналом, либо трибуналом другого государства, за то же самое деяние».) Все преступления по пунктам 1-12 обвинительного заключения предусматривали в качестве наказания смертную казнь.

Эйхман, как мы помним, постоянно подчеркивал, что он виновен лишь в «содействии и соучастии», но что лично он не совершил ни одного «явного деяния», то есть, действия, которое можно подтвердить свидетельскими показаниями. Суд в известном смысле признал, что обвинитель не смог доказать неправоту подсудимого по этому вопросу. Действительно, вопрос был очень важным, поскольку затрагивал саму сущность этого преступления, которое не являлось обычным преступлением. Косвенным

образом принималось во внимание и то противоестественное обстоятельство, что в лагерях уничтожения «роковые орудия убийства» находились, как правило, «именно в руках самих узников и жертв». Решение судей по этому вопросу было не просто правильным — оно было самой правдой: «Оценивая деяния обвиняемого согласно параграфу 23 нашего уголовного кодекса, мы должны сказать, что это были действия лица, подстрекающего других к совершению криминальных деяний, путем советов или рекомендаций, а также оказывающего другим помощь или содействие при совершении такого рода деяний». Однако, «поскольку мы имеем дело с таким чудовищным и невообразимым преступлением, в котором замешано столь много участников, причем на самых разных уровнях, выполнявших самые различные действия, включая и вдохновителей, и организаторов, и рядовых исполнителей, то вряд ли целесообразно исходить из традиционных понятий подстрекательства и соучастия. Поскольку это были массовые преступления — как по числу жертв, так и по численности преступников, то для определения степени виновности не принципиально, насколько были или не были отдалены непосредственные убийцы от своих жертв. Напротив, можно сказать, что *степень ответственности возрастает по мере отдаленности от тех, в чьих руках находились роковые орудия убийства* [курсив наш]».

После того, как было зачитано решение суда, все шло обычным образом. Еще раз выступил обвинитель, потребовав в своей затянувшейся речи смертной казни для подсудимого — что, при отсутствии смягчающих вину обстоятельств, являлось неизбежным исходом. Затем совсем кратко выступил д-р Серватиус, сказавший, что действия обвиняемого были «государственными действиями», и любой человек в будущем может оказаться в сходных обстоятельствах, что такая проблема характерна для всего цивилизованного мира и что Эйхман оказался «козлом отпущения», которого нынешнее правительство ФРГ бросило на произвол судьбы и отдало в распоряжение иерусалимского суда, чтобы не брать ответственность на себя. Если ранее д-р Серватиус говорил, что иерусалимский суд должен оправдать подсудимого, поскольку, согласно законодательству Аргентины, срок давности для преступлений подобного рода истек 7 мая 1960 г., то есть, «незадолго до похищения», то сейчас он заявил, что иерусалимский суд не может приговорить обвиняемого к смертной каз-

ни, поскольку она отменена в ФРГ, причем без всяких исключений и оговорок.

Затем настал черед последнего слова обвиняемого. Он сказал, что его надежды на правосудие оказались обманутыми, что суд отказал ему в доверии, хотя он неизменно старался говорить только правду. Суд не понял его: он никогда не был юдофобом и, уж тем более, убийцей. Корни его вины — в его стремлении повиноваться, но послушание — это, по сути дела, добродетель. Нацистские лидеры злоупотребили его склонностью к послушанию. Но он сам никогда не принадлежал к правящей клике, он и сам был жертвой, и потому наказания заслуживают лишь правители. (Он, правда, не зашел столь далеко, как некоторые военные преступники в более низких чинах, которые горестно сетовали, что, дескать, начальство говорило им: «Не беспокойтесь о последствиях и ответственности» — а вот теперь тех, кто несет всю полноту ответственности, невозможно призвать к ответу, поскольку они «бросили исполнителей на произвол судьбы и ускользнули» — либо покончив с собой, либо позволив себя повесить.) «Я вовсе не чудовище, из меня делают чудовище», — сказал Эйхман. И еще он сказал: «Я — жертва ошибок и заблуждений». Он не назвал себя прямо «козлом отпущения», но косвенно подтвердил заявление Серватиуса, сказав, что «вынужден страдать за деяния других людей». Через два дня, 15 декабря 1961 г., в пятницу, в девять утра, был зачитан смертный приговор.

Три месяца спустя, 22 марта 1962 г., началось рассмотрение апелляции в Верховном суде Израиля, с участием пяти судей под председательством Ицхака Ольшана. Обвинение представлял Гидеон Хаузнер, с четырьмя помощниками, защиту — д-р Серватиус, без помощников. Защитник повторил все ранее высказанные аргументы относительно неправомочности израильского суда, а затем, поскольку все его попытки убедить правительство ФРГ потребовать экстрадиции оказались тщетными, он потребовал от Израиля, чтобы тот *предложил* экстрадицию. Он также представил список новых свидетелей, но среди включенных в этот список вряд ли нашелся хотя бы один человек, способный представить что-то, хоть отдаленно напоминающее «новые доказательства». Он включил в список не только д-ра Ганса Глобке, которого Эйхман в жизни не видел и о котором он, возможно, впервые услышал только в Иерусалиме, но и — ко

всеобщему изумлению — д-ра Хаима Вейцмана, первого президента Государства Израиль, который умер десять лет тому назад. Его выступление являло собой невообразимую мешанину, полную ошибок (в одном случае он представил, в качестве нового свидетельства, французский перевод документа, оригинал которого был ранее представлен обвинением; в двух других случаях он неправильно истолковал тексты документов, и так далее). Эта небрежность разительно контрастировала с той тщательностью, с которой он вставил в текст своего выступления выпады по отношению к судьям. Он снова отнес «убийство при помощи газа» к «аспектам медицинского характера»; заявил, что еврейский суд не вправе заниматься судьбой детей из Лидице, поскольку те не были евреями; подчеркнул, что израильская судебная процедура противоречит европейской процедуре (на которую имеет право Эйхман по своему рождению) в том, что от подсудимого требуется представлять доказательства в свою защиту, а именно этого обвиняемый не был в состоянии сделать, поскольку в Израиле не наличествовало ни необходимых свидетелей, ни соответствующих документов. Короче говоря, суд был неправый, приговор — несправедливый.

Рассмотрение апелляции заняло всего неделю, после чего суд прекратил слушания на два месяца. Второе судебное решение было зачитано 29 мая 1962 г. — не столь объемное, как первое, но все же 51 страница стандартного формата юридических документов, через один интервал. Оно формально подтверждало решение суда первой инстанции по всем пунктам, и для такого подтверждения судьям не нужно было ни двух месяцев, ни 51 страницы через один интервал. Вместе с тем Верховный суд, в сущности, подверг ревизии позицию окружного суда: теперь в судебном решении утверждалось, что Эйхман не получал «приказов сверху», а был сам себе верховным начальством и самостоятельно отдавал все распоряжения, связанные с «еврейским вопросом»; более того, «по своей значимости он затмил всех своих начальников, включая Мюллера». В ответ на резонное замечание защитника, что судьба евреев была бы такой же, даже если бы Эйхмана вообще не существовало на свете, суд заявил, что «идея «окончательного решения» никогда бы не приняла такую страшную форму, со всеми мучениями и пытками, если бы не фанатичное усердие и ненасытная кровожадность обвиняемого и его сообщников». Верховный суд Израиля принял не только

точку зрения обвинителя, но также его лексику и манеру выражения.

В тот же день, 29 мая, президент Израиля Ицхак Бен-Цви получил прошение Эйхмана о помиловании, четыре страницы, написанные от руки, «по указанию моего защитника», и письма от жены Эйхмана и его родных в Линце. Президент получил также сотни писем и телеграмм со всего света с просьбами о помиловании — в числе просителей были, как ни удивительно это звучит, Центральная конференция американских раввинов, представительный орган реформистов США, и группа профессоров Еврейского университета в Иерусалиме, возглавляемая Мартином Бубером, который с самого начала был противником этого процесса, а сейчас пытался убедить Бен-Гуриона вмешаться и обратиться с соответствующей просьбой к президенту. Бен-Цви отклонил просьбу о помиловании 31 мая, через два дня после решения Верховного суда, и несколько часов спустя, в тот же день, пришедшийся на четверг, незадолго до полуночи, Эйхман был повешен, его тело кремировано, а пепел развеян в Средиземном море, за пределами израильских территориальных вод.

Быстроту, с которой смертный приговор был приведен в исполнение, можно назвать экстраординарной, даже принимая во внимание, что после четверговой ночи следуют пятница, суббота и воскресенье — дни, каждый из которых является священным для одной из трех основных конфессий страны. Казнь свершилась менее чем через два часа после того, как Эйхман был извещен о том, что его прошение о помиловании отвергнуто президентом — не было даже времени для последней трапезы. Возможно, это объяснялось тем, что д-р Серватиус буквально в последний момент предпринял две попытки для спасения своего клиента: подал прошение в суд ФРГ, чтобы вынудить западногерманское правительство потребовать экстрадиции Эйхмана, и объявил о намерении использовать Статью 25 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Когда прошение Эйхмана было отвергнуто, ни д-ра Серватиуса, ни его помощника не было в Израиле, и, возможно, израильское правительство решило завершить дело, длящееся уже два года, пока защита не предприняла попытку приостановить исполнение приговора.

Смертный приговор был ожидаемым исходом, и против него мало кто возражал, но ситуация изменилась, когда стало ясно,

что израильтяне намерены идти до конца. Акции протеста длились недолго, но они были многочисленны, и в них принимали участие известные и влиятельные люди. Самым распространенным аргументом было утверждение, что сделанное Эйхманом превосходит человеческое восприятие, и потому не людям его судить, и, тем более, карать смертью за убийства миллионов людей — это, разумеется, было, по сути дела и в известной степени, верно, да только ведь нельзя же утверждать, что человек, повинный в миллионах смертей, может остаться вообще безнаказанным. Немало было и таких, кто называл решение суда «лишенным воображения», тогда как их воображения хватало лишь на то, чтобы предложить отправить Эйхмана до конца дней в безводные просторы пустыни Негев, чтобы он там «в поте лица трудился на благо еврейского государства» — такого наказания он не вынес бы больше одного дня, не говоря уж о том, что освоение южных пустынь самими израильтянами отнюдь не рассматривается как каторжные работы. Были предложения и в стиле желтой прессы: подняться до «Божественных высот», стать выше всех «самоочевидных юридических, политических и даже чисто человеческих соображений», для чего собрать вместе «всех, кто принимал участие в поисках, поимке, организации и проведении процесса, вынесении приговора, а в центре поставить Эйхмана в кандалах» и перед телекамерами объявить их героями века.

Мартин Бубер назвал смертный приговор Эйхману «ошибкой исторического масштаба», поскольку это может «способствовать искуплению того чувства вины, которое сейчас испытывают многие молодые люди в Германии» — аргумент, странным образом перекликающийся с мыслями Эйхмана на этот счет, хотя Буберу вряд ли были известны слова Эйхмана о том, что он готов повеситься публично, если это поможет облегчить чувство вины немецкой молодежи.

Странно, что Бубер, человек не только выдающийся, но и обладающий высочайшим интеллектом, не осознавал, сколь иллюзорны все разговоры об этом якобы всеобщем чувстве вины. Сколь лестно и приятно испытывать чувство вины, если ты на деле ни в чем не виноват: ах, как это благородно! Испытывать подлинное чувство вины и раскаиваться в содеянном — вот это трудно по-настоящему. Немецкая молодежь на каждом шагу видит людей, причем занимающих высокие государственные посты, которым есть в чем раскаиваться и кто, тем не менее, отнюдь

не ощущает себя виновным. Естественным чувством немецкой молодежи должно было бы стать негодование, но негодование — чувство опасное: оно не смертельно, оно не вредит здоровью, но может повредить карьере. И те молодые люди, которые время от времени, после прочтения «Дневника Анны Франк» или во время процесса Эйхмана, начинают в истерических тонах говорить о переполняющем их чувстве вины — они отнюдь не поражены грехами своих отцов; скорее, они стараются скрыться от своих сегодняшних проблем и неприятностей, ударившись в дешевую сентиментальность.

Далее профессор Бубер сказал, что «не чувствует никакой жалости» к Эйхману, потому что можно быть «исполненным жалости лишь к людям, чьи поступки я могу понять своим сердцем», и особо подчеркнул мысль, высказанную им много лет тому назад, еще в Германии: что он «лишь с чисто формальной точки зрения сходен с теми биологическими особями, которые несут ответственность за все, что делалось в Третьем рейхе». Такое величественное отношение — это, разумеется, роскошь, чего не могут позволить себе люди, которые вели процесс Эйхмана, поскольку закон предусматривает, чтобы мы принадлежали к тому же виду, что и те, кого мы обвиняем, судим и осуждаем. Насколько мне известно, Бубер был единственным философом, публично отозвавшимся на казнь Эйхмана (незадолго до начала процесса Карл Ясперс в интервью для радио Базеля, сказал, что, по его мнению, Эйхмана должен судить международный трибунал).

Менее всего были слышны голоса тех, кто выступает против смертной казни, исходя из своих убеждений. Хотя их аргументация обычно выглядит обоснованной, вне зависимости от личности приговоренного, однако они не могли не сознавать, что данный конкретный случай вряд ли можно считать подходящим для активных выступлений.

Адольф Эйхман пошел на смерть, ни на мгновение не теряя достоинства. Он попросил бутылку красного вина и выпил половину. Он отказался от поддержки протестантского священника, который предложил ему вместе прочесть несколько мест из Библии. Он прошел путь в пятьдесят метров от своей камеры до места казни спокойно и высоко подняв голову, с руками, связанными за спиной. Когда охранники связали ему лодыжки и колени, он попросил ослабить ремни, чтобы он мог стоять прямо. Ему

предложили надеть черный капюшон на голову — он отказался: «Мне этого не требуется». Он полностью владел собой — нет, скорее он в полной мере оставался самим собой. Ничто не могло бы послужить лучшим тому доказательством, как гротесковая бессмыслица его последних слов. Он с особо значительным выражением заявил, что является *Gottgläubiger* — нацистский термин, означающий человека, порвавшего с христианской религией, — и что он, таким образом, не верит в жизнь после смерти. Затем он продолжил: «Вскоре, господа, мы все встретимся снова. Такова участь всех людей. Да здравствует Германия, да здравствует Аргентина, да здравствует Австрия. Я их никогда не забуду». Перед лицом смерти он припомнил дежурные фразы, пригодные для похоронной риторики. У виселицы память сыграла с ним последнюю злую шутку; он испытал «душевный подъем», забыв, что это были его собственные похороны.

Можно сказать, что последние минуты жизни Эйхмана стали подведением итогов урока, который мы получили, постигая все глубины человеческой подлости и греховности — урока, наглядно показавшего нам весь несказанный и невообразимый ужас обыденных злодеяний.

ЭПИЛОГ

Отклонения от привычных норм и правил характерные для Иерусалимского процесса, были столь многочисленны, столь разнородны и столь сложны с юридической точки зрения, что они затмили, как в ходе процесса, так и впоследствии, на страницах до странности немногочисленной литературы, посвященной этому процессу, все те существенно важные этические, политические и даже юридические проблемы, которые подобный процесс не мог не поднять. Сами израильтяне еще более усложнили и запутали ситуацию. Как в высказываниях премьер-министра Бен-Гуриона накануне процесса, так и в формулировках обвинителя был декларирован целый ряд целей, которые должны быть достигнуты в результате этого процесса. И все эти цели представля-

лись слишком общими и глобальными, если рассматривать их с точки зрения законодательства и судебной процедуры. Цель процесса — вынесение вердикта, и не более того; при этом даже самые благороднейшие цели общего характера (например, «Увековечить для будущих поколений правду о гитлеровском режиме» — формулировка главной цели Нюрнбергского процесса, принадлежащая Роберту Дж. Стори, одному из американских юристов, поддерживавших обвинение на процессе) способны лишь отвлечь внимание от важнейшей функции закона: взвесить обвинения, выдвинутые против подсудимого, вынести решение и определить меру наказания.

Решение суда по делу Эйхмана, первые две части которого противостояли глобальным целям процесса, постулированным как в зале суда, так и за его пределами, было предельно ясным и сформулированным по существу: необходимо оказывать сопротивление всем попыткам расширить рамки процесса, поскольку суд «не может позволить себе быть вовлеченным в области, находящиеся вне его сферы... судебный процесс подчиняется своим правилам и нормам, определенным в законодательном порядке, которые не подлежат изменению, вне зависимости от того, какой именно вопрос рассматривается в суде». И более того — суд не может преступить эти нормы, поскольку иначе он рискует совершить судебную ошибку. Суд не может иметь в своем распоряжении «средства для рассмотрения вопросов общего характера» — его полномочия и компетенция всецело зависят от того, насколько соблюдаются такого рода ограничения. «Никто не уполномочивает нас выносить суждения относительно вопросов, выходящих за пределы юриспруденции, и наше мнение по такого рода вопросам не может быть более значимым, чем мнение любого другого разумного и информированного человека». И потому на вопрос, чаще всего задаваемый по поводу суда над Эйхманом: «Что же именно достойного сделал этот суд?» существует единственный возможный ответ: «Поступил по справедливости».

Три вида возражений высказывались по поводу процесса Эйхмана. Во-первых, возражения, относившиеся в свое время к Нюрнбергскому процессу и сейчас снова повторенные: Эйхмана судили по закону, имеющему обратную силу, и это был суд победителей. Во-вторых, возражения, имевшие отношение только к Иерусалимскому процессу: какова была правомочность Иеруса-

лимского суда и почему не был принят во внимание тот факт, что подсудимый оказался в суде в результате похищения. И, в третьих, самое существенное возражение, относящееся к обвинению как таковому: почему Эйхман был обвинен в совершении преступлений «против еврейского народа», а не в «преступлениях против человечности»; на основе этого возражения можно сделать логический вывод, что единственным судом, имеющим право судить такие преступления, мог стать только международный трибунал.

Ответ суда на возражения первого рода был прост: Нюрнбергский процесс рассматривался в Иерусалиме как имеющий силу прецедент, и судьи просто не могли действовать иным образом, поскольку сам Закон от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников был основан на этом прецеденте. «Данный конкретный закон, — указывается в решении суда, — полностью отличен от любого другого закона, обычного для уголовных кодексов», и причина такого отличия связана с самой сутью преступлений, подлежащих суду на основе этого закона. Можно также добавить к сказанному, что его ретроактивность лишь формально, но отнюдь не по сути противоречит принципу *nullum crimen, nulla poena sine lege* [нет преступления, нет наказания без закона — лат., то есть, если они не предусмотрены законом], поскольку этот принцип разумно применим лишь к деяниям, известным законодателю. В случае же, если речь идет о прежде неизвестном виде преступления (например, геноциде), то соображения справедливости требуют рассматривать его на основе нового закона. Новой законодательной базой для Нюрнбергского процесса была Хартия (Лондонское соглашение от 1945 г.), а для Иерусалимского процесса — Закон от 1950 г. Вопрос заключается не в том, являются ли эти законы ретроактивными (они и должны быть таковыми), а в том, насколько они отвечают требованиям системы судопроизводства, то есть, относятся ли они исключительно к прежде неизвестным преступлениям. Это необходимое предварительное условие для ретроактивных законов было в немалой степени нарушено в рамках Хартии (Лондонского соглашения), на основе которого был учрежден Международный военный трибунал в Нюрнберге, и возможно, что по этой причине обсуждение такого рода вопросов сопряжено с определенными проблемами.

Хартия определяла подсудность трех категорий преступлений: «преступления против мира», названные Трибуналом «самыми серьезными международными преступлениями... поскольку они содержат квинтэссенцию зла», «военные преступления» и «преступления против человечности». Из трех этих категорий лишь последняя, «преступления против человечности», могла считаться не имевшей прецедента. Агрессивные войны так же стары, как и история человечества, и хотя они обычно назывались «преступными», формальным образом это положение нигде не было сформулировано. (Действия Вильгельма II были осуждены трибуналом Антанты после Первой мировой войны, но не за то, что бывший кайзер развязал войну, а за нарушение им договоров, и главным образом нарушение нейтралитета Бельгии. Верно также, что пакт Келлога-Бриана (август 1928 г.) декларировал отказ от войны как от орудия национальной политики, но в пакте не были определены критерии агрессии и в нем не предусматривались санкции — не говоря уже о том, что предлагаемая пактом система безопасности рухнула еще до начала войны.) Более того, к одной из стран-членов Трибунала, а именно, к СССР, был вполне применим аргумент *tu-quoque* [и ты тоже — лат.], поскольку Советский Союз начал войну с Финляндией и принял участие в разделе Польши в 1939 г., без каких бы то ни было отрицательных для себя последствий.

Далее, что касается «военных преступлений», то они не более беспрецедентны, нежели «преступления против мира», и они также рассматривались в рамках международного законодательства. Гаагские и Женевские конвенции говорят о «законах и обычаях войны» и их нарушениях. В них в основном речь идет о нормах обращения с военнопленными и защите гражданского населения во время войны. Здесь также не было необходимости в новом законе, имеющем обратную силу, и основные трудности в Нюрнберге возникали в силу того общеизвестного обстоятельства, что и здесь был применим аргумент *tu-quoque*: СССР так и не подписал Гаагскую конвенцию (кстати, Италия тоже ее не ратифицировала), и СССР не без оснований подозревался в нарушении норм обращения с военнопленными, не говоря об убийстве 15 тысяч польских офицеров, чьи тела были найдены в Катынском лесу, неподалеку от Смоленска. Более того, нанесение массированных бомбовых ударов по городам, не говоря уж

об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, относятся, вне сомнения, согласно нормам Гаагской конвенции, к категории «военных преступлений». И если бомбардировки немецких городов были спровоцированы неприятелем, явившись ответом на бомбардировки Лондона, Ковентри и Роттердама, то этого нельзя сказать относительно использования принципиально нового сверхмощного оружия, наличие и эффективность которого можно было продемонстрировать другими способами. Скажем прямо, самой очевидной причиной того, что нарушения Гаагской конвенции, совершенные союзниками, никогда не обсуждались в рамках юридических дискуссий, был тот факт, что Международный военный трибунал являлся международным только по названию, а на деле это был суд победителей. Авторитетности его суждений, во всяком случае не безусловных, в значительной мере повредило и то обстоятельство, что коалиция государств, выигравших войну и учредивших этот суд, распалась, «еще раньше, чем успели высохнуть чернила, которыми были подписаны решения в Нюрнберге [Otto Kirchheimer]. Но эта причина, по которой военные преступления (в том смысле, как это определено Гаагской конвенцией), совершавшиеся союзниками, не рассматривались трибуналом, являлась лишь наиболее очевидной (хотя не единственной и, наверное, не самой главной). Справедливости ради следует добавить, что судьи Нюрнбергского трибунала были, как минимум, осторожны, выдвигая против немецких подсудимых те обвинения, которые попадали под действие аргумента *tu-quoque*. Во всяком случае, к концу Второй мировой войны было уже общеизвестно, что технический прогресс в области вооружений сделал «преступную» войну неизбежной. Устарели все различия, на которых, в рамках Гаагской конвенции, были основаны определения «военных преступлений» — различия между военными и гражданскими лицами, между армией и гражданским населением, между военными целями и мирными городами. Становилось общепризнанным, что в новой ситуации военными преступлениями становятся только такие деяния, которые выходят за пределы необходимых и неизбежных военных действий и которые носят явно и преднамеренно бесчеловечный характер.

Такое понятие, как «беспричинная жестокость», стало основным критерием при определении того, что именно — с учетом конкретных обстоятельств — относится к категории

«военных преступлений». Это понятие было также использовано при формулировке все еще не имеющей достаточно точного определения, но, безусловно, новой категории преступлений: «преступления против человечности». Хартия (в Статье 6-с) называет эту категорию «бесчеловечными действиями», трактуя их как преступные акты насилия в ходе ведения военных действий. Понятие «бесчеловечные действия» ни в коей мере не относится к той категории «обычных» военных преступлений, которые побуждали союзников заявлять, что (цитируя Черчилля) «наказание военных преступников являлось одной из основных целей войны». Напротив, речь идет о неслыханных зверствах, цель которых состояла в уничтожении целых народов и «освобождении» целых регионов от коренного населения. Иными словами, это были не просто преступления, которые «невозможно оправдать никакими соображениями военной необходимости», но преступления, которые не связаны с военными действиями. Более того, при совершении этих преступлений декларировалось, что подобного рода политика методических убийств будет также продолжена и в мирное время. Эта категория преступлений не попадала под действие ни международного, ни национального законодательства; более того, это была единственная категория преступлений, к которой не мог быть применим аргумент *tu-quoque*. И вместе с тем, не было других преступлений, при рассмотрении которых судьи на Нюрнбергском процессе испытывали бы такие затруднения и которые оставляли бы их в таком мучительном состоянии неопределенности. Они предпочитали «признавать подсудимых виновными по обвинению в военных преступлениях, поскольку эта категория охватывала традиционные преступления, стараясь при этом по возможности уделять меньше внимания обвинениям в преступлениях против человечности» [Otto Kirchheimer]. Однако, когда процесс доходил до стадии приговора, то судьи обнаруживали свои подлинные чувства, вынося самые суровые — то есть, смертные — приговоры именно тем, кто был виновен в совершении таких зверств, которые и составляют состав «преступлений против человечности». В ходе Нюрнбергского процесса, как бы по молчаливому согласию, к высшей мере наказания стали приговаривать все большее и большее число обвиняемых, не признанных виновными в «преступлениях против мира» — иными

словами, агрессивная война перестала считаться «самым серьезным международным преступлением».

При обсуждении правомочности процесса Эйхмана часто подчеркивалось, что, хотя самые страшные преступления во время войны были совершены против евреев, на Нюрнбергском процессе еврейская тема не рассматривалась в должной мере, и судьи Иерусалимского процесса могли сказать, что теперь, впервые за эти годы, тема Катастрофы еврейского народа «заняла центральное место в судебном разбирательстве, и это обстоятельство отличает процесс Эйхмана от всех предыдущих», как Нюрнбергского, так и других процессов нацистских преступников. Сказанное, однако, является в лучшем случае полуправдой. Именно Катастрофа побудила союзников задуматься о необходимости введения категории «преступления против человечности», поскольку, как писал Джулиус Стоун, «виновные в массовых убийствах евреев могут быть осуждены, лишь если понятие «человечности» станет понятием юридическим» [J. Stone, *Legal Controls of International Conflicts*]. Насколько же судьи Нюрнбергского процесса были осведомлены относительно преступлений против евреев, свидетельствует тот факт, что единственным подсудимым, приговоренным к смертной казни по формальному обвинению в преступлениях против человечности, был Юлиус Штрейхер, главный редактор еженедельника «Штюрмер», редакционная политика которого основывалась на порнографическом антисемитизме.

Иерусалимский процесс отличался от названных процессов не тем, что в центре судебного разбирательства были судьбы еврейского народа. В этом смысле процесс был сходен с рядом других послевоенных процессов — в Польше и Венгрии, Югославии и Греции, СССР и Франции, то есть, во всех оккупированных нацистами странах. Международный военный трибунал в Нюрнберге судил тех военных преступников, чьи злодеяния не ограничивались одной конкретной страной. Лишь действия «главных военных преступников» не были привязаны к какой-либо конкретной территории, а Эйхман не относился к их числу. (Именно поэтому его не судили в Нюрнберге — а вовсе не потому, что он сумел вовремя исчезнуть; Мартин Борман, например, тоже сумел исчезнуть, но он был судим и приговорен к смертной казни — заочно.) Действительно, действия Эйхмана распространялись на всю оккупированную Европу — но не потому, что он был столь

уж важной фигурой, а в силу характера задач, поставленных нацистским руководством перед ним и его подчиненными. Его преступные действия по отношению к евреям имели «международный» характер исключительно потому, что евреи были разбросаны по всей территории Европы. После того, как евреи получили свою страну, Государство Израиль, они получили также и право судить тех, кто совершил преступления по отношению к ним, на своей территории — точно так же, как, например, поляки провели такие процессы в Польше. Все возражения относительно Иерусалимского процесса, основанные на принципе территориальной юрисдикции, не представляются достаточно обоснованными. Не было ни малейшего сомнения в том, что евреев убивали именно как евреев, вне зависимости от их гражданства. Даже если и были евреи, предпочитавшие быть убитыми не как евреи, а как французские или немецкие граждане, в таких случаях все равно следовало учитывать цели и намерения убийц.

Вовсе необоснованны, по моему мнению, и многократно звучавшие возражения относительно того, что еврейские судьи могут быть не беспристрастны, что они, являясь гражданами еврейского государства, защищают свои интересы. Трудно понять, как в этом смысле отличаются еврейские судьи от, скажем, своих польских коллег, судящих за преступления против поляков, или чешских судей, судящих за преступления, совершенные нацистами в Праге. (Гидеон Хаузнер в одной из своих статей в *Saturday Evening Post* невольно добавил масла в огонь, сказав, что обвинению с самого начала было ясно: Эйхмана не может защищать еврейский адвокат, поскольку возможен конфликт между «профессиональными обязанностями» и «национальными эмоциями». Однако, аналогичная аргументация высказывалась и по отношению к еврейским судьям, и сказанное Гидеоном Хаузнером в их пользу («Судьи ненавидят преступления, но справедливы по отношению к преступникам») точно также применимо и к адвокату, который защищает не убийство, а убийцу. В действительности сложилась такая ситуация, когда оказываемое вне зала суда давление привело к тому, что назначение израильского гражданина защитником Эйхмана стало, мягко выражаясь, нежелательным.) И, наконец, утверждения, что еврейского государства не существовало во время совершения преступлений, представляются настолько формалистическими, настолько не учитывающими реалии нашего времени,

что мы можем смело оставить их в качестве темы для ученых споров экспертов в этой области. Суд, дабы определить пределы своей компетенции, должен был, в интересах правосудия, взять за основу не принцип личности жертвы (жертвы были евреями — следовательно, лишь Израиль имеет право говорить от их имени), и не принцип универсальной юрисдикции, исходя из которого, к Эйхману на том основании, что он являлся *hostis generis humani* [враг рода человеческого — лат.], применимы те правила и нормы, которые были применимы к пиратству. Обе принципа, всесторонне рассмотренные как в ходе судебных заседаний, так и вне стен суда, строго говоря, лишь запутывали суть дела и препятствовали выявлению вполне очевидного сходства между Иерусалимским процессом и процессами, прошедшими ранее в других странах, где были приняты специальные законодательные меры, которые способствовали наказанию нацистских преступников и их пособников.

Принцип личности жертвы (изложенный в работе Р. N. Drost, *Crime of State*), предполагает, что, при определенных обстоятельствах, *forum patriae victimae* [представительное собрание соотечественников жертвы — лат.] имеет право на возбуждение дела в защиту жертвы. Этот принцип предусматривает, что судебное разбирательство инициируется правительственными структурами от имени жертв, имеющих право быть отмщенными. Таковой была позиция обвинителя, и Гидеон Хаузнер открыл судебное заседание следующими словами: «Когда я стою здесь, перед вами, судьи Израиля, в суде, где обвиняется Адольф Эйхман, я стою не один. Здесь, вместе со мною, стоят шесть миллионов обвинителей. Но, увы! ни один из них не может указать обвиняющим перстом на сидящего в застекленной кабине и воскликнуть: «J'accuse!» [«Я обвиняю!» — франц.; под таким заголовком было опубликовано открытое письмо Эмиля Золя в защиту Дрейфуса]. Их кровь вызывает к небесам, но их голоса не слышны, и потому на мою долю выпало стоять здесь и обвинять от их имени». Это риторическое заявление обвинителя послужило основой для критики процесса, и его противники стали утверждать, что суд был организован не в интересах справедливости, а для того, чтобы удовлетворить стремление жертв к отмщению. Судебные разбирательства, будучи по сути своей обязательными и безусловными, начинаются даже в тех случаях, когда сами жертвы предпочли бы «забыть и простить», что основано на следующем принципе (см.

Telfor Taylor в *New York Times Magazine*): «преступление совершается не только против жертвы, но, главным образом, против общества, чей закон нарушает преступник». Нарушитель закона предстает перед судом потому, что его деяния противоречат интересам общества и приносят ощущение небезопасности в жизнь всего общества, а не только отдельных его членов — в отличие от гражданских исков, когда ущерб причинен отдельным лицам, которые вправе рассчитывать на возмещение ущерба. Возмещение ущерба в случае уголовного дела имеет совершенно иную природу: ущерб наносится государству в целом и должен быть компенсирован соответствующим образом; нарушается общественный порядок, который должен быть восстановлен. Иными словами, должны восторжествовать интересы закона, а не только истца.

Еще менее оправданными, чем намерения обвинителя основать судебное разбирательство на принципе личности жертвы, представлялись намерения суда исходить из принципа универсальной юрисдикции, который безусловно противоречил как принципам судебного разбирательства, так и сути Закона от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников, на основании которого Эйхман был привлечен к судебной ответственности. Принцип универсальной юрисдикции, как уже отмечалось, применялся на основании того, что преступления против человечности могут быть уподоблены действиям пиратов старых времен, а те, кто совершают такого рода преступления, становятся, как и пираты согласно традиционной международной практике, *hostis generis humani*. Однако Эйхман обвинялся в основном в преступлениях против еврейского народа, а его арест-похищение (который должен был быть оправдан в рамках теории универсальной юрисдикции) был осуществлен не потому, что он совершил преступления также и против человечности, а исключительно исходя из его роли в деле осуществления «окончательного решения» еврейского вопроса.

Тем не менее, даже если бы Израиль похитил Эйхмана исключительно на основе того, что он был *hostis generis humani*, а не потому, что он был *hostis Judaeorum* [враг еврейского народа — лат.], все равно было бы непросто подтвердить юридическую обоснованность его ареста. В ситуации с пиратами территориальный принцип был неприменимым не потому, что пират был всеобщим врагом и, таким образом, любой мог чинить над ним

суд, но потому, что пиратство было преступлением, совершаемым в открытом море, а открытое море не относится ни к чьей юрисдикции. Более того, пират «попирает все законы и не подчиняется ничьему флагу» (см. H. Zeisel), то есть, он, по определению, только за себя; он — преступник вне закона, потому что сам, добровольно, поставил себя в такое положение; он находится вне всех сообществ и потому является «врагом всех в равной степени». Разумеется, вряд ли кто-либо станет утверждать, что Эйхман попирает все законы, не подчинялся ничьему флагу и находился вне всех сообществ. Собственно говоря, пиратская теория — это лишь попытка увильнуть от одной из самых фундаментальных проблем, связанных с преступлениями такого рода: в действительности же такие преступления могли совершаться, и совершались, лишь преступным *государством* и на основе преступного *законодательства*.

Аналогия между геноцидом и пиратством не нова, и поэтому немаловажно отметить, что Конвенция о геноциде, принятая Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г., напрямую отвергает принцип универсальной юрисдикции и подчеркивает, что «лица, обвиняемые в совершении геноцида... должны предстать перед компетентным трибуналом страны, на территории которой был совершен акт геноцида, или перед международным трибуналом, которому подсудны такие преступления». В соответствии с этой Конвенцией, которую, в числе прочих, подписал и Израиль, суд должен был либо предпринять действия по созданию международного трибунала, либо дать обновленную формулировку территориального принципа, приемлемую для Израиля. Оба варианта были вполне осуществимыми и находились в рамках компетенции суда. Первый вариант, связанный с созданием международного трибунала, был отвергнут судом, по причинам, которые будут рассмотрены ниже. Решено было остановиться на варианте обновленной формулировки территориального принципа, и суд в конечном итоге объявил о своей юрисдикции на основе всех трех принципов — территориального, личности жертвы и универсальной юрисдикции, как если бы простое объединение этих трех совершенно различных юридических принципов может обеспечить правовую базу; такой подход объяснялся упорным нежеланием всех сторон разработать новую систему юридических понятий и выйти за рамки прецедентного права.

Несомненно, Израиль мог бы без труда остановиться исключительно на территориальном принципе — для чего достаточно было бы заявить, что «территория», в юридической трактовке этого термина, — это понятие также политическое и юридическое, а не только географическое. Это понятие относится не только и не столько к некоторому участку земли, сколько к пространству, занимаемому индивидуумами, составляющими определенную группу людей, которые находятся между собой в различного рода отношениях, основанных на общности языка, религии, исторического прошлого, обычаев и законов. Такого рода отношения между членами группы обретают пространственную определенность, поскольку они формируют пространство, на котором члены группы вступают в названные отношения. Образование Государства Израиль было бы невозможно, если бы еврейский народ не создал бы и не поддерживал бы свое уникальное межчеловеческое пространство, причем на протяжении многих веков рассеяния, то есть вплоть до обретения своей исторической территории. Суд, однако, так и не рискнул бросить вызов прецедентному праву, даже принимая во внимание беспрецедентный характер создания еврейского государства, восторженно воспринимаемого судьями и сердцем, и разумом. Вместо этого судебное разбирательство было загромождено бесконечными прецедентами, особенно на протяжении первой недели процесса, которой соответствовали первые пятьдесят три параграфа решения суда, причем многие из них звучали — во всяком случае, на слух непрофессионала, — как изощренные софизмы.

Процесс Эйхмана был фактически последним в ряду многочисленных процессов, проведенных после Нюрнбергского трибунала в европейских странах, находившихся под нацистской оккупацией — не больше, но и не меньше. Обвинительное заключение содержало в приложении официальную интерпретацию Закона от 1950 г., данную Пинхасом Розеном, тогдашним министром юстиции Израиля, строго сформулированную и совершенно однозначную: «Тогда как другие народы приняли соответствующие законы о наказании нацистских преступников и их пособников вскоре после окончания войны или даже накануне ее окончания, еврейский народ, не имея политической властной структуры, был лишен такой возможности вплоть до образования своего государства». Таким образом, процесс Эйхмана отличался от аналогичных процессов в странах Европы лишь тем, что под-

судимый не был должным образом арестован и выдан Израилю; напротив, для того, чтобы посадить его на скамью подсудимых, понадобилось нарушить международное законодательство. Мы уже отмечали, что Израиль смог похитить Эйхмана лишь потому, что тот был фактически лицом без гражданства, и нетрудно понять, что при всем количестве прецедентов, на которые ссылался иерусалимский суд для оправдания факта похищения, единственный, реально имеющий отношение к данному делу, так и не был упомянут — речь идет о похищении агентами гестапо в 1935 г. немецкого журналиста левой ориентации, еврея Бертольда Якоба. (Ни один из упомянутых на процессе прецедентов не относился к делу, поскольку всякий раз речь шла о лицах, скрывавшихся от правосудия, которые были доставлены не только по месту совершения преступления, но и в суд, который издал — или имел юридическую возможность издать — соответствующий ордер на арест; в случае с Эйхманом ни одно из этих условий не было выполнено.) В данной ситуации Израиль действительно нарушил территориальный принцип, суть и глубокий смысл которого заключаются в том, что наша планета населена разными народами, живущими в рамках различных законодательств, и потому всякое расширение закона за пределы официально признанных границ немедленно приводит к конфликту с законом, существующим на другой территории.

В этом состояла, к сожалению, практически единственная не имеющая прецедента характерная черта процесса Эйхмана, и вряд ли желательно, чтобы она превратилась в прецедент. (Какова будет наша реакция, если завтра какое-нибудь африканское государство примет решение послать своих агентов в штат Миссисипи для того, чтобы похитить там одного из лидеров сегрегационистского движения? И что мы скажем, если суд Ганы или Конго сошлется на дело Эйхмана как на прецедент?) Оправдывающими обстоятельствами могли служить беспрецедентный характер преступлений Эйхмана и тот факт, что еврейское государство было создано лишь в 1948 г. Впрочем, существенно важным смягчающим обстоятельством могло стать то соображение, что альтернативы у израильтян фактически не имелось: Аргентина была известна тем, что практически не выдавала живущих там нацистских преступников, и обратиться Израиль к аргентинским властям с такой просьбой, отказ был бы неизбежным. Такой же результат был бы и в случае, если бы израильтяне передали

Эйхмана в руки аргентинской полиции для последующей выдачи властям ФРГ. Бонн до этого неоднократно, и всякий раз безуспешно, обращался к властям Аргентины с требованием о выдаче нацистских преступников, в том числе таких крупных, как Карл Клингенфус и д-р Йозеф Менгеле (известный садистскими медицинскими экспериментами, проводимыми им в Освенциме). Что касается случая Эйхмана, то, согласно законодательству Аргентины, все преступления, совершенные во время войны, имели пятнадцатилетний срок давности; таким образом, после 7 мая 1960 г. экстрадиция Эйхмана была уже невозможной. Иными словами, никакие законные действия не представляли альтернативы похищению.

Те же, кто был убежден, что всякий закон должен гарантировать торжество справедливости, склонялись к оправданию этого похищения, расценивая его как акт отчаяния, не имеющий прецедента и не устанавливающий прецедент, но вызванный несовершенством международного законодательства. Существовала одна только альтернатива похищению и переправке Эйхмана в Израиль: его убийство израильскими агентами в Буэнос-Айресе. Такой вариант редко упоминался в ходе дискуссий по делу Эйхмана и, что интересно, о нем говорили в первую очередь главные противники похищения. Однако те, кто намереваются взять закон в свои руки, зачастую забывают, что они могут добиться справедливости подобным образом только в том случае, если им удастся убедить общественное мнение признать, хотя бы и посмертно, свою правоту. В этой связи следует вспомнить Шалом Шварцбарда, который 25 мая 1926 г. застрелил в Париже Симона Петлюру, председателя Директории (правительства) Украинской народной республики (1919 г.), несущего ответственность за погромы, унесшие в 1917–1920 гг. жизни не менее ста тысяч евреев. После убийства Шварцбард сдался властям и использовал судебные заседания для того, чтобы рассказать о преступлениях против своего народа, которые так и оставались безнаказанными. Во время процесса Шварцбарда было продемонстрировано большое количество документальных свидетельств, подготовленных усилиями Комитета еврейских делегаций (созданного по инициативе Всемирной сионистской организации). Под редакцией тогдашнего председателя Комитета Лео Моцкина был выпущен сборник документов о погромах на Украине [Motzkin Leo, ed. *Les Pogromes en Ukraine...*], использованных на процессе обвиняемым

и его адвокатом Л. Торресом. Шварцбард был оправдан судом; как отмечалось, «его поступок означает, что народ решил, наконец, защищать себя».

Вряд ли, однако, Буэнос-Айрес 60-х годов можно сравнивать с Парижем 20-х годов — потому хотя бы, что мстителю не были бы предоставлены такие же широкие возможности для защиты и для демонстрации своей моральной правоты. И это не говоря уже о том, что совершенно иная реакция общественного мнения была бы в том случае, если бы убийство было совершено не одиночным мстителем, а агентом правительственных служб. Шварцбард умер в 1938 г., за 10 лет до образования Государства Израиль. Он не был сионистом, но, несомненно, приветствовал бы создание еврейского государства — поскольку благодаря этому евреи получили возможность судить своих врагов, которые ранее зачастую оставались безнаказанными.

Я настаиваю на том, что существует значительное сходство между судом над Шварцбардом в 1927 г. в Париже и процессом Эйхмана в 1961 г. в Иерусалиме. Это сходство объясняется тем, что еврейский народ на протяжении всей своей истории постоянно оказывался объектом преступных действий и перестал воспринимать их как беспрецедентные. Вот почему для Государства Израиль, равно как и для еврейского народа в целом, было столь непросто прийти к выводам о беспрецедентности преступной деятельности Эйхмана. Евреи, мыслящие исключительно в рамках своей истории, восприняли Катастрофу в годы правления Гитлера, когда погибла треть всего народа, не как доселе неведомое преступление, не как беспрецедентный геноцид, но, напротив, как преступление, уже известное им и запечатленное в народной памяти. Такая странность восприятия, почти неизбежная, стоит нам задуматься не только над фактами еврейской истории, но — что более важно — также и над спецификой современного еврейского самосознания, лежит в основе всех проблем и ошибок Иерусалимского процесса. Никто из его участников не смог ясно представить себе истинные ужасы Освенцима, которые по самой сути своей отличались от всех злодеяний прошлых времен, поскольку и обвинитель, и судьи воспринимали их лишь как самый ужасный из погромов во всей еврейской истории. Таким образом, они полагали, что можно провести прямую линию от нацистского антисемитизма на ранних стадиях существования Национал-

социалистической партии, через Нюрнбергские законы и далее, через высылку евреев из рейха, и далее, вплоть до газовых камер. Однако, как политически, так и юридически, это были преступления, отличающиеся не только по степени тяжести, но и по самой своей сути.

Нюрнбергские законы 1935 г. легализовали существовавшее ранее дискриминационное отношение немецкого большинства по отношению к еврейскому меньшинству. Согласно международному праву, суверенная немецкая нация имела право объявить национальным меньшинством любую группу населения, при условии, что права и гарантии, предоставляемые этому меньшинству, соответствуют договорам и соглашениям, признанным на международном уровне. Международные еврейские организации в срочном порядке предприняли действия, направленные на обеспечение этому меньшинству тех же прав и гарантий, которыми пользовались другие национальные меньшинства в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Однако, хотя такие гарантии не были даны, тем не менее, Нюрнбергские законы были признаны другими странами как составная часть законодательства Германии. Несоответствие Нюрнбергских законов международным нормам расценивалось как внутригерманское дело: речь шла о нарушении национальных конституционных прав и свобод, но не о нарушении практики взаимного признания прав и обычаев разными государствами. Однако, «принудительная эмиграция», или высылка, ставшая официальной государственной политикой после 1938 г., уже затрагивала международное сообщество, по той очевидной причине, что изгнанные евреи оказывались на пограничных пунктах других стран, причем эти страны ставились перед альтернативой: либо принимать незваных гостей, либо переправлять их далее, в другие страны, столь же нежелающие принимать их у себя. Иными словами, высылка граждан — это уже преступление против человечности, если под «человечностью» понимать не более чем совокупность общепризнанных прав и обычаев. При этом даже в наше просвещенное время не являлись беспрецедентными ни такое преступление, как узаконенная дискриминация по национальному признаку, ни такое международное преступление, как высылка из страны. Узаконенная дискриминация существовала во всех Балканских странах, а высылки в массовом порядке происходили после многих революций. И лишь когда нацистский режим заявил: немец-

кий народ желает, чтобы евреи не только исчезли из Германии, но и чтобы весь еврейский народ вообще исчез с лица земли — только тогда возникла новая категория преступлений — преступления против человечности, то есть, против «статуса человека», против самой природы человечества. И высылка, и геноцид, хотя оба являются международными преступлениями, тем не менее, различны по своей сути: высылка — это преступление, направленное против сограждан, тогда как геноцид — это агрессивные действия, угрожающие многообразию человеческого рода как такового, то есть, «статусу человека», вследствие чего самые слова «человечество» и «человечность» утрачивают смысл.

Если бы Иерусалимский окружной суд осознал, что существует различие между «дискриминацией», «высылкой» и «геноцидом», то немедленно стало бы ясно: самое страшное преступление, физическое уничтожение еврейского народа — это преступление против человечности, совершаемое по отношению к основной массе еврейского народа, и что лишь выбор жертв этого преступления, а отнюдь не его характер и суть, могут быть соотнесены с долгой историей юдофобства и антисемитизма. Когда речь идет о преступлениях, жертвами которых становятся евреи, то такие преступления должны рассматриваться еврейским судом; но когда речь идет о преступлениях против человечности, то возникает необходимость в формировании международного трибунала.

Неспособность суда провести такого рода различия является просто удивительной, поскольку такое различие уже было сделано бывшим министром юстиции Израиля Пинхасом Розеном, который в 1950 г. настаивал на существовании различия «между законом о преступлениях против еврейского народа» и «законом о предотвращении и наказании геноцида»; последний обсуждался в Кнессете, но так и не был принят. Очевидно, суд осознавал, что лишен возможности выходить за рамки национального законодательства, и потому геноцид судом не рассматривался, поскольку такое понятие не существует в израильском законодательстве. Немало авторитетных людей во всем мире высказывались в пользу международного трибунала, но четко и недвусмысленно свою позицию сформулировал только Карл Ясперс: «преступление против евреев — это также преступление против всего человечества» и что, соответственно, «приговор может вынести только суд, представляющий все

человечество». Ясперс предложил, чтобы суд в Иерусалиме, рассмотрев все свидетельства и показания, отказался от права вынесения приговора, объявив себя «неправомочным», поскольку юридическая природа данного конкретного преступления все еще подлежит рассмотрению, равно как подлежит рассмотрению и вопрос о том, какой орган компетентен выносить приговор относительно преступления, совершенного по распоряжению государственных структур. Далее Ясперс отметил, что он может сказать с уверенностью лишь одно: «Это преступление и больше, и меньше обыкновенного убийства», и что хотя оно также и не является «военным преступлением», но «человечеству, несомненно, наступит конец, если государствам будет дозволено совершать такие преступления».

Предложения Ясперса, которые никто в Израиле даже не позаботился рассмотреть, были — в той форме, как он их высказал — неосуществимыми с практической точки зрения. Вопрос о юрисдикции суда должен быть решен еще до начала процесса, и если суд признан правомочным, он должен также и вынести приговор. Однако эти чисто формалистические возражения легко разрешить, если бы Ясперс обратился не к суду, а непосредственно к Государству Израиль с предложением отказался от права вынесения приговора, ввиду беспрецедентного характера выводов суда. Израиль мог бы затем обратиться в ООН и продемонстрировать доказательства, свидетельствующие о необходимости формирования международного суда, поскольку речь идет о преступлениях, совершенных против всего человечества в целом. Затем Израиль был бы в праве снова и снова поднимать вопрос относительно того, что делать с человеком, который находится в израильской тюрьме. Постоянные повторения этих вопросов оказали бы воздействие на мировое общественное мнение, в результате чего был бы создан постоянный международный уголовный суд. Только создав такого рода «ситуацию, требующую принятия незамедлительных мер», ситуацию, которая не может не вызывать озабоченность других стран мира, Израиль добился бы того, что человечество «восприняло трагедию еврейского народа как предостережение о возможном ее повторении для других народов» — поскольку даже сама чудовищность масштабов трагедии умалывается, когда ее рассматривает трибунал, представляющий лишь одну страну мира.

Этот аргумент в пользу создания международного трибунала был, к сожалению, усложнен и запутан из-за появления других предложений, основанных на иных, значительно менее веских суждениях и доводах. Многие друзья Израиля, как евреи, так и неевреи, высказывали опасения, что процесс негативно скажется на престиже страны и вызовет негативную антиеврейскую реакцию, а это отразится и на положении евреев в других странах мира. Отмечалось, что евреи не могут выступать на таком процессе в качестве судей, но только в качестве обвинителей — и поэтому Израилю следует содержать Эйхмана в тюрьме до тех пор, пока ООН не создаст специальный трибунал для суда над ним. Здесь следует отметить, что Израиль, организовав суд над Эйхманом, намеревался сделать не более того, что уже давно было сделано в других странах Европы, оккупированных нацистами во время войны, и что речь шла не о поддержании престижа Израиля или еврейского народа, но в первую очередь о торжестве правосудия. К тому же все эти предложения были нереалистичны, и Израиль мог с легкостью указать: Генеральная Ассамблея ООН уже «дважды отказывалась даже рассмотреть идею относительно создания постоянного международного уголовного суда». Впрочем, была еще одна, вполне практичная, идея, о которой мало говорили именно в силу ее *реальной осуществимости*: д-р Нахум Гольдман, президент Всемирного еврейского конгресса, предложил Бен-Гуриону учредить международный суд в Иерусалиме, пригласив по одному судье от каждой из европейских стран, оккупированных нацистами во время войны. Возможно, этого было недостаточно, потому что это был бы еще один «суд победителей», но, во всяком случае, это стало бы практическим шагом в нужном направлении.

Израиль, как мы помним, с резкостью выступал против всех этих предложений. Действительно, будучи спрошенным «Почему Эйхмана не судит международный суд?» Бен-Гурион всякий раз отвечал, что он не понимает сути вопроса. Но ведь и те, кто задавал подобные вопросы, были не в состоянии понять, что для Израиля это была первая возможность (с 70 г. н. э., когда римляне разрушили Иерусалим) судить своих врагов, впервые им не приходилось обращаться к другим за помощью и защитой, либо полагаться на сомнительное действие фразеологии о правах человека — притом, что они знали лучше многих: к такой фразеологии прибегают в том случае, когда нет возможности реально за-

щитить свои права. Сам факт наличия у Израиля своего закона о наказании нацистских преступников и их пособников, принятого еще в 1950 г., задолго до процесса Эйхмана, свидетельствовал о «революционных преобразованиях в политическом сознании еврейского народа», как сказал Пинхас Розен во время рассмотрения этого Закона в Кнессете в первом чтении. Именно в таком историческом контексте следует рассматривать фразу Бен-Гуриона: «Израиль не нуждается в защите международного суда».

Более того, аргументация относительно того, что преступления против еврейского народа были, прежде всего, преступлениями против всего человечества, на основании которой высказывались предложения о создании международного трибунала, не укладывалась в рамки израильского закона, на основании которого судили Эйхмана. Таким образом, те, кто предлагал Израилю отдать Эйхмана в распоряжение международного суда, должны были бы сделать и следующий логический шаг, заявив: Закон от 1950 г. о наказании нацистских преступников и их пособников — это неправильный закон, он не соответствует тому, что произошло в действительности, и не охватывает всей совокупности событий. И это рассуждение было бы справедливым. Поскольку, точно также как убийцу наказывают за то, что он нарушил закон общества, в котором он живет, а не за то, что он отнял у семьи Смитов мужа, отца и кормильца, аналогичным образом и массовые убийцы, состоящие на службе у государства, должны быть судимы за то, что они преступили человеческие нормы, а не потому, что убили миллионы человек. Ничто в такой мере не препятствует осознанию сути этой новой категории преступлений и созданию относящегося к ним нового международного уголовного кодекса, как широко распространенная иллюзия, что убийство и геноцид — по сути одно и то же, и геноцид не есть новый вид преступления. Суть преступления, называемого геноцидом, в отличие от убийства, заключается в том, что оно попирает совершенно иные нормы и осуществляет насилие по отношению к совершенно иному человеческому сообществу. И в самом деле, поскольку Бен-Гурион превосходно знал, что вся дискуссия ведется относительно обоснованности израильского закона, то и его реакция была язвительной до резкости. Он заявлял, что, о чем бы ни говорили «так называемые эксперты», их «аргументация сводилась к софизмам», инспирированным либо

антисемитизмом, либо (если это были евреи) комплексом неполноценности. «Но пусть весь мир знает: мы не отдадим нашего пленника».

Справедливости ради следует заметить, что общая тональность, в которой проходил Иерусалимский процесс, отличалась от тона высказываний премьер-министра. Но, по всей видимости, я не ошибусь, предположив, что у этого процесса, в еще меньшей степени, чем у всех предшествовавших ему процессов в странах Европы, есть шансы стать прецедентным для судебных разбирательств будущего. Собственно говоря, процесс выполнил стоявшие перед ним цели: Эйхман был обвинен, получил возможность защиты, был судим и наказан. Однако, трудно отказаться от мысли, что невозможно отрицать вероятность повторения таких преступлений в будущем (хотя и очень не хотелось бы так думать). Причины такого рода мрачных предположений имеют как общий, так и конкретный характер. Всякое действие, хотя бы однажды совершенное и зафиксированное в истории человечества, в дальнейшем уже является потенциально возможным, как бы далеко оно не ушло в прошлое — и это заложено в самой природе человеческих существ. Не существует таких наказаний, которые могли бы, при всей своей суровости, оказывать сдерживающий эффект и препятствовать совершению преступления. Напротив, вне зависимости от степени серьезности наказания, после того, как некое преступление уже было совершено хотя бы раз, его повторение является более вероятным, чем было его первое совершение. Что же касается конкретных причин, по которым возможно повторение совершенных нацистами преступлений, то они еще более очевидны. Наводящее страх совпадение во времени таких факторов, как неконтролируемый рост численности населения и изобретение технических средств, способных, благодаря успехам автоматизации, сделать значительные группы населения «излишними» даже в качестве трудовых ресурсов, плюс создание, благодаря успехам ядерной физики, таких средств уничтожения, по сравнению с которыми газовые камеры Гитлера выглядят всего лишь игрушками для злых детей — всего этого достаточно, чтобы человечество содрогнулось от ужаса.

Вот именно потому, что все прежде беспрецедентное, единожды случившись, становится прецедентом для завтрашнего дня, необходимо, чтобы все судебные процессы, в ходе которых рассматриваются «преступления против человечности», обяза-

тельно проводились на основе стандартов, определяемых сегодня лишь как «идеальные». Если расценивать геноцид как реальную опасность завтрашнего дня, то ни один народ на свете — и особенно еврейский народ, в Израиле или в диаспоре — не может ощущать уверенность в том, что, при отсутствии соответствующего законодательства, его будущее гарантировано. Успех или неудача в борьбе с доселе беспрецедентными угрозами зависит того, насколько успешно разрабатывается международное уголовное законодательство. И здесь весьма велика роль судей, ведущих подобные процессы, поскольку, как отмечал судья Джексон в Нюрнберге, международное законодательство «вырастает из договоров и соглашений, заключаемых между нациями, а также из общепринятых обычаев. Но в основе каждого обычая должно быть конкретное юридическое действие. Сегодня мы вправе учреждать нормы и подписывать договоры, которые со временем станут основой нового и более действенного международного законодательства». Судья Джексон, однако, не указал, что, поскольку создание такого международного законодательства еще не завершено, судьи вынуждены пока обходиться без него, основываясь на существующих основополагающих законах. Это может поставить судью в затруднительное положение, и он может заявить, что разработка норм и законов — это дело не судьи, а законодателя.

И в самом деле, прежде чем мы сможем сделать выводы относительно успешного или неуспешного проведения Иерусалимского процесса, мы должны подчеркнуть твердость убеждения судей в том, что они не вправе выполнять функции законодателей, что они должны вести процесс в рамках существующего израильского законодательства, с одной стороны, и принятых судебных решений, с другой. Следовательно, мы должны признать, что их ошибки, как по сути, так и по значимости, были не более значительными, чем ошибки судей Нюрнбергского процесса или других процессов, проходивших в странах Европы. Более того, ошибки Иерусалимского процесса отчасти объяснялись тем обстоятельством, что судьи старались следовать в максимальной степени прецедентам, установленным на Нюрнбергском процессе.

Подводя итоги, можно сказать, что ошибки Иерусалимского процесса сводились к тому, что судьи не решили три основные проблемы, известные со времени Нюрнбергского процесса: про-

блема беспристрастного судейства в «суде победителей», обоснованное определение категории «преступления против человечности» и осознание появления нового типа преступников, которые совершают преступления, относимые к этой категории.

Что касается первой из ошибок, то правосудию в Иерусалиме был нанесен серьезный, по сравнению с Нюрнбергом, ущерб, поскольку суд не обеспечил появление свидетелей защиты. Если рассуждать в категориях требований, традиционно предъявляемых к справедливому и должным образом организованному процессу судопроизводства, то именно в этом заключалась самая серьезная ошибка Иерусалимского процесса. Более того, хотя ситуация «суда победителей», по всей видимости, неизбежна при подведении итогов войны (как сказал судья Джексон, «Либо победители будут судить побежденных, либо нам придется предоставить побежденным судить самих себя»), но ведь нельзя не принять во внимание, что процесс Эйхмана проходил в других обстоятельствах, через 16 лет после окончания войны.

Что касается второй ошибки, то сначала скажем, что формулировки Иерусалимского процесса были значительно лучше тех, что были даны в Нюрнберге. Я уже говорила о том, что термины «преступления против человечности» и «бесчеловечные действия» были переведены на немецкий как *Verbrechen gegen die Menschlichkeit*, что можно понимать как «антигуманные преступления» — будто бы нацистам просто не хватало гуманизма, любви к людям. Еще раз подчеркну, что если бы ход Иерусалимского процесса определялся только действиями обвинителя, то ситуация была бы значительно хуже, чем в Нюрнберге. Однако судьи не допустили, чтобы внимание было отвлечено от основного преступления рассказами об отдельных жестокостях, и суд избежал опасности уравнивать основное преступление с обычными военными преступлениями. То, о чем в Нюрнберге говорилось лишь по ходу дела («Свидетельства демонстрируют, что массовые убийства и жестокости совершались не ради подавления сил противника, но являлись частью плана по уничтожению всего местного населения»), в Иерусалиме было в центре процесса, и это объяснялось той очевидной причиной, что в центре процесса был Эйхман, обвиняемый в преступлениях против еврейского народа, в преступлениях, которые не могли быть объяснены какими бы то ни было причинами военного характера. Евреев убивали по

всей Европе, не только на восточных территориях, и их уничтожение не было связано с планами «захвата территорий для последующей колонизации немцами». Процесс, на котором основное внимание уделялось преступлениям против еврейского народа, позволял проводить не только различия между военными преступлениями, такими, как расстрелы партизан или казни заложников, и «бесчеловечными действиями», таким как «высылка и уничтожение» коренного населения с целью освобождения территории для последующей колонизации захватчиками (определения последних могли быть использованы при создании международного уголовного кодекса), но также и различия между «бесчеловечными действиями» и «преступлениями против человечности», то есть, преступными деяниями, не имевшими прецедента. Однако ни разу на Иерусалимском процессе, ни в ходе судебного разбирательства, ни в решении суда, не было упомянуто о том, что уничтожение целых этнических групп — евреев, или поляков, или цыган — было чем-то большим, чем просто преступлениями против еврейского, или польского, или цыганского народа, что следствием этих деяний могло стать нанесение непоправимого ущерба человечеству в целом.

Непосредственно связанной с этой ошибкой была и очевидная беспомощность судей в их попытках осознать, что они имеют дело с преступником нового типа. Несомненно, при этом недостаточно было не пойти на поводу у обвинителя, который определял подсудимого как «извращенного садиста»; недостаточно было сделать еще один шаг и продемонстрировать несостоятельность положений обвинителя, который называл подсудимого «самым страшным чудовищем, которого когда-либо видел мир» и тут же говорил о «многих ему подобных» и даже о «нацистском движении в целом». Судьи, разумеется, знали: очень удобно было принять на веру утверждение, что Эйхман — это чудовище, хотя если бы это и в самом деле было столь просто, то дело Эйхмана просто-напросто рассыпалось, или общественный интерес к нему был бы утрачен. Вряд ли возможно было привлечь внимание всего мира и созвать журналистов всех ведущих мировых изданий для того только, чтобы продемонстрировать чудовище, сидящее на скамье подсудимых. Беда заключалась в том, что таких, как Эйхман, было немало, что в большинстве своем они не были ни садистами, ни извращенцами — напротив, они были до ужаса, до омерзения нормальными. С точки зрения на-

ших юридических норм и моральных основ нашего общества такая «нормальность» была еще более ужасающей, чем все жестокости и зверства войны, поскольку это означало (и было неоднократно продемонстрировано на Нюрнбергском процессе как подсудимыми, так и их защитниками), что появился новый тип преступника, относимый к категории *hostis generis humani*, который совершает свои преступления, фактически не осознавая их преступной сути. В этом смысле свидетельства, полученные на процессе Эйхмана, представляются еще более убедительными по сравнению со свидетельствами, полученными на процессе главных военных преступников. Их заявления о чистосердечности можно было отбрасывать с тем большей легкостью, что они нередко сами себе противоречили: аргументируя свои действия необходимостью подчиняться «приказам высшего руководства», они порой не без гордости заявляли, что иногда отказывались выполнять приказы. Но хотя бесчестность этих людей не вызывала никаких сомнений, единственным основанием доказательства их нечистой совести был тот факт, что нацисты, и особенно члены тех преступных организаций, к которым принадлежал и Эйхман, в последние месяцы войны самым тщательным образом уничтожали все документы, связанные с их деятельностью. Разумеется, обоснованность таких доказательств трудно назвать безусловной. На языке нацистов происходящее означало, что они проиграли битву за «освобождение человечества» от правления «недочеловеков» и от главенства «сионских мудрецов»; на обычном языке это означало всего лишь признание ими своего поражения. А что подсказала бы им их нечистая совесть в случае победы?

В числе основных проблем юридического характера, которые подвергались серьезному испытанию на процессе Эйхмана, было предположение, лежащее в основе всех современных юридических систем и гласящее, что для совершения преступного деяния необходимо преступное намерение. Юриспруденция цивилизованных стран гордится тем обстоятельством, что при рассмотрении любых правонарушений принимается во внимание субъективный фактор. Если преступное намерение отсутствует, если, по каким бы то ни было причинам, в том числе и причинам моральной неменяемости, правонарушитель не в состоянии проводить различие между добром и злом, то принято считать, что преступление не имело места. Отвергаются и определяются

как варварские, утверждения, что «чудовищные преступления вызывают отвращение самой природы, и она взывает об отмщении», что «зло нарушает природную гармонию, и лишь возмездие в состоянии ее восстановить», что «наша моральная обязанность — покарать преступника» [Yosal Rogat]. И, тем не менее, я полагаю, что на основании этих, казалось бы, давно забытых, утверждений, Эйхман предстал перед судом, и что именно они стали обоснованием его смертного приговора. Он не просто принимал участие в замыслах, связанных с уничтожением целых народов, которые должны были исчезнуть с лица земли, но играл во всем этом центральную роль — и уже потому сам заслужил смерть. И если правду говорят, что «правосудие должно не просто свершиться, но к тому же свершиться видимым образом», то, дабы правосудие Иерусалимского процесса стало очевидным всем и каждому, судьям следовало бы обратиться к подсудимому с такими примерно словами:

«Вы признали, что преступления, совершенные против евреев в годы войны, были самыми страшными преступлениями из всех, известными нам на протяжении истории человечества, и вы также признали свою роль в этих преступлениях. Но вместе с тем вы утверждали, что никогда не действовали исходя из низменных соображений, что у вас никогда не бывало намерений убить кого-либо, что вы никогда не испытывали ненависти к евреям — однако вы не могли действовать иначе, и потому чувства вины у вас нет. Нельзя сказать, что вашим утверждениям вовсе невозможно поверить, хотя сделать это и нелегко. Имеются определенные доказанные факты (пусть их и не много), опровергающие подобную мотивацию вашего поведения, прибегая к которой, вы пытаетесь заглушить голос вашей совести.

Вы также утверждали, что ваше участие в осуществлении «окончательного решения» было достаточно случайным и что практически кто угодно мог оказаться на вашем месте; таким образом, в принципе все граждане Германии несут равную долю вины. Иными словами, вы хотите сказать, что когда виноваты все, или практически все, это значит, что не виноват никто. Это и в самом деле широко распространенное суждение, но мы не намерены признавать его справедливостью. А если вы не понимаете смысла наших возражений, то хотелось бы напомнить вам историю о Содоме и Гоморре, двух библейских городах, уничтожен-

ных небесным огнем, потому что все их жители были одинаково виновны. (Это, кстати, не имеет ничего общего с новомодной концепцией «коллективной вины», согласно которой люди ощущают себя виноватыми за то, что делалось не ими, но от их имени, за дела, в которых они не участвовали и никакой выгоды от этого не получали.) Виновность и невиновность перед законом — понятия объективные, и пусть даже если все 80 миллионов немцев делали то же самое, что делали вы, для вас это не может служить оправданием.

К счастью, нам не надо заходить столь далеко. Вы сами определили эту вину не как реальную, а как потенциальную, в равной доле лежащую на всех, кто жил в государстве, главной целью которого было совершение неслыханных доселе преступлений. И не важно, каким образом вы вступили, или вынуждены были вступить, на дорогу, приведшую вас к преступлению — пропасть отделяет ваши реальные деяния от тех потенциальных, которые могли совершить другие ваши сограждане. Нас сейчас интересует только то, что вы сделали в действительности; нас не интересуют ни ваши некриминальные склонности, ни ваша система мотиваций, ни криминальные склонности кого-либо из вашего окружения. Вы рассказали о своей жизни, полной трудностей и неудач, и мы допускаем, что при более благоприятных обстоятельствах вы с большой долей вероятности могли бы и не оказаться в этом зале суда, или в ином другом суде. Допустим, что вам просто-напросто не повезло, и вы оказались, причем без особого принуждения, сотрудником организации, осуществляющей массовые убийства. Но факт остается фактом: вы реализовывали политику массовых убийств и, таким образом, активно поддерживали эту политику. Политика же — это не детский сад, в политике повинение и оказание поддержки означают одно и то же. А поскольку вы поддерживали и претворяли политику, основанную на нежелании делить планету Земля с евреями, равно как и с людьми других наций — как будто вы и ваши руководители имели хоть какое-то право решать, кто будет, а кто не будет ее населять, — мы пришли к выводу, что нельзя ожидать, что хотя бы один-единственный представитель человеческой расы захочет делить планету Земля с вами. Это и есть причина, и единственная причина, по которой вы заслуживаете виселицы».

ПОСТСКРИПТУМ

Эта книга — история процесса Эйхмана, и ее основным источником является расшифровка стенограммы процесса, которую получали все представители прессы. За исключением вступительной речи обвинителя и основной речи защитника, этот документ никогда не публиковался, и найти его не так легко. Судебное заседание велось на иврите; раздаваемые прессе материалы именовались «неотредактированная и неправленая расшифровка синхронного перевода», и отмечалось, что эти материалы не следует рассматривать как «стилистически совершенные или не содержащие лингвистических ошибок». Я обычно пользовалась английской версией, кроме тех случаев, когда заседание велось на немецком.

За исключением текстов вступительной речи обвинителя и окончательного приговора, перевод которых был подготовлен заранее, все остальные материалы не следует рассматривать как абсолютно надежные и точные. Правленный текст стенограммы существовал только на иврите, но им я не пользовалась. Впрочем, все материалы давались прессе официальным образом, и, насколько мне известно, никаких серьезных расхождений между официальной ивритской версией и переводами замечено не было. Немецкий перевод был весьма посредственным, но что касается английского и французского, они были вполне достоверными.

Не существует сомнений относительно надежности следующих материалов, которые использовались в зале суда и распространялись администрацией процесса среди членов пресскорпуса:

1. Расшифровка (на немецком языке) показаний Эйхмана, данных им следователям в ходе допросов; магнитофонная запись показаний была расшифрована, перепечатана на машинке, и затем Эйхман собственноручно правил ее. Наряду с расшифровкой стенограммы процесса, это основной по степени важности документ.

2. Документы, представленные обвинением, и прочие юридические материалы из того же источника.

3. Шестнадцать письменных показаний, данных под присягой; это показания свидетелей защиты, хотя некоторые из них были также использованы обвинением. Имена свидетелей: Эрих фон дем Бах-Зелевски, Рихард Бэр, Курт Бехер, Хорст Грелл, д-р Вильгельм Хёттл, Вальтер Хуппенкотен, Ганс Йютнер, Герберт Каплиер, Германн Круми, Франц Новак, Альфред Йозеф Славик, д-р Макс Мертен, проф. Альфред Зикс, д-р Эберхард фон Тадден, д-р Эдмунд Веесенмайер, Отто Винкельман.

4. И, наконец, в моем распоряжении имелась рукопись Эйхмана, на 70 машинописных страницах, которая была представлена обвинителем в качестве письменного доказательства и принята в таком качестве судом; пресса возможности ознакомиться с рукописью не получила. Рукопись имеет заголовок: «Мои комментарии относительно «еврейского вопроса» и мер, принимавшихся национал-социалистическим правительством Третьего рейха для решения этого вопроса в период 1933–1945 гг.» Рукопись содержит заметки, сделанные Эйхманом в Аргентине при подготовке к интервью с Сассеном.

Библиография включает только те материалы, которые я непосредственно использовала в книге; в список не включены те бесчисленные книги, журнальные и газетные статьи, которые я читала на протяжении двухлетнего периода между похищением Эйхмана и его казнью.

Еще до публикации книга оказалась в эпицентре полемики и подверглась многочисленным нападкам в рамках организованной кампании. Вполне естественно, что кампания, которая велась с использованием всех известных средств и способов манипулирования общественным мнением, привлекла больше внимания, чем полемика. Из Америки кампания распространилась в Англию и далее на Континент, хотя к тому времени книга в Европе еще не появилась. Фразеология материалов кампании была настолько идентичной, что создавалось впечатление, будто все тексты напечатаны под копирку; при этом авторы материалов затрагивали такие аспекты, которые не просто не были упомянуты в книге, но даже и не приходили мне в голову.

Что касается полемики, то она в целом, несомненно, заслуживала внимания. Манипуляция общественным мнением ради

некоторых конкретных и хорошо известных интересов имела в ходе полемики ограниченный характер. Однако результаты этой полемики, если они имели отношение к вопросам, представляющим реальный интерес, выходили за ее рамки и могли привести к последствиям, которые участники полемики не только не были в состоянии предвидеть, но которые, возможно, и не входили в их намерения. Стало очевидно, что эра гитлеровского режима, с ее беспрецедентными по масштабам преступлениями, по-прежнему остается «непреодоленным прошлым» — не только для немцев или евреев, но и для других народов: трудно забыть страшную Катастрофу в самом центре Европы и невозможно примириться со всем происшедшим. Однако, еще менее ожидаемым результатом полемики стало то, что на передний план вышли сложнейшие этические вопросы, причем я даже не ожидала, что они в состоянии мучить современных людей.

Полемика по этическим вопросам началась с того, что особое внимание оказалось привлеченным к поведению евреев в годы «окончательного решения», и это перекликалось с вопросом, впервые поднятым Гидеоном Хаузнером, обвинителем на процессе Эйхмана: могли ли евреи защищать себя? Я лично считаю, что этот вопрос, неумный и жестокий, свидетельствует о полнейшем незнании обстоятельств того времени. Эта проблематика в настоящее время обсуждается всесторонне, и полученные в результате выводы оказались весьма неожиданными. Выяснилось, что широко распространенная историко-социологическая концепция, известная как «ментальность гетто» (включенная в израильские учебники истории, а в США поддерживаемая, в первую очередь, психологом Бруно Беттельхаймом и подвергающаяся резкой критике лидеров американского иудаизма), концепция, к которой постоянно возвращаются для объяснения поведения евреев в годы Катастрофы, не может быть относимой исключительно к этому народу и ее нельзя объяснить исключительно так называемыми «специфичными еврейскими факторами». Рассуждения относительно «еврейского фактора» множились без конца, пока кому-то из участников полемики весь этот ход рассуждений не показался чересчур однообразным, и не было предложено обратиться к наследию Фрейда и приписать всему еврейскому народу «стремление к смерти» — разумеется, бессознательное. В этой связи меня стали обвинять в том, что я якобы утверждала в своей книге, будто евреи сами виноваты в своей гибели. А почему

же я высказала столь чудовищно невероятную ложь? Разумеется, из чувства «ненависти к себе».

На процессе и в моей книге много внимания уделялось рассмотрению роли еврейских лидеров и функционеров. Это, на мой взгляд, весьма серьезный вопрос, но в ходе полемики не удалось приблизиться к его прояснению. Так, можно обратиться к недавнему судебному процессу, проходившему в Израиле, на котором некий Гирш Бинблат, бывший шеф еврейской полиции в польском городке, а в настоящее время дирижер Израильской оперы, был сначала приговорен окружным судом к пяти годам тюремного заключения, а затем оправдан Верховным судом Израиля, причем оправдан единогласным решением всех судей. Такое решение суда косвенным образом оправдывало и *юденраты* в целом, и это привело к расколу в израильском истеблишменте.

Наиболее активные участники полемики либо отождествляли еврейский народ с еврейскими функционерами (что было неоднократно опровергнуто в показаниях многих свидетелей на процессе — достаточно процитировать бывшую узницу Терезиенштадта: «Евреи в массе своей вели себя превосходно. Зато наши лидеры опозорились»), либо оправдывали функционеров, ссылаясь на их достойные похвалы действия, особенно в период до «окончательного решения» — как будто никто не видел разницы между оказанием содействия евреям в ходе эмиграции и оказанием содействия нацистам в ходе депортации.

Вышерассмотренные вопросы действительно нашли отражение в книге, хотя и не в той степени, как на это указывали мои оппоненты. Но в ходе полемики поднималось немало вопросов, вовсе не связанных с текстом книги. Так, меня упрекали в недостаточном внимании к истории немецкого сопротивления в начальный период гитлеровского режима, хотя я к этой теме вообще не обращалась, поскольку вопросы, связанные с совестью Эйхмана, относились к временам после начала войны и к периоду «окончательного решения». Однако в рамках полемики высказывались и вовсе странные, с моей точки зрения, соображения. В частности, подвергалось сомнению право тех, кто не был в те годы в гуще событий, высказывать свои суждения о происходившем. Многие участники полемики отказывали подсудимому в праве находиться «в центре процесса»; в этой связи меня подвергали критике за то, что я уделила столько внимания личности

Эйхмана, причем некоторые заходили столь далеко, что осуждали суд за то, что Эйхману вообще было предоставлено право слова.

Как нередко случается в пылу эмоциональных дискуссий, отдельные группы в ходе полемики были склонны выпячивать свои конкретные, тривиальные интересы и излишне сосредотачивать свое внимание на относящихся к ним фактам, что приводило к искажению масштаба и значимости этих фактов. А это, в свою очередь, побуждало «интеллектуалов», которых вообще мало интересуют реальность, использовать эти факты для формулирования неких «концепций».

Однако, даже в самых крайних проявлениях полемического задора, участники полемики, тем не менее, продемонстрировали свою заинтересованность в рассматриваемой тематике — включая даже тех, кто демонстративно заявлял, что книгу не только не читал, но не собирается читать.

Что же касается книги как таковой, то о ней, к сожалению, было сказано не очень много. Если книга посвящена судебному процессу, то ее темой может быть лишь содержание этого судебного процесса, то есть те вопросы, которые рассматриваются на этом процессе (или должны рассматриваться в интересах правосудия). Следует также остановиться и на общей ситуации в стране, где заседает суд, если эта ситуация оказывает воздействие на ход процесса. Иными словами, эта книга не претендует на описание истории величайшей Катастрофы, выпавшей на долю еврейского народа, она не посвящена ни истории тоталитаризма, ни истории немецкого народа в годы Третьего рейха. Эта книга — что хотелось бы подчеркнуть особо — также не является теоретическим трактатом о природе зла. История всякого судебного процесса сосредотачивается на личности подсудимого, человека из плоти и крови, имеющего свою неповторимую биографию. А все, что выходит за названные рамки — в том числе история еврейского народа в диаспоре, история антисемитизма, история немецкого народа или других народов, идеологические течения того времени, структура правительственных органов Третьего рейха — интересуют автора лишь постольку, поскольку они являются фоном повествования и определяют поведение подсудимого. Все, что не касается непосредственно подсудимого, не должно включаться в материалы суда и, соответственно, в рассказ о судебном процессе.

Можно рассуждать о том, что вопросы общего характера, неизбежно возникающие, лишь только мы приступаем к рассмотрению дела Эйхмана («Почему это сделали немцы?», «Почему это было сделано по отношению к евреям?», «Какова природа тоталитарных режимов?») являются более значимыми, нежели вопросы относительно сущности преступных деяний подсудимого или деталей его биографии. Эти вопросы также более значимы, нежели вопросы о возможностях существующей системы правосудия иметь дело с преступниками типа Эйхмана и с совершенными ими преступлениями. Можно утверждать, что речь не идет о некоем индивидууме, сидящем на скамье подсудимых, но обо всем немецком народе, об антисемитизме во всех его формах, о новейшей истории как таковой, о природе человека и о первородном грехе — и что, таким образом, на скамье подсудимых рядом с обвиняемым незримо сидит все человечество. Такие утверждения не столь уж редки, особенно из уст тех, кто заявляет, что не успокоится, «пока не обнаружит Эйхмана внутри каждого из нас». Но если подсудимый рассматривается как символ, а суд как повод для того, чтобы поднять вопросы, более важные, чем виновность или невиновность одного человека, тогда справедливости ради следует признать правоту Эйхмана и его защитника, утверждавших, что Эйхман привлечен к ответу потому лишь, что понадобился козел отпущения — за все содеянное и за все, способствовавшее содеянному, включая антисемитизм, тоталитарную форму правления, род человеческий и первородный грех.

Стоит ли говорить, что я вряд ли согласилась бы поехать в Иерусалим, разделяя я подобные мысли. Я утверждала и продолжаю утверждать, что суд должен служить интересам правосудия и ничему более. Я также считаю, что судьи были совершенно правы, подчеркнув в тексте приговора: «Государство Израиль было создано и признано миром как еврейское государство» и потому имеет право судить за преступления, совершенные против еврейского народа. Что касается ведущейся правоведами дискуссии о значимости и целесообразности наказания, то я была рада увидеть в тексте приговора ссылку на Гроция, голландского юриста XVII в., одного из основоположников современной науки международного права, который (в свою очередь, ссылаясь на более раннего автора) подчеркивает: наказание необходимо для того, чтобы «защитить честь и права того, кто пострадал от дей-

ствий преступника, дабы безнаказанность не способствовала его унижению».

Нет, разумеется, никаких сомнений в том, что личность подсудимого и характер его деяний, равно как и сам процесс, поднимают проблемы значительно более глобального характера, чем вопросы, рассматривавшиеся в Иерусалиме. Я попыталась затронуть некоторые из этих проблем в Эпilogue (содержание которого выходит за границы судебного отчета). Не удивлюсь, если найдутся люди, которые сочтут мой подход неадекватным, и я с удовольствием приглашаю их к дискуссии, но только на основе конкретных фактов, которые тем более значимы, чем более непосредственно они отражают реальные события. Я могу также представить себе, какую полемику может вызвать подзаголовок книги; однако, говоря об «обыденности злодеяний», я имею в виду лишь фактическую сторону дела. Эйхман — это не Яго и не Макбет, и вряд ли он намеревался, подобно Ричарду III, «явить свое злодейство». Вся его система мотиваций сводилась, в сущности, к обеспечению своего карьерного роста. И это усердие не было ни в коей мере криминальным по сути: вряд ли он был способен на убийство своего начальника, с целью захвата его поста. Эйхман *просто-напросто*, если говорить простым языком, *никогда не отдавал себе отчет в своих действиях*. Именно полным отсутствием воображения можно объяснить его поведение на следствии, когда он в течение нескольких месяцев беседовал со своим следователем, немецким евреем, изливая ему душу и сетуя, вновь и вновь, что смог дослужиться лишь до чина подполковника (то есть, оберштурмбанфюрера СС) и не его вина в том, что его так и повысили в звании. Разумеется, он представлял себе общую ситуацию, и в своем последнем слове он сказал о произведенной им «переоценке ценностей, предписывавшихся [нацистским] правительством». Он отнюдь не был глуп. Он стал одним из самых страшных преступников своего времени именно благодаря своей бездумности, — что не имеет ничего общего с глупостью. Но каким же должен быть человек, который, перед лицом своей смерти, уже стоя под виселицей, в состоянии лишь припомнить банальные слова, многократно слышанные им на похоронах других людей, и эти «возвышенные слова» полностью затмевают для него реальность своей собственной смерти. Такая оторванность от реальности, такая бездумность способны принести в мир больше зла, чем все злые инстинкты, дремлющие в любом человеке — и в

этом, собственно говоря, заключался главный урок, который мы усвоили в Иерусалиме. Но это был именно урок – не объяснение явления и не трактующая его теория.

Вопрос относительно того, с каким видом преступления мы сталкиваемся в данном случае, является с виду более сложным, хотя в действительности он значительно более прост, чем анализ странной взаимосвязи между бездумностью и злодеяниями. При этом все сходится в одном: преступление это является беспрецедентным. Сам термин, используемый для обозначения этого беспрецедентного вида преступлений – «геноцид» – приемлем, но только отчасти, – по той очевидной причине, что убийства целых народов нельзя считать беспрецедентными. Это бывало в древние времена, да к тому же многовековая история колониализма и империализма полна примеров такого рода. Более точным мне представляется выражение «административные массовые убийства». Это выражение является более подходящим еще и потому, что в нем отсутствует предвзятая идея, будто такое преступление возможно совершить исключительно против чужого народа или чужой расы. Хорошо известно то обстоятельство, что Гитлер начинал свои массовые убийства с «предоставления возможности милосердной смерти» гражданам Германии, относимым к категории «неизлечимо больных», и что он намеревался в дальнейшем распространить эту программу уничтожения на «немцев с генетическими дефектами». Во всяком случае, очевидно, что действие такой программы уничтожения можно распространить на любую группу населения и что принцип осуществления селекции зависит лишь от тех или иных конкретных обстоятельств. Вполне возможно предположить, что в не столь отдаленном будущем могла бы возникнуть идея относительно уничтожения тех, чей коэффициент умственного развития не поднимается выше определенного уровня.

В Иерусалиме названной проблематике не было уделено достаточного внимания, потому хотя бы, что это сопряжено с трудностями юридического характера. Защита представляла Эйхмана всего лишь мелким винтиком в гигантской машине «окончательного решения», тогда как обвинение заявляло, что Эйхман был ее главной движущей силой. Я лично придаю этим противоположным заявлениям не больше значения, чем придали иерусалимские судьи, поскольку сама по себе теория «винтика в

машине» бессмысленна с юридической точки зрения и, таким образом, не существенно, какая степень значимости приписывалась винтику, именуемому «Эйхман». В решении суда, разумеется, отмечено, что убийства такого масштаба осуществимы лишь с использованием гигантской бюрократической машины и с привлечением государственных ресурсов. Но постольку, поскольку речь идет о преступлении, являющимся поводом для судебного разбирательства, то все винтики этой машины, вне зависимости от степени их значимости, в ходе этого судебного разбирательства рассматриваются как конкретные лица, совершившие преступление. И если подсудимый начинает оправдываться на том основании, что он действовал не как человеческое существо, а как некое должностное лицо, чьи функции могли с той же легкостью выполняться и любым другим человеком, то такая аргументация сходна с аргументацией преступника, который, ссылаясь на данные криминальной статистики, согласно которым в таком-то месте совершается такое-то число преступлений в день, заявляет, что его деяние являлось статистически ожидаемым и лишь по чистой случайности это преступление совершил именно он, а не кто-либо другой, поскольку все равно кто-то должен был его совершить.

Разумеется, с точки зрения политологии и социологии важной представляется оценка сущности тоталитарного правительства, равно как и сущности любой бюрократической системы, которые ориентированы на достижение такого состояния общества, когда человек полностью лишается человеческих качеств и превращается в функционера, в обычный винтик административной машины. При этом, однако, надо отчетливо осознавать, что судебная система расценивает эти факторы лишь в той мере, в какой она расценивает и прочие обстоятельства преступления. Так, в случае воровства, суд, разумеется, принимает во внимание размер экономического ущерба, нанесенного обвиняемым, но в любом случае это деяние остается воровством, а вор все равно называется вором. Действительно, благодаря современной психологии и социологии, не говоря уж о современной бюрократии, мы привыкли оправдывать человека за его поступки, ссылаясь на детерминизм. Насколько такой якобы «углубленный» подход к человеческим действиям справедлив, представляется сомнительным. Но представляется несомненным, что на таком подходе невозможно основывать юридиче-

ские процедуры и что он препятствует отправлению правосудия. Когда Гитлер сказал, что наступит день, и в Германии станет позорным слово «юрист», он мечтал именно о таком абсолютном торжестве бюрократии.

Насколько я понимаю, для рассмотрения всей совокупности этих вопросов правоведение располагает концепциями лишь двух категорий: «государственные действия» и «действия на основе приказов руководства»; при этом мне представляется, что ни одна из этих категорий в данном случае неприемлема. Концепция «государственных действий» основана на аргументации, согласно которой действия одного суверенного государства неподсудны другому суверенному государству (исходя из принципа *par in parem non habet imperium* — «равный над равным не имеет власти» — *лат.*). В плане чисто практическом эта аргументация была уже отвергнута на Нюрнбергском процессе, поскольку в случае ее признания судить было бы нельзя никого, даже Гитлера, кто единственный нес всю ответственность в полном смысле этого слова. Однако аргументация, у которой нет никаких шансов быть примененной на практике, тем не менее не была полностью опровергнута в плане чисто теоретическом. Стандартная уловка для того, чтобы сделать концепцию «государственных действий» неприемлемой по отношению к гитлеровской Германии, заключалась в утверждении, будто страна в годы Третьего рейха была под властью шайки преступников — и, следовательно, понятия суверенитета и равенства вряд ли к ней применимы. Такой подход не представляется обоснованным, поскольку, с одной стороны, всем известно, что аналогия с шайкой преступников вряд ли убедительна в достаточной степени, а точнее и вовсе неубедительна, с другой же стороны, все преступления нацистов совершались самым «законным» образом. Именно в этом и заключалась уникальность этих преступных действий.

Возможно, нам удастся подойти к проблеме ближе, если мы примем во внимание, что обратной стороной концепции «государственных действий» является концепция *raison d'état* [благо государства, государственная необходимость — *франц.*]. Согласно этой концепции, действия государства, несущего ответственность за существование страны и, тем самым, за исполнение ее законов, не подчиняются тем же правилам, что и действия отдельных граждан страны. Так, обеспечение главенства

закона, необходимого для недопущения насильственных действий и войны всех против всех, может быть гарантировано только при наличии соответствующего государственного аппарата насилия; аналогичным образом, правительство, для того, чтобы гарантировать свое собственное существование и соблюдение законности в государстве, может оказаться перед необходимостью совершить действий, которые при обычных обстоятельствах расцениваются как преступные. Обычно таким образом оправдываются войны, но незаконные действия государства не обязательно осуществляются в сфере международных отношений, и убийства политических противников представляют самый очевидный пример.

Действия *raison d'état* (на благо государства) обычно аргументируются соображениями *необходимости*, и преступления, совершаемые во имя государства (будучи безусловно преступными деяниями в рамках существующей в стране законодательной системы), расцениваются как вынужденные, временные меры, диктуемые необходимостью *Realpolitik*, для сохранения государственной власти и, тем самым, незыблемости существующего правопорядка в целом. В рамках нормальной политической и юридической системы такие преступления представляют собой исключения из правил и не подлежат уголовной ответственности, поскольку в противном случае опасность грозила бы самому государству, и никакая внешняя политическая структура не может ни ставить под сомнение право государства на существование, ни предписывать ему, каким именно образом защитить свое существование. Однако, анализируя действия Третьего рейха по отношению к евреям, можно сделать вывод, что в этом государстве, основанном на преступных принципах, ситуация не соответствует общепринятым положениям *raison d'état*, поскольку все понятия и критерии там поставлены с ног на голову. Так, действие, не являющееся по своей сути преступным (например, приказ Гимmlера, отданный в конце лета 1944 г. о прекращении депортации евреев), с точки зрения существующего в стране порядка является противозаконным, так как оно противоречит приказу Гитлера, имеющему силу закона. Этот приказ Гимmlера вызван к жизни ситуацией, грозящей военным поражением страны. И тут возникает вопрос: какова же природа суверенитета такой страны? Разве она не нарушает принцип равенства (*par in parem* – «равный среди равных» – *лат.*), предоставляемый ей согласно международ-

ному законодательству? Не является ли принцип «*par in parem*» всего лишь одним из атрибутов суверенитета? Или он также подразумевает истинное равенство? Можем ли мы тот же принцип, относящийся к государственному аппарату, в котором преступление и насилие являются крайними мерами, применять и к политическому образованию, где преступление является законным и нормальным явлением?

При рассмотрении категории «действий на основе приказов руководства» еще более поразительным образом выявляется, как именно приходится согласовывать неадекватные юридические концепции с преступными действиями, рассмотрению которых были посвящены все антинацистские процессы. Иерусалимский суд отклонил аргументацию защиты относительно «действий на основе приказов руководства», представив подборку цитат из сборников уголовного и военного законодательства цивилизованных стран (и в том числе Германии — поскольку при Гитлере не были внесены изменения в соответствующие статьи законодательства страны). Все они сходились в одном: нельзя повиноваться заведомо преступным приказам. Параллельно был рассмотрен случай, имевший место в Израиле незадолго до Синайском кампании: солдаты были отданы под суд за убийство гражданских лиц, жителей приграничной арабской деревни, находившихся на улице после наступления комендантского часа, о введении которого они, как оказалось, не знали. К сожалению, при более детальном рассмотрении сравнение оказалось не вполне оправданным по двум пунктам.

Следует отметить, что при рассмотрении категории «действий на основе приказов руководства» наиболее существенным являются те критерии, те взаимосвязи правил и исключений, на основе которых исполнитель оценивает полученный приказ и определяет, не является ли он преступным. В случае Эйхмана система оценочных критериев была «перевернутой», и он отказывался выполнять приказы Гимmlера о прекращении депортации евреев, поскольку с его точки зрения они представляли собой явное исключение из общепринятых правил. Судьи особо вменили в вину Эйхману его отказ выполнять эти приказы, что было, разумеется, объяснимо, но не вполне последовательно, поскольку такой вывод относительно Эйхмана основывался на материалах израильских военных судов.

В общем виде, чтобы приказ был признан со всей очевидностью незаконным, он должен нарушать своей необычностью все нормы, к которым привык солдат, — и в этом израильская правовая система полностью совпадает с системами других стран. Несомненно, что при формулировке этих статей законодатели имели в виду случаи такого рода, когда, например, офицер неожиданно лишился рассудка и отдавал солдатам приказ убить другого офицера. Когда такой случай рассматривался в суде, то было очевидно, что у солдата не возникало необходимости «обратиться к голосу своей совести» или «ощутить беззаконие приказа, каковое ощущение присуще сознанию нормального человеческого существа, не имеющего юридического образования, не имеющего глаза, уши и сердце не из камня». От солдата ожидалось, что он будет в состоянии провести различие между нормой и разительным отклонением от нормы. Немецкий военный кодекс однозначно указывает, что соображения морального характера недостаточны; в Параграфе 48 сказано: «Лицо не освобождается от наказания за действия или бездействие на том основании, что это лицо полагает свое поведение основанным на своих нравственных принципах или требованиях своей религии».

Если применить все эти рассуждения к делу Эйхмана, то мы не можем не прийти к следующему выводу: *Эйхман* действовал полностью в рамках своих суждений; он действовал в соответствии с правилами, оценивал полученный им приказ с точки зрения «очевидной» законности, а именно, с точки зрения его соответствия нормам; не существовало никакой необходимости исходить из соображений своей «совести», поскольку он не принадлежал к числу тех, кто не знаком с законодательством своей страны.

Второй пункт, на основании которого рассматриваемое сравнение представляется не вполне строгим, связан с практикой судов расценивать ссылку на «приказы руководства» как существенно важное смягчающее обстоятельство, и судьи прямо сослались на такую практику. Суд привел вышеупомянутый случай массового убийства жителей арабской деревни как доказательство того, что израильское законодательство не освобождает обвиняемого от ответственности за действия, совершенные на основе «приказов руководства». Сказанное справедливо, поскольку израильские солдаты были осуждены по обвинению в убийстве, но фактор «приказа руководства» сыграл свою роль как смягчающее

обстоятельство, и они были приговорены к сравнительно небольшим срокам тюремного заключения. Подчеркнем также, что рассмотренный инцидент был единичным, а не продолжался, как в случае Эйхмана, из года в год, когда преступление громоздилось на преступление. Но, как бы то ни было, Эйхман всегда действовал на основе «приказов руководства», и если бы к нему были применимы положения обычного израильского законодательства, то было бы непросто прийти к решению о максимальном наказании. Дело, однако, заключается в том, что израильское законодательство, как в теории, так и на практике, подобно законодательству других стран, не может не исходить из того соображения, что «приказы руководства», даже когда их незаконность является самоочевидной, способны оказать значительное негативное воздействие на этические принципы нормального человека.

Это всего лишь один из большого числа примеров, который демонстрирует неадекватность существующих законодательных норм и юридических концепций при рассмотрении «административных массовых убийств», организованных сотрудниками государственного аппарата. При более пристальном изучении положения дел мы без особого труда можем убедиться, что судьи на всех процессах нацистских преступников принимали решения, исходя исключительно из чудовищности совершенных преступлений. Иными словами, они судили по совести и не стремились основываться на нормах и юридических процедурах, благодаря использованию которых они могли бы, с той или иной степенью убедительности, найти оправдания для своих решений. Это было очевидно уже на Нюрнбергском процессе, когда судьи, с одной стороны, заявили, что «преступления против мира» являются самыми тяжкими преступлениями из числа тех, которые им предстоит рассматривать, поскольку они включают все прочие преступления, но, с другой стороны, приговаривали к смертной казни лишь тех обвиняемых, которые были причастны к совершению нового вида преступлений — «административных массовых убийств», которые с формальной точки зрения были менее тяжкими, чем «преступления против мира».

Остается, однако, одна проблема фундаментального характера, которая, пусть и в неявном виде, была присуща всем послевоенным судам и трибуналам, и которую необходимо упомянуть здесь, поскольку она связана с одним из основных

этических вопросов всех времен — а именно, с природой и предназначением людского суда. Хотелось бы, чтобы обвиняемые, будучи человеческими существами, были в состоянии отличать добро от зла, даже в тех случаях, когда они основываются лишь на своих собственных суждениях. И этот вопрос является тем более серьезным, что известно: те немногие, кто были достаточно «самонадеянны» для того, чтобы полагаться только на свои собственные суждения, безусловно отличались от тех, кто сохранял верность старинным ценностям или руководствовался религиозными верованиями. Поскольку уважаемое немецкое общество в подавляющем большинстве своем, тем или иным образом, поддавалось Гитлеру, то моральная норма, определяющая социальное поведение или религиозные принципы — «Не убий!» — фактически прекратила свое существование. Те немногие, кто еще был в состоянии отличать добро от зла, теперь руководствовались исключительно собственными суждениями, и делали это по своей воле. Им приходилось всякий раз принимать решение по мере возникновения проблемы, поскольку для принципиально новых проблем не существовало норм и правил решения.

Полемика, развернувшаяся по поводу моей книги, свидетельствует о том, в какой мере наших современников волнует вопрос суда, или суждения (но чаще — вопрос наличия у кого-либо права судить и выносить суждения). Речь идет, как выясняется, не о нигилизме или цинизме (как можно было бы ожидать), но о более чем странной путанице элементарных этических понятий и норм — как если бы людьми была утрачена интуитивная способность ориентироваться в вопросах морали. Особенно знаменательными можно считать некоторые из вызывающих, мягко выражаясь, удивление публикаций, обнаруженных мною в ходе настоящей полемики. Так, американские интеллектуалы открыто признали свою наивную веру в то, что искушение и принуждение — это, по сути дела, одно и то же, и что невозможно требовать от кого-либо не поддаваться искушению. (Если кто-то, представив пистолет к вашему виску, требует от вас убить вашего лучшего друга, то вы *должны* просто подчиниться этому требованию. Или вспомним скандал, разразившийся несколько лет тому назад по поводу телевикторины и бесчестного участия в ней университетского профессора: когда на кону такие деньги, признавали многие, разве можно устоять?)

Или взять аргументацию, согласно которой мы не вправе судить о событии, если мы не были его участниками или, по крайней мере, не присутствовали при нем — такое ощущение, что подобные рассуждения стали убедительными для всех и каждого; хотя если всерьез признать их правоту, то становятся невозможными ни исторические исследования, ни судебные разбирательства. В отличие от этих современных заявлений, лицемерные упреки фарисеев в адрес тех, кто смеет судить, имеют многовековую давность, что не делает их более обоснованными. Все немецкие евреи единодушно осуждают действия нацистских властей, которые, начиная с 1933 г., постепенно, изо дня в день, превращали евреев в отверженных. По вполне понятным причинам никто из них никогда не задавался вопросом: как бы они вели себя, если бы они тогда составляли правящее большинство в стране. Но разве их сегодняшняя позиция осуждения становится от этого менее верной?

К утрате моральных ориентиров также ведут и приводящие к безграничному всепрощению рассуждения относительно того, что ты сам мог бы поступить в тех или иных обстоятельствах не самым лучшим образом, и чрезмерное расширение понятия христианского милосердия. Так, в послевоенном заявлении *Evangelische Kirche in Deutschland* (протестантская церковь) сказано: «Пред лицом Господа Милосердного мы заявляем, что разделяем вину за преступления, которые были совершены нашим народом против евреев, при нашем бездействии и молчании». Как мне кажется, христианин виновен пред Господом *Милосердным* в том случае, когда воздаст злом за зло; таким образом, церковь согрешила бы против милосердия, если бы миллионы евреев были убиты в наказание за совершенное ими зло. Но если церковь заявляет о том, что разделяет вину за преступления как таковые, то обращаться в таком случае следовало бы к Господу *Воздающему*.

Такая оговорка — если речь идет об оговорке — отнюдь не случайна. Ведь основа правосудия — не милосердие, но справедливое воздаяние. Общественное же мнение, везде и всюду, если в чем и единодушно, так это в убеждении, что ни у кого нет права судить кого бы то ни было. Общественное мнение готово позволить нам судить (и даже осуждать) тенденции, направления, целые группы людей (и чем многочисленнее, тем лучше) — короче говоря, все в общем виде, не называя конкретных имен. Следует ли уточнять, что такое табу становится вдвойне категорическим,

если существует риск осудить слова или дела людей, пользующихся известностью либо занимающих высокое положение. Эта позиция находит свое выражение в высокопарных утверждениях, что якобы «излишне» настаивать на деталях или называть конкретные имена — и, напротив, признаком утонченности и умудренности считаются заявления самого общего характера, согласно которым по ночам все кошки одинаково серы, а мы все одинаково виновны.

Есть еще один верный способ уклониться от упоминания конкретных лиц и поддающихся проверке фактов — это ссылаться на бесчисленные теории и концепции, основанные на общих, абстрактных, гипотетических допущениях — от *Zeitgeist* [дух времени — нем.] до Эдипова комплекса — с помощью которых возможно объяснить и оправдать любое событие и любое деяние. Такой подход позволяет уйти от рассмотрения альтернативных вариантов событий и согласиться с тем, что всякий участник событий не мог действовать иначе, чем он действовал в действительности. К числу таких теорий, способных «объяснить» все, путем затушевывания всех и всяческих деталей, относится теория «ментальности гетто», концепция коллективной вины немецкого народа, возникшая на основе произвольной интерпретации событий немецкой истории, или столь же абсурдная идея коллективной невинности еврейского народа. Все эти штампы имеют общие черты: благодаря им любые исследования и суждения становятся излишними, тогда как сам факт их упоминания не сопряжен ни с каким риском. Можно понять нежелание двух народов — немцев и евреев — непосредственно вовлеченных в трагедию Катастрофы, уделять слишком пристальное внимание поведению определенных групп или конкретных лиц — в частности, христианской церкви, еврейских функционеров, участников антигитлеровского заговора (20 июля 1944 г.), но нельзя понять всеобщего и повсеместного нежелания определить степень персональной моральной ответственности всех участников событий.

Многие сегодня готовы согласиться с тем, что нет такого понятия, как коллективная вина или, напротив, коллективная невинность — потому что в противном случае вообще не могло бы существовать ни виновных, ни невинных. При этом, конечно, не отрицается наличие такого понятия, как *политическая* ответственность, которое, однако, существует вне зависимости от

конкретных действий отдельного члена группы и, таким образом, не подлежит суду — ни нравственному, ни уголовному. Каждое правительство принимает на себя политическую ответственность за добрые и дурные дела своих предшественников, и каждый народ — за свои добрые и дурные дела, совершенные в прошлом. Когда Наполеон, придя к власти, заявил, что берет на себя ответственность за все, что когда бы то ни было сделала Франция — со времен Людовика Святого и до Комитета общественного спасения, — то он лишь сформулировал (правда, не без пафоса) один из основных принципов политической жизни. Это означает, собственно говоря, что каждое поколение, существуя в историческом континууме, в силу этого очевидного фактаотячено грехами отцов и благословенно делами предков. Но эта ответственность — иного свойства; она не является личной по сути своей, и лишь в метафорическом смысле человек может сказать, что *ощущает* себя ответственным за то, что сделал не он, а его отец или его народ. (В этическом плане, столь же неправильно ощущать вину, не совершив ничего предосудительного, сколь и полагать себя невиновным, в действительности совершив недостойный поступок.) Вполне можно предположить, что когда-нибудь некие политические действия одного государства по отношению к другому будут подлежать рассмотрению некоего международного суда; но невозможно предположить, что такой суд будет уголовным трибуналом и будет определять виновность или невиновность индивидуумов.

А ведь в уголовном суде рассматриваются именно вопросы индивидуальной вины или невиновности, вершится правосудие в интересах как обвиняемого, так и потерпевшего. Не был исключением в этом плане и суд над Эйхманом, хотя в ходе этого процесса рассматривались преступления нового вида, отсутствующие в уголовных кодексах, а сам подсудимый принадлежал к категории преступников, никогда прежде (во всяком случае, до Нюрнбергского процесса) не представавших перед судом. И эта книга посвящена лишь рассмотрению того, насколько Иерусалимский суд преуспел в свершении правосудия.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Adler, H. B., *Theresienstadt, 1941-1945*, Tübingen, 1955.
- Adler, H. B., *Die verheimlichte Wahrheit. Theresienstädter Dokumente*, Tübingen, 1958.
- American Jewish Committee, *The Eichmann Case in the American Press*, New York, n. d.
- Anti-Defamation League, *Bulletin*, March, 1961.
- Baade, Hans W., «Some Legal Aspects of the Eichmann Trial» in *Duke Law Journal*, 1961.
- Bamm, Peter. *Die unsichtbare Flagge*, Munich, 1952.
- Barkai, Meyer, *The Fighting Ghettos*, New York, 1962.
- Baumann, Jürgen, «Gedanken zum Eichmann-Urteil» in *Juristenzeitung*, 1962, Nr.4.
- Bentom, Wilbourn E., and Grimm, Georg, eds. *Nuremberg: German Views of the War Trials*, Dallas, 1955.
- Bertelsen, Aage, *October '43*, New York, 1954.
- Bondy, F. «Karl Jaspers zum Eichmann-Prozess», *Der Monat*, May, 1961.
- Buchheim, Hans, «Die SS in der Verfassung des Dritten Reichs», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, April, 1955.
- Centre de Documentation Juive Contemporaine, *Le Dossier Eichmann*, Paris, 1960.
- de Jong, Louis, «Jews and Non-Jews in Nazi-occupied Holland» in *On the track of Tyranny*, ed. M. Beloff, Wiener Library, London.
- Dicey, Albert Venn, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 9th edition, New York, 1939.
- Drost, Pieter, *The Crime of State*, 2 vols., Leyden, 1959.
- «Eichmann Tells His Own Damning Story», *Life*, November 28 and December 5, 1960.
- Einstein, Siegfried, *Eichmann, Chefbuchhalter des Todes*, Frankfurt, 1961.
- Fest, T. C., *Das Gesicht des Dritten Reiches*, Munich, 1963.
- Finch, George A., «The Nuremberg Trials and International Law», *American Journal for International Law*, vol. XLI, 1947.
- Flender, Harold, *Rescue in Denmark*, New York, 1963.
- Frank, Hans, *Die Technik des Staates*, Munich, 1942.
- Globke, Hans, *Kommentare zur deutschen Rassegesetzgebung*, Munich-Berlin, 1936.

- Green, L. C., «The Eichmann Case», *Modern Law Review*, vol. XXIII, London, 1960.
- Hausner, Gideon. «Eichmann and His Trial», *Saturday Evening Post*, November 3, 10, and 17, 1962.
- Heiber, Helmut, «Der Fall Grunspan», *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, April, 1957.
- Henk, Emil, *Die Tragödie des 20. Juli 1944*, 1946.
- Hesse, Fritz, *Das Spiel um Deutschland*, Munich, 1953.
- Hilbeg, Raul, *The Destruction of the European Jews*, Chicago, 1961.
- Höss, Rudilf, *Commandant of Auschwitz*, New York, 1960.
- Hofer, Walther, *Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945*, Frankfurt, 1957.
- Holborn, Louise, ed. *War and Peace Aims of the United Nations*, 2 vols., Boston, 1943, 1948.
- Jäger, Herbert, «Betrachtungen zum Eichmann-Prozess» in *Kriminologie und Strafrechtsreform*, Heft 3/4, 1962.
- Jaspers, Karl, «Beispiel für das Verhängnis des Vorrangs nationalpolitischen Denkens» in *Lebensfragen der deutschen Politik*, 1963.
- Kaltenbrunner, Ernest, *Spiegelbild einer Verschwörung*, Stuttgart, 1961.
- Kastner, Rudolf, *Der Kastner Bericht*, Munich, 1961.
- Kempner, Robert M. W., *Eichmann und Komplizen*, Zurich, 1961 [В книге приводятся полные тексты Протоколов Ванзейской конференции].
- Kimche, Jon and David, *The Secret Roads. The «Illegal» Migration of a People, 1938-48*, London, 1954.
- Kirchheimer, Otto, *Political Justice*, Princeton, 1961.
- Kirchhoff, Hans, «What Saved the Danish Jews?» in *Peace News*, London, November 8, 1963.
- Klein, Bernard, «The Judenrat» in *Jewish Social Studies*, vol. 22, January, 1960.
- Knierim, August von, *The Nuremberg Trials*, Chicago, 1959.
- Krug, Mark M., «Young Israelis and Jews Abroad — A Study of Selected History Textbooks» in *Comparative Education Review*, October, 1963.
- Lamm, Hans, *Über die Entwicklung des deutschen Judentums im Dritten Reich*, Erlangen, 1951.
- Lamm, Hans, *Der Eichmannprozess in der deutschen öffentlichen Meinung*, Frankfurt, 1961.
- Lankin, Doris, *The Legal System*, «Israel Today» series, No. 19, Jerusalem, 1961.
- Lederer, Zdenek, *Ghetto Theresienstadt*, London, 1953.
- Lehnsdorff, Hans Graf von, *Ostpreussisches Tagebuch*, Munich, 1961.
- Lévai, Eugene, *Black Book on the Martyrdom of Hungarian Jews*, Zurich, 1948.
- Lösener, Bernhard, *Die Nürnberger Gesetze*, Sammlung Vahlen, vol. XXIII, Berlin, 1936.
- Maschmann, Melitta, *Fazit*, Stuttgart, 1963.

- Maunz, Theodor, *Gestalt und Recht der Polizei*, Hamburg, 1943.
- Monneray, Henri, *La Persécution des Juifs en France*, Paris, 1947.
- Motzkin, Leo, ed., *Les Pogromes en Ukraine sous les gouvernements ukrainiens 1917-1920*, Comité des Délégations Juives, Paris, 1927.
- Mulisch, Harry, *Strafsache 40/61*, Köln, 1963.
- Nazi Conspiracy and Aggression*, 11 vols., Washington, 1946-1948.
- Oppenheim, L., and Lauterpacht, Sir Hersch, *International Law*, 7th ed., 1952.
- Paechter, Henry, «The Legend of the 20th of July, 1944: in *Social Research*, Spring, 1962.
- Pearlman, Moshe, *The Capture of Adolf Eichmann*, London, 1961.
- Pendorf, Robert, *Mörder und Ermordete. Eichmann und die Judenpolitik des Dritten Reiches*, Hamburg, 1961.
- Poliakov, Léon, *Auschwitz*, Paris, 1964.
- Poliakov, Léon, and Wulf, Josef, *Das Dritte Reich und die Juden*, Berlin, 1955.
- Reck-Malleczewen, Friedrich P., *Tagebuch eines Verzweifelten*, Stuttgart, 1947.
- Reitlinger, Gerald, *The Final Solution*, New York, 1953.
- Reynolds, Quentin; Katz, Ephraim; and Aldouby, Zwi, *Minister of Death*, New York, 1960.
- Ritter, Gerhard, *The German Resistance: Carl Goerdeler's Struggle against Tyranny*, New York, 1958.
- Robinson, Jacob, «Eichmann and the Question of Jurisdiction», *Commentary*, July, 1960.
- Robinson, Jacob, and Friedman, Philip, *Guide to Jewish History under Nazi Impact*, a bibliography published jointly by YIVO Institute for Jewish Research and Yad Vashem, New York and Jerusalem, 1960.
- Rogat, Yosel, *The Eichmann Trial and the Rule of Law*, published by the Center for the Study of Democratic Institutions, Santa Barbara, California, 1961.
- Romoser, George K., *The Crisis of Political Direction in the German Resistance to Nazism*, University of Chicago dissertation, 1958.
- Romoser, George K., «The Politics of Uncertainty: The German Resistance Movement» in *Social Research*, Spring, 1964.
- Rothfels, Hans, *German Opposition to Hitler*, Chicago, 1948.
- Rotkirchen, Livia, *The Destruction of Slovak Jewry*, Jerusalem, 1961.
- Rousset, David, *Les Jours de notre mort*, Paris, 1947.
- Schneider, Hans, *Gerichtsfreie Hoheitsakte*, Tübingen, 1950.
- Schramm, Percy Ernst, «Adolf Hitler – Anatomie eines Diktators» in *Hitler Tischgespräche*, 1964.
- Servatius, Robert, *Verteidigung Adolf Eichmann, Plädoyer*, Bad Kreuznach, 1961.
- Silving, Helen, «In Re Eichmann: A Dilemma of Law and Morality», *American Journal of International Law*, vol. LV, 1961.

- Stone, Julius, *Legal Controls of International Conflict*, New York, 1954.
- Strauss, Walter, «Das Reichsministerium des Innern und die Judengesetzgebund». *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, July, 1961.
- Streker, Reinhard, ed. *Dr. Hans Globke*, Hamburg, n. d.
- Taylor, Telford, «Large Questions in the Eichmann Case», *New York Times magazine*, January 22, 1961.
- Torres, Henri, *Le Proces des Pogromes*, Paris, 1928.
- Trial of the Major War Criminals, The*, 42 vols., Nuremberg, 1947-1948.
- Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals*, 15 vols., Washington, 1949-1953.
- Vabres, Donnedieu de, *Le Proces de Nuremberg*, Paris, 1947.
- Wade, E. C. S., «Act of State in English Law», *British Year Book of International Law*, 1934.
- Wechsler, Herbert, «The Issues of the Nuremberg Trials», *Principles, Politics, and Fundamental Law*, New York, 1961.
- Weisenborn, Günther, *Der lautlose Aufstand*, Hamburg, 1953.
- Wighton, Charles, *Eichmann, His Career and His Crimes*, London, 1961.
- Woetzel, Robert K., *The Nuremberg Trials in International Law*, New York, 1960.
- Wucher, Albert, *Eichmanns gab es Viele*, Munich-Zurich, 1961.
- Wulf, Josef, Lodz. *Das letzte Ghetto auf polnischem Boden*, Schriftenreihe der Bundeszentrale für Heimatdienst, vol. LIX, Bonn, 1962.
- Wulf, Josef, *Vom Leben, Kampf und Tod im Ghetto Warschau*, op. cit., vol. XXXII, Bonn, 1960.
- Yad Vashem, *Bulletin*, Jerusalem, April, 1961 and April-May, 1962.
- Zaborowski, Jan, *Dr. Hans Globke, the Good Clerk*, Poznan, 1962.
- Zeisel, Hans, «Eichmann, Adolf», *Britannica Book of the Year*, 1962.

Катастрофа: неразгаданная тайна (послесловие)¹

Иерусалимский процесс Эйхмана (1961) стал поворотным моментом в новейшей истории. До него Катастрофа европейского еврейства не являлась предметом широкого обсуждения, а по его окончании сделалась «одной из основных тем нашего времени». Это утверждение американского историка Алана Минца из предисловия к книге «Подсудимый за стеклом» израильского поэта и журналиста Хаима Гури. Книга представляет собой сборник статей на иврите, написанных Гури в 1962 г., в которых он освещал процесс Эйхмана. Английский перевод книги появился четыре десятилетия спустя и занял свое место среди немногочисленных изданий на английском, посвященных этому процессу, в ряду которых самое видное место по-прежнему занимает противоречивая книга Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме» (1963).

Обе названные книги дополняют одна другую, притом, что авторы придерживаются во многом противоположных взглядов на описываемые ими события. Характерной чертой как Арендт, так и Гури является обостренная наблюдательность; они оба провели весь процесс в зале суда, регулярно публикуя материалы в изданиях, чьими корреспондентами являлись: Арендт представляла американский журнал «Нью-Йоркер», а Гури — израильскую ежедневную газету умеренно левых взглядов «Ламерхав».

Трудно было бы найти двух людей, более несходных между собой по характеру, мировоззрению, национальному самосознанию. Арендт, еврейка немецкого происхождения, автор классического труда «Истоки тоталитаризма», человек широких взглядов и вместе с тем полностью подчиняющая страсти рассудку, и Гури, человек в высшей степени эмоциональный, пользующийся

¹ Hillel Halkin, Eichmann: The Simplicity of Evil, *Commentary*, July-August 2005. Перев. В. Гопмана

широкой известностью литератор, боец Палмаха (особых отрядов еврейских вооруженных сил в подмандатной Палестине). Гури — видный представитель «Поколения Палмаха», группы молодых прозаиков и поэтов, создавших литературный образ «нового еврея» — гордого, отважного и энергичного строителя и борца. Арендт, будучи скорее индивидуалисткой, определяла свою жизненную позицию как «над схваткой». Гури же считал себя человеком, имеющим совершенно определенные политические и социальные убеждения. Арендт не склонна была признаваться в особой привязанности к еврейству и не отличалась восторженным отношением к Израилю, а Гури был и евреем, и израильтянином, что называется, до мозга костей. Израильский историк Анита Шапира в одной из своих статей (2002) сказала — пусть и не без некоторого преувеличения, что Арендт и Гури представляют собой «две различные еврейские цивилизации».

Не удивительно, что их взгляды на процесс также были различными. Арендт уделяла основное внимание фигуре Эйхмана. По ее мнению, Эйхман может служить наглядным доказательством тезиса, что в основе тоталитарного государства лежит бюрократическая система, и в ее рамках заурядные люди, сидящие за конторскими столами, становятся способными совершать, что называется, «в рабочем порядке» неслыханные преступления. Эйхман, если судить по тому, как он себя вел и что он говорил в зале суда, производил впечатление нормального, обычного человека — «отнюдь не чудовища», как писала Арендт о человеке, являвшимся одним из нацистских старших офицеров, которым была поручена реализация планов Третьего рейха по уничтожению евреев, и именно эта совершенно противоестественная «нормальность» выглядела столь ужасающей. Дело Эйхмана, как отмечает Арендт, помимо юридического аспекта, «было в высшей степени важно и с политической точки зрения. В частности, зададимся вопросом: сколько времени требуется обычному, среднему человеку для того, чтобы преодолеть свое врожденное неприятие идеи преступления, и что происходит с ним после того, как он переходит эту грань?» Арендт подчеркивает, что дело Адольфа Эйхмана дает на этот вопрос «в высшей степени четкий и ясный ответ».

Отзываясь положительно о судьях, которые вели процесс, Арендт крайне негативно относится к главному обвинителю, Гидеону Хаузнеру, который, по ее словам, стремился устроить «по-

казательный процесс», действуя по указанию премьер-министра Давида Бен-Гуриона — «скрытого от посторонних глаз постановщика процесса», для которого суд над Эйхманом стал возможностью открыть израильтянам и всему миру правду о Катастрофе европейского еврейства. Хаузнер, подчеркивает Арендт, во главу угла ставил «страдания еврейского народа в годы войны, а не конкретные деяния Эйхмана», и с этой целью вызывал многих свидетелей, рассказывавших о событиях, к которым Эйхман имел лишь незначительное отношение или вовсе никакого.

Следует заметить, однако, что и сама Арендт в своей книге отходит от основной темы процесса, уделяя чрезмерное внимание критике еврейских лидеров в европейских странах, на которых, по ее мнению, лежит большая доля вины за гибель еврейского населения этих стран. По мнению Арендт, такого рода многочисленные свидетельские показания снижали легитимность судебного разбирательства, поскольку в ходе процесса должен рассматриваться исключительно «вопрос личной вины или невиновности» обвиняемого. Позиция обвинителя также не дала возможности четко сформулировать главный урок иерусалимского процесса, который Арендт определяет следующим образом: человек, который «так и не осознал содеянного им» (Арендт сама выделяет эти слова), стал «одним из самых страшных преступников своего времени» исключительно «благодаря своей бездумности», а такая бездумность «способна принести в мир больше зла, чем все злые инстинкты, дремлющие в любом человеке».

А что касается Хаима Гури, он как раз уделил основное внимание именно «страданиям еврейского народа в годы войны». В 1947–1948 гг. Гури работал с еврейскими «перемещенными лицами» в Европе (о чем впоследствии написал роман «Шоколадная сделка») и потому знал о Катастрофе значительно больше, чем многие израильтяне. И, тем не менее, услышанное на суде стало и для него откровением и потрясением.

В немалой степени это объясняется тем, что до процесса Эйхмана, то есть до 1961 г., правда о Катастрофе еще не стала всеобщим достоянием, и это потому хотя бы, что лишь немногие из числа переживших Катастрофу — как израильтяне, так и жители диаспоры — готовы были рассказать истории своей жизни. Разумеется, были известны основные факты: столько-то евреев в европейских странах погибло в этот период, столько-то общин перестало существовать... Но люди, пережившие все эти ужасы,

не склонны были говорить об этом даже со своими близкими. Тому было немало причин: эмоциональные травмы, скорбь, чувство стыда, желание забыть о прошлом, страх быть обвиненным в том, что они не оказывали сопротивления, и даже опасения, что им не поверят — ведь немало людей в первые послевоенные годы полагало, что пережившие Катастрофу склонны преувеличивать свои страдания или что они, будучи в состоянии шока, смешивают реальные события со своими посттравматическими видениями. Процесс, как подчеркивал Гури, вернул тем, кто пережил Катастрофу «право рассказать о своей жизни от первого лица».

Сто одиннадцать свидетелей обвинения были отобраны как типичные представители переживших Катастрофу, которые были бы в состоянии дать полную картину событий как в хронологическом, так и в географическом плане, начиная со времен зарождения нацизма в Германии и вплоть до Освенцима. Одни свидетели торопились излить душу, для других каждое слово стоило душевных мук, и, слушая их всех, Гури осознавал, что многие факты из числа ранее ему известных подлежат переоценке.

В самом ли деле евреи Европы повинны в том, что не принимали никаких попыток оказать сопротивление и шли на смерть «как овцы на заклание»? Именно так были приучены думать сверстники Гури, которые с оружием в руках завоевывали независимость еврейского государства. Теперь же Гури напишет: «Мы должны попросить прощения у всех тех, кого мы осудили в глубине души — мы, которые не были с ними там и тогда». На процессе Гури впервые осознает, как же надо было заблуждаться, ожидая, что смогут оказать сопротивление «люди, доведенные до крайнего истощения, изнеможенные, измученные и обессиленные, испытывающие ни с чем несравнимый страх и вместе с тем тешащие себя надеждами “а вдруг, несмотря ни на что?..” и иллюзиями “нет, с нами такого произойти не может!”, люди, идущие в колоннах под конвоем автоматчиков и сопровождаемые свирепыми псами, люди, ведущие за руку или несущие на руках маленьких детей, люди, оказавшиеся в чужом краю и безо всякой надежды найти убежище, люди, осознающие, что они брошены на произвол судьбы и желающие только одного: скорее бы все кончилось и будь что будет».

А что же гордые и свободные евреи Палестины? Помощи от них было немного, но и оправданий для их бездействия немного.

«В мае 1943 года нам стало известно о судьбе Варшавского гетто. Знали мы и о том, что с каждым днем в странах Европы погибает все больше и больше евреев». Но мирная жизнь в Тель-Авиве и Хайфе шла своим чередом. «Почему же мы ничего не делали для того, чтобы мир узнал всю правду? — спрашивает Гури себя и своих читателей. — Почему мы не били тревогу? Почему мы не выходили на демонстрации? Почему мы не устраивали голодные забастовки? Что мы можем сегодня сказать? Разве мы сделали все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим собратьям?»

Гури говорит, что рассказы свидетелей обвинения, весь ужас услышанных подробностей потрясли его — ведь если это были рассказы ста одиннадцати человек, то что поведали бы шесть миллионов? «Я просто обязан принести свои самые глубокие извинения. Как и многие, я с трудом воспринимаю масштабные события и большие величины. Поясню, что я хотел сказать. Мы ухитрились и далее жить своей обычной жизнью, обратив сам факт массовых убийств в некий символ, в некую абстракцию — дабы, сталкиваясь лицом к лицу с жертвами, мы могли избежать потрясений и не онеметь от ужаса. И вот на процессе перед нашим взором предстала беспощадная реальность».

Гури расходится с Арендт и в восприятии Эйхмана как личности. В своем отчете о первом дне показаний, даваемых свидетелями обвинения, он писал: «Действительно, этот человек, приведенный к присяге и обязавшийся говорить правду, не является безумным — во всяком случае, так утверждают обследовавшие его врачи». Гури, однако, не склонен — в отличие от Арендт — считать Эйхмана «шутком» и утверждать, что «его неспособность связанно говорить отражает его неспособность мыслить». Напротив, на него произвела впечатление «поразительная смысленность и находчивость Эйхмана» и его «красноречие, не свойственное недалеким людям». Гури не считает, что к Эйхману применимы такие тривиальные и избитые формулировки, как «мелкий чиновник», «грязный убийца», «лжец», «лицемер», «циник», «трус», «агрессивное ничтожество» или «шизофреник». Он приходит к выводу, что «Эйхман так и остался неразгаданной загадкой», и замечает в одной из своих статей: «Возможно, дело в том, что все обстоит значительно проще, чем мы все склонны полагать». Следует задуматься над этой неоднозначной фразой.

Врачи установили, что Эйхман находится в здравом уме и не существует никаких препятствий к тому, чтобы он предстал

перед судом. Личность же его, как справедливо отмечает Арендт, не была значимой с юридической точки зрения, но представляла несомненный интерес в плане политическом, психологическом и даже философском.

Эйхман, разумеется, не был первым крупным нацистским преступником, представшим перед судом. На Нюрнбергском процессе были осуждены и приговорены к смертной казни нацисты, занимавшие посты существенно более высокие, чем Эйхман. Но то обстоятельство, что Эйхман находился лишь во втором эшелоне нацистских руководителей, как раз дает более значительные основания для рассмотрения вопроса: «Как вообще могла произойти Катастрофа европейского еврейства?» Ведь Эйхман не принадлежал к ближайшему окружению Гитлера, не принимал непосредственного участия в захвате национал-социалистами власти в стране, ему не были свойственны идеологический фанатизм или зоологический антисемитизм и он не очень стремился занять особо высокое положение в нацистской иерархии. Он отчасти случайно вступил (в апреле 1932 г.) в ряды Национал-социалистической партии, а затем делал свою карьеру в системе СС, продвигаясь по службе благодаря своей трудоспособности, верности существующему порядку и навыкам административной работы. В его ранней биографии не было ничего, свидетельствующего о смертельной ненависти к евреям. На суде он подчеркивал, что в 30-е годы, уже будучи нацистским функционером, выступал в поддержку решения «еврейского вопроса» в Германии и странах Европы путем поощрения эмиграции евреев, а не их уничтожения.

Исходя из этих соображений, Арендт определяет Эйхмана как безмозглого бюрократа, который ревностно принимал участие в уничтожении евреев только потому, что такова была общая тенденция, и который, таким образом, являлся типичным образчиком «среднего немца», обслуживающего нацистскую машину смерти. Отвечая на вопрос: «Как?» — то есть «Каким образом могли десятки тысяч обыкновенных людей превратиться в убийц, при том, что миллионы следили за происходящим с одобрением или безразличием?» — Арендт отвечает: «Взгляните на Эйхмана!» Наиболее страшным свойством тоталитарных обществ, подобных нацистской Германии, была способность сокрушить не только физическую, но и идейную оппозицию. В такой социальной среде практически любого человека можно было

превратить в преступника. Люди, не бывшие преступниками по своему характеру и складу ума, могли с чистой совестью отправлять евреев, эшелон за эшелон, в лагеря уничтожения.

Обвинитель, разумеется, придерживался другого мнения, определяя Эйхмана как «дикого зверя», который, по его собственным словам, готов был «спрыгнуть в свою могилу, смеясь», — потому что он «радостно сознавал, что на его совести смерть пяти миллионов евреев». Однако ни Арендт, ни Гури, комментируя и анализируя показания Эйхмана, ни разу не упоминали это определение. Оба они описывают подсудимого как человека, строго соблюдающего все судебные процедуры, вежливо и почтительно относящегося к судьям, с готовностью отвечающего на все задаваемые ему вопросы, держащегося прямо и с достоинством в своем темном костюме и очках в толстой оправе — одним словом, очень похожего на бухгалтера, дающего показания относительно нарушений финансовой дисциплины. И они оба обращают внимание на нервный тик, время от времени передергивающий рот подсудимого.

Этот тик действительно бросается в глаза, когда смотришь документальный фильм (производства 1999 г.), сделанный израильским кинематографистом Эялем Сиваном на основе документальных съемок процесса. С этими видеоматериалами мало кто имел возможность познакомиться, и потому фильм Сивана представляет редкую возможность увидеть хотя бы некоторые эпизоды процесса.

Хотя фильм и подвергался критике за тенденциозность подачи материала в духе книги Арендт, рисующей Эйхмана как мелкую бюрократическую сошку (и Сиван сам признал, что книга «Эйхман в Иерусалиме» оказала на него определенное влияние), но следует отметить: сегодня, когда после процесса прошло более 40 лет, образ подсудимого на экране выглядит все-таки ближе к книге Гури. Он не похож на неумного и недалекого человека, он в состоянии превосходно анализировать задаваемые ему вопросы и замечать расставленные ловушки. На экране — отнюдь не глупый человек; ничего другого, собственно говоря, и нельзя было бы ожидать от бывшего офицера СС, который сумел дослужиться до звания подполковника и возглавить важную эс-совскую структуру.

И когда мы видим Эйхмана на телеэкране крупным планом, то становится очевидным, что никаким тиком он не страда-

ет. Это не нервное рефлекторное движение, а нечто совсем иное — скорее, Эйхман кривит губы, услышав тот или иной вопрос или заявление обвинителя и его лицо перекашивается на сторону. Эта мрачная гримаса выражает и раздражение, и вместе с тем оскорбленное самолюбие, и еще подавленный гнев или ярость — гнев или ярость, которые он старается скрыть, скривив губы, скрыть если не от самого себя, то хотя бы от судейских глаз.

Превращают ли Эйхмана такие гримасы в «чудовище», каковым он, по мнению Арендт, не является? Разумеется, нет. Но вместе с тем они указывают на те бездны его души, которые невидимы случайному наблюдателю. Вновь и вновь Эйхман переживает свое унижение: он, в прошлом оберштурмбанфюрер СС, глава отдела IV-B-4 РСХА, Главного управления государственной безопасности Рейха, человек, который — как подтверждают и дающие показания свидетели — наводил на всех страх, теперь захвачен евреями, его допрашивают и судят евреи. Эйхмана буквально передергивает от отвращения, которое он, однако, вынужден скрывать, строя гримасу за гримасой.

Он демонстрирует хорошие манеры, поспешно вставая, когда ему задают вопрос, и снова садясь, ответив на него, — как дисциплинированный ученик в классе. Он говорит «Да» и «Конечно», говорит по-немецки троим судьям, для которых немецкий — тоже родной язык. Ему, убийце миллионов евреев, очень хочется, чтобы судьи были довольны его поведением и относились к нему с уважением. Неужели он надеется, что таким образом добьется оправдания? Разумеется, нет — он достаточно умен, чтобы не лелеять таких надежд. Он относится к судьям с искренним почтением, он уважает их — и как людей, которые сейчас обладают властью, и как людей, относящихся к нему беспристрастно и всячески демонстрирующих эту беспристрастность. Он уважает власть, а власть сейчас в руках евреев. Если бы судьи объявили ему, что, согласно решению суда, он должен убить миллион немцев — он, по всей видимости, подчинился бы этому решению. И не потому, что это могло бы облегчить его участь, а для того, чтобы продемонстрировать свою старательность и умение приносить пользу.

Так, выходит, права Арендт?

Нет, не права.

Характер такого человека, как Эйхман, не мог бы сформироваться за десятилетие, на протяжении которого он занимал ряд

должностей в нацистской бюрократической иерархии. У него были отец и мать и воспитатели в детские годы (трудно сказать, кому именно он обязан своими первыми вспышками ярости? кто первым унизил его? кому он стремился угодить? кто научил его поклоняться власти?) То же самое можно сказать и о других немцах, совершавших столь же страшные преступления. Он вступил в нацистскую партию в возрасте 26 лет, а когда кончилась война, ему было 39 лет. Проявив находчивость, он четыре послевоенных года скрывался и работал лесорубом (он обладал достаточной силой и не боялся тяжелого труда), а потом покинул Германию и стал механиком в Аргентине (у него были искусные руки).

Арендт была настолько заворожена своими теориями, что не учла простого факта: Третий рейх просуществовал меньше полутора десятилетий — срок, достаточный для того, чтобы принести разрушения и обречь на смерть миллионы людей. Но этого времени недостаточно, чтобы превратить в винтики, в послушных исполнителей, тех, кто не был таковыми изначально. Нацистский режим — это не советский коммунистический режим, за годы которого выросли три поколения родившихся при нем людей. Возможно, за реализацию окончательного решения еврейского вопроса ответственны бюрократы, но их ментальность не была продуктом тоталитаризма. Она формировалась и в годы Веймарской республики, и при кайзере, и под влиянием христианской церкви. Если этих бюрократов было столь легко убедить в том, что евреи заслужили своей участи, то корни этой убежденности — в Германии старых времен.

Не удивительно, что Эйхман так и остался для Гури неразгаданной загадкой. Все-таки Гури — писатель и профессиональный журналист, а не политолог, пишущий для «Нью-Йоркера», журнала, чей социальный снобизм только усиливается интеллектуальным снобизмом самой Арендт: ах, до чего же скучны все эти эйхманы, как они ничтожны! Гури понимал, что злодеяния Эйхмана вряд ли следует считать всего лишь обыденными. Даже самый рядовой чиновник, функционируя в рамках самой репрессивной системы, имеет свои симпатии и антипатии, пристрастия и предубеждения; он может хорошо относиться к своему начальству или ненавидеть его, вкладывать в работу всю душу или работать спустя рукава, безо всякого рвения делать то, к чему не лежит душа, заниматься сплетнями и пересудами со своими коллегами...

Перечитывая книгу Арендт в наши дни, мы видим, насколько сильны в ней отзвуки умонастроений 40–50-х гг., когда считалось, что тоталитарное общество всеильно и в состоянии манипулировать сознанием своих граждан, как это описано в романе Оруэлла «1984». Сегодня мы знаем, что человеческие существа в состоянии противостоять такого рода манипуляциям в значительно большей степени, чем полагал в свое время Оруэлл. Нацистская машина уничтожения работала столь бесперебойно не потому, что ею управляли «бездумные» существа, а именно потому, что люди, подобные Эйхману, превосходно осознавали, что они делают, и не видели в этом ничего аморального.

Эйхман был в этом смысле действительно типичной фигурой — но не как чиновник тоталитарной бюрократической системы, а как рядовой немец, зараженный бациллой антисемитизма, даже если симптомы болезни и не проявлялись у него в довоенное время. Но когда власти объявили о начале реализации «окончательного решения еврейского вопроса», Эйхман воспринял это с готовностью и энтузиазмом. Для того чтобы понять, каким образом Катастрофа европейского еврейства стала возможной, следует — по мнению ряда историков — осознать специфический характер традиционного немецкого антисемитизма, равно как и специфику нацистской бюрократической системы. Однако эти вопросы не очень интересовали Ханну Арендт — возможно, потому, что при их рассмотрении надо было бы рассматривать также и «страдания еврейского народа в годы войны» или, во всяком случае, взаимоотношения евреев с их соседями. Она ведь ставила перед собой цель более высокого порядка: исследование универсальной сущности Катастрофы. А рассмотрение более узких, еврейских аспектов Катастрофы она оставляла другим авторам, таким, как Х. Гури.

Ни Арендт, ни Гури так и не сформулировали в своих книгах главные причины общетеоретического характера, приведшие к Катастрофе европейского еврейства. Однако взгляды Гури на процесс Эйхмана представляются в большей мере основанными на его впечатлениях (пусть и субъективных), более непосредственными и противоречивыми — и потому более достоверными. Он уделяет пристальное внимание всему, что говорили на процессе не только свидетели, но также и Эйхман, и в своих репортажах излагает услышанное, поскольку история Катастрофы — это совокупность всех этих историй. А поскольку эти истории —

лишь небольшая часть всего того, что могло быть рассказано о Катастрофе, то можно сделать вывод: Катастрофа навсегда останется неразгаданной тайной. Даже осознание сути немецкого антисемитизма в исторической перспективе не в состоянии объяснить, почему кто-то с энтузиазмом принимал участие в убийствах евреев, кто-то воспринимал происходящее с одобрением или без внутреннего протеста, кто-то ощущал беспокойство в связи с происходящим, но не более того, хотя и были люди — пусть немногочисленные, — которым совесть не позволяла мириться с этим и которые вставали на путь борьбы. В конечном итоге, от самого Адольфа Эйхмана зависело, какое решение следовало ему принять. Видимо, именно это и имел в виду Хаим Гури, говоря, что «возможно, дело в том, что все обстоит значительно проще, чем мы все склонны полагать».

Гилель Галкин

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Арон Шнеер</i> . Предисловие _____	5
I. СУД _____	19
II. ПОДСУДИМЫЙ _____	38
III. СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ _____	53
IV. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: ВЫСЫЛКА _____	74
V. ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ: КОНЦЕНТРАЦИЯ _____	86
VI. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: УБИЙСТВО _____	101
VII. ВАНЗЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ИЛИ ПОНТИЙ ПИЛАТ _____	129
VIII. ДОЛГ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ГРАЖДАНИНА _____	152
IX. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ РЕЙХА – ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, ПРОТЕКТОРАТ _____	168
X. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ – ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ДАНИЯ, ИТАЛИЯ _____	179
XI. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ БАЛКАНСКИХ СТРАН – ЮГОСЛАВИЯ, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, РУМЫНИЯ _____	197
XII. ДЕПОРТАЦИЯ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ – ВЕНГРИЯ И СЛОВАКИЯ _____	210
XIII. ЦЕНТРЫ УНИЧТОЖЕНИЯ НА ВОСТОКЕ _____	221
XIV. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СВИДЕТЕЛИ _____	235
XV. ПРИГОВОР, АПЕЛЛЯЦИЯ И КАЗНЬ _____	247
ЭПИЛОГ _____	265
ПОСТСКРИПТУМ _____	292
БИБЛИОГРАФИЯ _____	310
<i>Гилель Галкин</i> . Катастрофа: неразгаданная тайна (послесловие) _____	314

Книги, вышедшие в свет в издательстве

**ДААТ / Знание
Иерусалим – Москва**

Горские евреи. История, этнография, культура, 1999, 463 стр., твердый переплет.

Литература Агады. Серия «Библиотека еврейской классики», 1999, 383 стр., твердый переплет.

■ *Собрание древнееврейской литературы, авторами которой были духовные лидеры народа – учителя, проповедники, раввины. Агада, включает в себя, притчи, поэзию, анекдоты, фольклор, рассказы о мудрецах Талмуда и др.*

Дж. Грин, Холокост, роман (пер. с англ.), 2000, 447 стр., мягкий переплет.

■ *В центре романа – судьбы двух семей, доктора Вайса и Эрика Дорфа, еврейской и немецкой. В череде поколений они были добрыми соседями... Наступила «эра» нацизма...*

М. Хейфец, Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы, 2000, 109 стр., мягкий переплет.

■ *Автор, писатель и журналист, представляет версии и свидетельства суда над Иисусом Христом – самом важном судебном заседании в истории человечества, – размышляет об истоках неприязни между иудеями и христианами.*

Дж. Шредер, Шесть дней творения и Большой Взрыв. Поиски гармонии между современной наукой и Библией (пер. с англ.), 2000, 157 стр., мягкий переплет.

■ *Библейское повествование о Творении мира в течение Шести дней и научная теория о возникновении Вселенной в результате Большого Взрыва являются собой, по мнению автора-физика, два взаимодополняющих описания идентичной реальности.*

Поучения отцов (Пиркей Авот). Совр. комментарий раввина Р. Булка (Канада), 2001, 212 стр., твердый переплет, суперобложка.

■ *Один из наиболее известных и почитаемых трактатов Талмуда, включающий в себя важнейший свод морально-этических максим иудаизма.*

С. Резник, Раствление ненавистью. Кровавый навет в России. Историко-документальные очерки о прошлом и настоящем, 2001, 180 стр., мягкий переплет.

■ *Автор на многочисленных примерах показывает, что кровавый навет – и сегодня широко используемое «красно-коричневыми» патриотами оружие политической борьбы.*

М. Каплан, *Евреи в современном мире. Иудаизм как развивающаяся цивилизация* (пер. с англ.), 2001, 216 стр., твердый переплет.

■ *Еврейство, как считает выдающийся американский ученый XX века, представляет собой развивающуюся религиозную цивилизацию, которая эволюционирует в постоянно меняющемся мире.*

Е. Цейтлин, *Долгие беседы в ожидании счастливой смерти*, 2002, 190 стр., твердый переплет.

■ *Жизнь героя, литовско-еврейского интеллектуала Йокубаса Йосаде, отражает судьбу и трагедию восточноевропейского еврейства в XX веке.*

Э. Факенгейм, *Что такое иудаизм? Современная интерпретация* (пер. с англ.), 2002, 287 стр., мягкий переплет.

■ *Автор, крупнейший еврейский мыслитель XX века, переживший Катастрофу, размышляет над смыслом иудаизма в периоды Холокоста, создания и становления Государства Израиль.*

М. Хейфец, *Ханна Арендт судит XX век. Серия «Загадки и трагедии Западной цивилизации»*, 2003, 275 стр., твердый переплет.

■ *Автор излагает основные идеи фундаментального труда Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» – анализ политических систем в Германии и в СССР.*

А. Кардаш, *Антология Холокоста*, 2003, 409 стр., твердый переплет.

■ *Путь ненависти, который привел к гибели евреев Европы, повторившись, может ввергнуть все человечество в пучину самоуничтожения.*

А. Хертцберг, *Евреи: сущность и характер народа* (пер с англ.), 2006, 284 стр., твердый переплет.

■ *Автор рассматривает проблемы самосознания и идентификации, определяющие сущность еврейского характера.*

М. Хейфец, Ханна Арендт. *Условия бытия человека на земле*, 2006, 195 стр., твердый переплет.

■ *Обсуждаются мировоззренческие проблемы, которые ставит сегодня задача выживания человечества.*

ДЕТИ АВРААМА, двухтомник (пер с англ.), 2008, твердый переплет.

■ *Издание серии Дети Авраама преследует цель минимизации взаимной неосведомленности и взаимного непонимания на путях поиска взаимного уважения и примирения между мусульманами и евреями.*

Х. Дюран, *Введение в ислам для евреев*, 280 стр.

Р. Файерстон, *Введение в иудаизм для мусульман*, 263 стр.

Тел. изд-ва: 972-77-321-0203, 972-54-422-1382;
e-mail: udin1@013.net.il

Главный редактор издательства Иосиф Бегун

**ХАННА АРЕНДТ
ЭЙХМАН В ИЕРУСАЛИМЕ
История обиденных злодеяний**

Издатель
Иосиф Бегун

Редактор
Ольга Аксютина

Компьютерный дизайн и верстка
Элеоноры Гороховской

Формат 16Х90/16. Гарнитура «Антиква».
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Издательство ДААТ / Знание
Тел.: 972-77-321-0203, 972-54-422-1382;
e-mail: udin1@013.net.il

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Галлея-Принт»,
Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 26.



Ханна Арендт (1906—1971), одна из самых значительных фигур в истории философской мысли XX века, родилась в Германии; после прихода Гитлера к власти вынуждена была покинуть родину. Жила в США, где занимала профессорские посты в ведущих университетах страны. Автор целого ряда книг, включая всемирно известный труд «Истоки тоталитаризма» (1951). В качестве корреспондента журнала «New-Yorker» присутствовала на процессе Эйхмана в Иерусалиме (1961), по следам которого написала книгу, вызвавшую противоречивые отклики как в Израиле, так и во всем мире.

В 1959 г. агенты израильской спецслужбы выследили и схватили в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана, руководившего во время войны уничтожением миллионов евреев Европы. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал важным событием истории Катастрофы европейского еврейства. Израильский суд приговорил Эйхмана к смертной казни, и этот приговор стал единственным такого рода за всю историю Государства Израиль.

Книга Ханны Арендт, написанная на основе ее репортажей из зала суда, — глубокое и тонкое исследование природы зла и злодеяний, творимых в современном обществе. Отвечая на вопрос: "Каким образом случилось так, что десятки тысяч обыкновенных людей превратились в убийц, а миллионы других следили за происходящим с одобрением или безразличием?" — Ханна Арендт говорит: "Взгляните на Эйхмана!"

